

ЮНОСТЬ

5

1974



Е. КОРОЛЕНКО (Комсомольск-на-Амуре). Семья.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



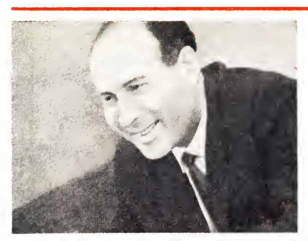
Все лучшее, что накоплено нравственным опытом нового общества, мы должны передать молодежи, каждому юноше и девушке и вместе с тем настойчиво избавляться от всего, что мешает жить и трудиться.

Л. И. БРЕЖНЕВ.
Из речи на XVII съезде ВЛКСМ

Журнал
основан
в
1955
году

5 (228)
МАЙ
1974

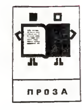
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



И. ДАВЫДОВ

«НЕ ВОЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

РАССКАЗ



Рисунки
Ю. ЦИШЕВСКОГО.

1

Раз в неделю одна из девушек аэростатного поста, где служила Лелька, уходила в кухонный наряд на КП отряда. Кроме командиров и штабистов, там обедали еще и аэростатчики с трех ближних постов. Поэтому кухонной работы на КП хватало.

Лелька вообще не любила стряпать, даже дома, до войны, и поэтому кухонные наряды были ей не по душе. Но ходить надо — служба! — и Лелька ходила.

Однажды во время Лелькиного наряда в полуподвальную кухню командного пункта неожиданно впрыгнул через форточку громадный черный кот. А Лелька как раз солила суп и от испуга выронила банку с солью в котел. Банка осталась целая, ее удалось выловить поварешкой, а соль разошлась. И больше варить суп было не из чего.

В тот день аэростатчики морщились, плевались и наперебой спрашивали Лельку, в кого она так страстно влюбилась. А высокий, голубоглазый и румяный командир аэростатного отряда, который казался Лельке человеком очень пожилым — ему было уже больше тридцати,— впервые за все время обратил на нее пристальное внимание, поискал, к чему бы придраться, и сделал ей строгое внушение за то, что пуговицы гимнастерки не начищены у нее до зеркального блеска. И вообще запомнил Лельку.

Когда она снова пришла варить обед на КП отряда, командир, увидав ее, подозвал к себе.

— Ты вот что, Кротова...— сказал он, покусывая яркие губы и поглаживая темную родинку на левой щеке.— Ты лучше не суп вари, а отнеси пакет в Тимирязевскую академию, командиру отряда Смирнову. Постарайся лично в руки. В крайнем случае— старшей связистке под расписку. А суп без тебя сварим...

— Есть отнести пакет командиру отряда Смирнову в Тимирязевскую академию! — отчеканила Лелька, приложив к пилотке руку, и лихо щелкнула каблуками. Знала, что это у нее хорошо получается.

— Дорогу-то найдешь? — усмехнувшись, спросил командир.

— Поспрашиваю.— Лелька шмыгнула носом.

Москвы она не знала. Даже не представляла, в какую сторону сворачивать, когда выйдет с КП.

— Смотри! — Старший лейтенант разложил на столе план Москвы.— Вот здесь мы сейчас.— Толстый, с рыжими волосами и обломанным ногтем командирский палец уперся в скрещение Чистопрудного бульвара и улицы Чернышевского.— А вот где академия! — Другой рукой командир провел вверх и влево к зеленому многоугольнику.— Через всю Москву топать. Как за газом. В ту же примерно сторону. Только держать севернее. То есть правее. До Сокола дорогу знаешь?

— Еще бы! Почти каждый день взад-вперед с газгольдером!

— Можно до Сокола, а потом северо-восточнее. Там недалеко. Но получается крюк. Лучше по бульварам до сада «Эрмитаж», а потом по Каляевке. Просто и надежно. Знаешь сад «Эрмитаж»? Там еще оперетка летом играет...

— Знаю,— почти прошептала Лелька.

Ей показалось, что командир намекает на тот случай, когда она уговорила девчат свернуть с широкого Садового кольца и провести полный водорода



газгольдер мимо сада «Эрмитаж» — авось, удастся увидеть на улице кого-нибудь из знаменитых опереточных артистов?.. Никого из артистов они, конечно, не увидали, а с громадным, неповоротливым газгольдером едва не застряли в узком, изогнутом Лиховом переулочке, когда выходили снова на Садовое кольцо. Лелька от страха и название-то переулочка запомнила. Действительно — Лихов! Неужели командиру сообщили об зтом случае? Вроде девчонки-то с ней были надежные...

— Боюсь, что вернешься ты уже после одиннадцати.— Командир вздохнул.— Трамваи ходят плохо, а по Каляевке и трамвая нет... Надейся на свои ноги. Поэтому вот тебе ночной пропуск. Придешь — доложишь мне. А потом уже на свой пост. Получи в каптерке хлеб и колбасу. На целый день идешь. Отправляться немедленно!

— Есть отправляться немедленно! — отчеканила Лелька, взяла пакет, пропуск и побежала в каптерку.

Еще разглядывая план столицы на командирском столе, Лелька твердо решила, что обязательно пойдет туда и обратно мимо сада «Эрмитаж». Если в прошлый раз не удалось повстречать знаменитых артистов, может, сегодня удастся? Ходят же они когда-то на репетиции, на спектакли и обратно домой?! Не по воздуху же летают!..

Но увидеть опереточных артистов и в этот раз Лельке не удалось, хотя по дороге в Тимирязевку она минут пятнадцать крутилась возле сада «Эрмитаж», вглядываясь во всех прохожих. Ни один из них не напоминал артиста. И в саду было тихо, пусто, только слышался шорох желтых листьев, которые падали с деревьев.

«Может, на обратном пути? — подумала Лелька.— Как раз после спектакля угадаю...»

Однако обратно в зтот день Лельке идти не пришлось. И на свой пост зтой ночью она не вернулась. Потому что была зта ночь в Москве страшной и на всю жизнь запомнилась московским азростатчикам.

Но по дороге в Тимирязевку Лелька зтого еще не знала.

Она шла по Москве весело, улыбалась нежаркому сентябрьскому солнцу; под новенькими ее кирзовыми сапожками жалобно похрустывали сухие, желтые листья. Дорога была пока что знакомая: почти каждый день с пустым газгольдером на химический завод, а потом — с полным, громадным и неповоротливым, как слон,— обратно, на пост, к своему азростату, прожорливому и ненасытному. Каждый день ему нужна подкачка. И поэтому каждый день все, кто не в наряде, уходили за водородом.

У Оружейного переулка Лельке пришлось подождать (пока ждала, разглядела на угловом доме название переулка). Поперек Каляевки, по Оружейно-

му, двигалась воинская часть. Бойцы шли усталые, запыленные, увешанные скатками, карабинами, короткими лопатами, противогазными сумками и вещевыми мешками. Некоторые, сверх того, тащили на себе минометную плиту или короткий минометный ствол. Одно слово — пехота. Откуда-то и куда-то. Вероятней всего, на фронт, потому что взводы полные, квадратные — что вдоль, что поперек. А с фронта они полные не ходят... Да и минометы не должны бы увозить с фронта.

...Еще летом сорок первого Лелька рвалась на фронт из далекого Нижнего Тагила, с Вагонки. Ездила из своего поселка за двенадцать километров в центр города, в военкомат, просила, настаивала, заискивала, требовала, плакала и даже скандалила.

Добилась только одного — обещания:

— Вот если кончите курсы сандружинниц, пошлем на фронт. Медиков там не хватает.

Лелька поступила на курсы. Училась вечерами, до ночи, и не скрывала от подруг:

— Я всю эту психотерапию быстро освою! Мне лишь бы до фронта добраться! А там я не клизмы буду ставить. Пойду в разведку!

Но когда курсы были окончены, на фронт не послали. В военкомате уже служили другие люди, пожилые, кривобокие, а один даже глухой — все ему кричали на ухо,— и претензии предъявлять было некому. А те молодые, бравые, что обещали, уже воевали где-то на западе. И вместе с прочими «вагонскими» сандружинницами послали Лельку в госпиталь принимать раненых, мыть их, устраивать, кормить, пичкать лекарствами, колоть злыми шприцами. И клизмы тоже приходилось ставить. Куда денешься, раз надо?

А после дежурства в палатах, порой не отдохнув ни часа, шла Лелька в свой цех, в свой ОТК, к конвейеру, на котором «варили» уже не вагоны, а танки. Шла работать. То, что делали девчата в госпитале, не считалось работой. Это считалось отдыхом.

Весной сорок второго пополз слух, что девчат наконец-то пускают в армию. С целой кучей подруг, прямо из госпиталя, в белом халате, Лелька рванулась в военкомат. А оттуда, разбрызгивая мокрый апрельский снег, уже бегом бежала в горком комсомола. Оказалось, что объявлен призыв ЦК комсомола и что по радио про него не скажут, в газетах его не напечатают, но списки добровольцев уже второй день пишут в горкоме.

Вместе с тысячами других уральских девчат, в длинном-предлинном эшелоне из одних пульмановских теплушек Лелька нежданно-негаданно попала в Москву.

В громадных и пустых Чернышевских казармах, куда привезли девчат прямо с Казанского вокзала, Лелька снова, уже в третий раз, прошла медицинскую комиссию и услыхала, что направляют ее в какой-то второй ПАЗ.

— Это что еще за «паз»? — поинтересовалась она.

— Полк аэростатов заграждения,— спокойно объяснил ей длинный худой капитан с косым шрамом на щеке.— Вы, девушка, будете служить в самом центре Москвы.

И тут Лелька взорвалась. Столько месяцев ждала, терпела, курсы кончала, клизмы ставила, столько всяких комиссий прошла! И пожалуйста — центр Москвы! За чужими спинами!

— Это что у вас тут за безобразие! — закричала она на трех командиров, сидевших за столом.— Что вы творите? Мы же добровольцы! Мы на фронт ехали! А не здесь, в тылу, мышей давить! Отправляйте на передовую! Мы свои права знаем!

Вообще-то никаких своих прав она не знала. Просто так кричала. Вырвалось. Но все равно — должны ведь быть у нее какие-то права!..

Командиры за столом глядели на нее молча, без улыбок, даже как-то устало. Видно, не она первая тут «качала права». Потом длинный худой капитан со шрамом поднялся, шагнул к окну, обернулся и тихо, совсем по-деловому спросил:

— А вы, девушка, каким оружием владеете?

Лелька сразу поняла, что кричала зря, и опустила голову. Никакого оружия, кроме пушек на уральских танках да самодельных финок у довоенной «вагонской» шпаны, она отродясь не видала.

Другой командир, молоденький, белобрысый, звонко сказал:

— Нос вытрите, девушка! Стыдно!

Лелька подумала, что плохо отмылась утром, в эшелоне, перед Москвой. В вагоне было грязновато, и воды — два ведра на всех, на полсотни девчат. Умывались наспех, в полутьме, кое-как. Не иначе на носу — паровозная сажа.

Лелька выхватила из рукава платочек, послюнила уголок и стала старательно тереть кончик своего вздернутого носа.

Командиры захохотали. А длинный, со шрамом, даже согнулся от смеха возле окна.

Лелька поняла, обозлилась, спрятала в рукав платок. «Опять влипла! — подумала она.— Вечно я влипаю!»

Командиры все еще смеялись. И Лелька невольно улыбнулась им. Что ж, на самом деле, смешно. Провели, как маленькую.

— А вы, девушка, и будете на фронте,— уже серьезно сказал капитан со шрамом.— Московское небо — это не тыл. Это фронт. И называется так же. Ваш полк входит в Московский фронт противовоздушной обороны. А теперь идите. Не задерживайте.

И Лелька пошла.

Бомбежек навидалась, стрельбы зенитной наслушалась. Несколько раз возила вместе с другими девчатами зенитные снаряды в Можайск, а там бомбежки были непрерывные, злые. Сгрузив снаряды, девчата сейчас же прыгали в окопы — прятались от бомб. И однажды в таком окопе крупный осколок врезался в земляную стенку как раз в том месте, где только что стояла Лелька.

Коренастый, толстомордый шофер, возивший снаряды, выковырнул этот осколок, еще горячий, покидал с ладони на ладонь и протянул Лельке:

— Возьми на память. Тебя ведь чуть не убил.

Лелька отмахнулась:

— Если б убил — взяла бы. А так — на что он мне?

2

Давно уже остались позади и Бульварное кольцо и тихий «Эрмитаж», в котором слышен шорох падающих листьев. Лелька топает по бесконечному асфальтовому тротуару Каляевской и думает, что хорошо бы заприметить водопроводную колонку, остановиться и пожевать хлеб с колбасой, запивая его чистой водичкой. В желудке тогда будет полнее, противогазная сумка на боку легче. А полный желудок никогда еще не был Лельке в тягость. Особенно с начала войны. Уж чего-чего, а пожевать Лелька всегда любила. Удивительно только, как не разнесло ее с такого аппетита. Фигурка держится не хуже, чем у киноартисток, что в знаменитых фильмах играют.

Колонка отыскалась неожиданно, в коротком боковом переулочке, и на ней лихо, набекрень, сидела командирская фуражка, а рядом, засучив рукава и расстегнув ворот, умывался лейтенант. Был он худенький, поджарый, чернявый и молоденький. Как раз такой, каким и должен быть, по Лелькиному убеждению, настоящий мужчина. Только нос у него был длинноват. Этакий мощный рубильник. Ну, да с носом редко кому везет. У него вот длиннее, чем надо бы, у Лельки — короче. Тоже не радость...

Лелька подошла, остановилась в стороне, не зная — отдавать честь или нет. Командир без фуражки, да и глядит в землю, а не на Лельку. И в то же время не отдашь честь — потом неприятностей не оберешься. Такие фрукты встречаются — за одно неотданное приветствие готовы упечь на «губу».

На всякий случай Лелька отдала честь и щелкнула каблуками. Фиг с ним — рука не отвалится.

Лейтенант выпрямился и, вытирая шею громадным носовым платком, спросил:

— Вы ко мне?

— Нет, товарищ лейтенант!—бойко ответила Лелька и снова щелкнула каблуками.— Я к колонке. Я подожду.

— Зачем же, валяйте!

Лейтенант равнодушно скользнул взглядом по Лелькиному лицу, нахлобучил на затылок фуражку и легко, пружинисто пошел в глубь переулка, продолжая на ходу вытирать шею, уши, волосатые руки.

Лелька смотрела ему вслед, и вдруг ей стало до боли обидно, что вот так, незаинтересованно, словно на косоротую старуху, поглядел на нее этот симпатичный, хоть и длинноносый лейтенант. И другие мужчины так же на нее глядят. И дело тут не в выгоревшей форме рядового состава, не в грубых кирзовых сапогах, которые на Лельке. От иной девчонки в точно такой же форме глаз оторвать не могут. А по Лельке скользнут — и в сторонку. Хоть и хороша фигурка.

Позабыв про колбасу и про хлеб, Лелька вытащила из противогазной сумки маленькое круглое зеркальце и стала разглядывать свое лицо.

Просто черт знает, что за физиономия! Курносая, толстогубая, пухлощекая, с резкими косыми складками от уголков рта. Никакой тебе элегантности. Уж чего только Лелька не делала! И губы красила, и пудрилась, и брови выщипывала в тонкую ниточку — ничто не помогало. А мужчин поначалу только вывеска и интересует. Порой вывеска-то блеск, а за ней ничего, пустота, фитюлька. Сто́ящий человек разберется в этом — и отвалит. Но если вывеска не завлекательная, даже разбираться не захочет.

А ведь с Лелькой никто бы не соскучился. И не то чтобы она специально смешила или веселила. Просто она живет, думает, говорит, делает что-то, а людям вокруг от этого весело. Еще в детдоме одна подруга ей сказала:

— У тебя, Лелька, все мозги смешинками утыканы. Какой извилиной ни шевельнешь — обязательно смешинку заденешь.

И армейская служба, как все в Лелькиной жизни, начиналась со смешного.

На учебном пункте аэростатного полка девчат, только что привезенных из Чернышевских казарм, постригли коротко, «под мальчика», и послали получать форму. А Лелька за формой не спешила — и так не убежит. И потому получила вместо юбки ватные мужские брюки: юбок на всех не хватило. Вырядилась она в стеганые брюки, в громадные мужские ботинки с черными обмотками, на глазах у подруг сделала характерное мальчишечье движение, будто подбрасывает щиколоткой монету, и обратилась к вошедшему в казарму капитану:

— Дяденька, дайте закурить!

Капитан взорвался:

— Немедленно на «губу»!

— За что? — удивилась Лелька.

— За обращение не по форме! На вас одежда бойца, а не клоуна!

«Губы» на учебном пункте еще не было. Лельку заперли в пустом классе, где по стенам были развешаны наклеенные на марлю таблицы с черными контурами немецких самолетов.

Лелька походила вдоль стен, поглядела на эти контуры, потом спокойненько поснимала все, свернула в пухлый, мягкий рулон и улеглась на полу, примостив этот рулон под голову. И отлично проспала до самого позднего утра. Остальных подняли в шесть, заставили бегать, заниматься гимнастикой, а Лелька и не слыхала подъема. Когда открыли класс, нашли ее все еще спящей на этих таблицах.

Потом Лелька убеждала девчат, что спать на «вражеских самолетах» очень даже удобно. Особенно, когда под боком не тонкая армейская юбка, а толстые, теплые и мягкие ватные штаны. Их теперь и менять на юбку не хочется.

Лелька говорила серьезно, потому что это была святая правда. А девчата смеялись, конечно. И капитан тот смеялся.

Через месяц на этот же самый учебный пункт пришло одной девчонке письмо с Урала, что на фронте погиб брат. Девчонка повалилась с этим письмом на койку и заревела.

К ней подошла подруга — утешать. Но, узнав, в чем дело, тоже заплакала.

Подошла еще одна утешительница. И тоже разрыдалась: у нее на фронте были три брата.

Затем подошла Лелька. Тихо спросила:

— Кто крайний плакать?

И все невольно улыбнулись. И стих плач.

А Лелька и вправду не знала, в чем дело. Просто приметила, что подходят одна за другой и начинают реветь. Как тут не подлезть с вопросом?

И все-то вот так в ее жизни: Лелька — всерьез, а людям — смех.

...Ничего нового не сказало Лельке зеркальце, ничем не утешило. И чернявый лейтенантик за это время уто́пал далеко по переулочку, скрылся за поворотом. Лелька спрятала зеркальце обратно в зеленую противогазную сумку, вынула хлеб, колбасу, складной алюминиевый стаканчик, который выменяла у моториста своего поста на перочинный нож со штопором, и принялась обедать.

3

Дорогу все-таки приходилось спрашивать, и объясняли люди по-разному, а кто-то даже сказал, что Лелька уже дала крюку. Но в конце концов она вышла на Лиственничную аллею, которая должна была упереться прямо в академию. И уже когда топала Лелька пыльными своими сапогами по этой километровой аллее, залетный циклон обрушил на Москву бурю, которую все зенитчики столицы, и особенно аэростатчики, запомнили на целую жизнь.

Ветер свалился на северо-запад Москвы резко, без обычного постепенного усиления. Промчался по аллее вдаль, мгновенно обогнав Лельку, плотный, крутящийся столб пыли. Слева, на пятиэтажных студенческих общежитиях загрохотало железо, свернулось спиралью, и целый клубок его с жалобным зво-

ном врезался в пожелтевшую траву. «Если б стоял кто возле дома,— мимоходом подумала Лелька,— снесло бы голову напрочь».

Она уже бежала к академии. Бежала изо всех сил, потому что понимала: сейчас хлынет дождь. Даже наверняка ливень. И боялась она не столько за себя — что ей-то, молодой, под дождем сделается? — сколько за пакет. Спрятать некуда, размочит его, ничего потом этот Смирнов не разберет, и влетит опять же Лельке. А пережидать дождь где-нибудь под крышей тоже рискованно. Шут его знает, что в этом пакете? Может, что́ срочное? Может, никакой дождь не должен задержать?

Ни о чем, кроме пакета, не думала она, когда, очертя голову, неслась по Лиственничной аллее к Тимирязевской академии. И лишь когда, еще не отдышавшись, отыскала Лелька в гулком, пустоватом и холодном здании аэростатчиков, вспомнила она про аэростаты, беззащитные и опасные в такую сильную бурю.

Невысокий, плотный, с короткой шеей, сминавшей стоячий воротник гимнастерки, Смирнов топтался возле подоконника в сбитой на затылок фуражке и кричал в телефонную трубку:

— Держите аэростаты, черт возьми! Некогда новые мешки с песком подвозить! Чем держать? Собой держите! За спуски цепляйтесь!

Он бросил трубку, и, пока телефонистка вызывала другой пост, Лелька осторожно тронула Смирнова за локоть.

— Вам пакет, товарищ старший лейтенант.

Смирнов оглянулся, молча выдернул у Лельки из рук пакет, оторвал полоску сбоку, не ломая сургучных печатей, и вынул маленькую бумажку с машинописным текстом.

Пробежав ее взглядом, он криво усмехнулся и бросил Лельке через плечо:

— Передай своему командиру, что пришлю! Завтра же пришлю: нам не жалко!

— Есть передать, что пришлете!—Лелька привычно вскинула к пилотке руку, щелкнула каблуками и уже хотела было повернуться через левое плечо. Но не удержалась и спросила:— А что пришлете?

Смирнов как-то странно, дико поглядел на нее, но в эту секунду телефонистка протянула ему трубку.

— Девятый на проводе, товарищ старший лейтенант.

И снова Смирнов кричал в трубку, что надо держать аэростаты и цепляться за спуски. Лелька слушала его и вспоминала, как несколько месяцев назад была такая же страшная буря, и, вместе с другими удерживая свой аэростат, Лелька провисела почти целый день на этих самых крепежных канатах, которые называются спусками. На Лелькином-то посту все обошлось: высокие дома заслонили. А рядом, у Покровских ворот, сорвавшийся аэростат поднял на полсотни метров Машу Иванову, знакомую «вагонскую» девчонку. Полчаса провисела Маша на такой страшной высоте, где Лелька наверняка сознание потеряла бы от ужаса. Да еще если рядом болтается вырванный из земли тяжеленный штопор и бьет тебя ребром то в лоб, то в затылок, то в плечо... Машу потом опустили, продержали одиннадцать дней в госпитале и наградили медалью «За отвагу». Маша теперь здоровая и, как всегда, веселая. Но где-то на окраине, под Люблино, аэростат так же сорвался в ту бурю и насмерть убил Настю Васильеву, табельщицу с «Уралмаша». Писали про нее дважды во фронтовой газете «Тревога», Лелька сама читала. А позже на все аэростатные посты прислали портреты Насти Васильевой, такие же, как в газете.

И вот теперь девчонки из Лелькиного расчета снова висят по бокам аэростата, а Лелька болтается тут, у черта на куличках, и неизвестно зачем.

— Разрешите идти? — вырвалось у нее.

Но Смирнов не слышал. Смирнов кричал в трубку:

— ...Что? Людей не хватает? Сейчас кого-нибудь пришлю!

Он обвел сумасшедшими глазами комнату и остановился на Лельке.

— Немедленно в парк! — скомандовал он.— Двести метров направо от подъезда. Там тандем. Они не справляются.

Лелька поднесла к пилотке руку, хотела сказать привычное «Есть!», но Смирнов рявкнул:

— Бегом марш!

И Лелька побежала, грохоча тяжелыми кирзовыми сапогами по гулкому коридору академии.

Лелька отлично знала, что такое тандем. Это два аэростата на одном тросе, на одном посту, а людей столько же, сколько везде. И, значит, на каждом аэростате бойцов висит вдвое меньше.

У Насти Васильевой на окраине, под Люблино, тоже был тандем...

4

Дождь на улице уже хлестал вовсю. Ветер шел на Лельку плотной упругой стеной, и бежать против него было никак невозможно. Лелька двигалась по мокрой песчаной аллее, с силой впечатывая каждый шаг, нагнув вперед голову и отталкивая плечами, грудью тугую стену ветра. Буквально вдавливалась в него. Двести метров до поста казались длинной, изнурительной, бесконечной дорогой.

Аэростаты были вытянуты в линию на этой же широкой аллее и глядели в хвост один другому. Между ними стоял на колодках зеленый грузовик с лебедкой. На ближнем аэростате не было никого — только болтались, как обычно, балластные мешочки с песком,— а все девчата и один рослый солдат, видимо, моторист, висели на дальнем. Лелька шагнула ближе и увидела, как качается, взмывает вверх и падает вниз нос аэростата.

«Оттяжку сорвало!» — поняла Лелька и рванулась вперед.

Под носом аэростата, уже над Лелькиной головой, качалась во все стороны, плясала и извивалась носовая оттяжка — прочный канат, прихваченный к самому аэростатному носу. Лелька подпрыгнула, пытаясь поймать его, но канат больно хлестнул ее по щеке и не дался в руки. Лелька подпрыгнула еще раз, и канат сбил с ее головы пилотку, а в руки снова не дался. Лелька стала прыгать подряд, как в детстве, когда крутила скакалку, и в конце концов ухватилась за канат, повисла на нем всем телом, подвернув под живот руку, и притянула нос аэростата к земле.

Мокрый, грубый канат обжигал ладони, казалось, кожу сдирал с них, и Лелька уже испугалась, что не хватит у нее силы долго терпеть эту адскую боль. Однако тут же вспомнила, что, наверно, Маше Ивановой тогда, в ту бурю, в пятидесяти метрах от земли, было больнее. А провисела она полчаса... И ведь не чужая какая-нибудь, не из другого теста сделанная, а своя, «вагонская».

Лелька уже приготовилась терпеть боль буквально до потери сознания, но вдруг почувствовала, что канат безвольно ослаб в ее руках, что ноги уже не

в воздухе, а на земле и что вообще она уже не притягивает аэростат, а лишь страхует оттяжку, которую стоящая рядом девчонка ловко захлестнула за железное кольцо ввернутого в землю штопора. Нос аэростата стоял теперь ровно, почти недвижно, только чуть оседая назад под порывами ветра.

Девчонка разогнулась, провела рукой по пояснице, крикнула сквозь ветер:

— А ты молодец! Откуда взялась?

— Смирнов прислал,— ответила Лелька, глядя в круглые серые глаза девчонки. Потом перевела взгляд на мокрые петлицы и поняла, что ловкая девчонка и есть старший сержант — командир этого аэростатного поста.

Дождь по-прежнему хлестал вовсю, и голова промокла до самого последнего волоска. Лелька нагнулась, пошарила по земле, нашла свою пилотку. Пилотка была в грязи и мокрая насквозь. Надевать такую не решился бы, наверное, даже мужчина, а не то что женщина. Лелька заткнула ее за пояс.

— Цепляйся за второй аэростат! — крикнула сероглазая девчонка.— Я сейчас туда других переброшу. Чтоб поровну. Мы уж думали, сорвет этот...

До второго аэростата Лельку буквально донес ветер. Казалось, раскинь руки, оттолкнись от земли, и он потащит тебя, как желтый листок с дерева.

Лелька повернулась к аэростату, подождала, пока не показались с другой его стороны девичьи ноги в сапогах, крикнула: «Прыгай!»—и повисла на спуске. Аэростат плавно качнулся, подался слегка в ее сторону, но тут же Лелька ощутила толчок с другой стороны и рывок аэростата обратно. Он снова встал ровно, но осел чуть-чуть под тяжестью двух тел. Тотчас же Лелька ощутила еще два легких толчка, и на корме повисли еще двое.

Она висела на аэростате, промокшая до нитки, замерзшая, потому что ливень становился все холоднее, и думала почему-то о ночном пропуске, который тоже наверняка безнадежно размок в кармане гимнастерки. С таким пропуском по ночной Москве не пройдешь, и либо опять заберут в комендатуру, уже второй раз, либо надо куковать в Тимирязевской академии до утра. И так и этак влипла. И так и этак не миновать нарядов вне очереди, а то еще и «губы». Такое уж Лелькино счастье — всегда влипает. Только со стороны это кажется интересно да весело. А вот попробовали бы сами!..

Невольно вспомнилось Лельке первое увольнение в город. Вернуться на пост нужно было к подъему аэростата. Но Лелька не смогла вернуться ни к подъему, ни после. Ее не было на посту всю ночь.

Девчата потом рассказали, что грубоватый и прямолинейный моторист понял это по-своему: «Вырвалась девка на волю и загуляла».

Лелькины подруги на него зашипели. Они были уверены, что с Лелькой случилась беда.

Вернулась она утром, к спуску аэростата, с запиской из комендатуры. А попала туда потому, что забыла на посту увольнительную. Для выхода в город надевали новенькую гимнастерку, и, торопливо натянув ее, Лелька забыла увольнительную в старой. Если б жила она в казарме, ее вернули бы обратно с проходной. Не выпустили бы без увольнительной. Но аэростатчики жили в обычных московских дворах, были мелкими группами разбросаны по всему городу, и проверять выход с поста было просто некому. Все свои знали, что у Лельки увольнение, и она спокойно ушла.

Никаких неслужебных дел у Лельки в Москве не было, и она просто отправилась в центр, к Кремлю, пройтись по Красной площади, поглядеть с мостов на Москву-реку. На Манежной площади Лельку и остановил патруль.

Лелька привычно потянулась к карману и с ужасом обнаружила, что он пуст. Она забыла переложить в новую гимнастерку из старой и увольнительную записку, и зеркальце, и платочек, и губную помаду, и карандаш с блокнотиком в тоненьких стальных корочках. Пришлось идти в комендатуру. Там, конечно, спросили:

— Почему в самоволке?

Лелька объяснила все, как было.

— Все-то вы одинаково врете! — с добродушной и усталой улыбкой сказал пожилой, морщинистый дежурный майор.— Хоть бы уж девушки придумывали что-то оригинальное!

Лелька замолчала: если не верят, чего же доказывать?

— Будете строевой заниматься! — неожиданно строго объявил майор.— До седьмого пота! Чтоб запомнилось!

В комендатуре было полно задержанных. И все рядовые. Одна Лелька — ефрейтор. Вот ей-то майор и приказал:

— Погоняешь их как следует и сама походишь, подумаешь, почем нынче самоволки. А потом мы посмотрим, что вы умеете. Не умеете — добавим. Пока не будете уметь.

Лелька выстроила всех рядовых, увела строевым шагом за дальний сарай, остановила.

— Мужики,— сказала, — давайте покурим.

Мужики покурили. Угощали и Лельку, только ей это было без надобности. Попробовала она как-то, да потом прокашляться не могла. И солдатскую свою пайку махорки, как все девчата, выменивала у моториста на сахар.

— Ходить-то умеете? — спросила Лелька.

— Умеем.

— Перед начальством пройдете?

— Пройдем.

— Ну, ладно. Курите тогда.

Не подвели Лельку рядовые. Красиво прошли. Может, потому что не устали?

А Лельке пожилой майор благодарность объявил. Когда она потом рассказывала это на своем посту, девчата хохотали, завидовали:

— Везучая ты, Лелька! Все тебе как с гуся вода...

Со стороны оно, конечно, так... А попробовали бы сами трястись от страха по дороге в комендатуру и потом целую ночь гадать, что там на посту и как да какими ласковыми приветами встретит ее после этой ночи начальство.

Три наряда вне очереди, которые она тогда схватила, конечно, чепуха. А вот что ей с тех пор ни одной увольнительной в город не дали, этого никто не замечает. Все понемногу ходят — только Лельке нельзя. И не пикнешь, не попросишь: сейчас же ткнут тебя носом в ту треклятую ночь.

А теперь еще эта ночь добавится...

5

Все-таки на первом аэростате девчатам было труднее, чем на втором. Ветер упорно дул вдоль аллеи, и первый аэростат принимал на себя всю мощь ударов, рвался и трещал, а второй почти спокойно прятался за его спиной. Только изредка вздрагивал и метался под особенно сильными порывами.

Быстро темнело. Время, казалось, остановилось. Оно не приносило никаких перемен. И только по сгущавшейся темноте можно было понять, что оно уходит, утекает, исчезает. Все так же безостановочно дул ветер, лил дождь, иногда гремел гром, и,

как испуганные животные, вздрагивали и метались аэростаты, и висели на них, вперемежку с балластными мешками, мокрые, окоченевшие люди.

У Лельки онемели руки, ноги, шея, и все тело стало, будто не свое, будто чужое, каменное. И тускло, устало, даже лениво хотелось, чтоб все это хоть как-то кончилось; пусть любым страхом, пусть даже смертью, только бы кончилось!

Не выдержала, отпустила руки, заплакала и побрела куда-то в сторону одна девчонка с первого аэростата. За ней кинулась другая. И сейчас же аэростат освобожденно рванулся, задрал корму и выдернул из земли железный крепежный штопор. Лелька заметила, как черной молнией метнулся он в воздухе, и вслед за тем раздался отчаянный девичий вопль.

Лелька изловчилась, поменяла руки, повернула голову и увидала, что кто-то корчится и стонет на земле возле первого аэростата.

Мгновенно Лельку сдуло вниз. Она молниеносно оказалась возле упавшей девчонки.

— Руку, руку, осторожней! — просила та.— Руку перебило.

Лелька узнала голос сероглазого старшего сержанта.

— Где у вас пост? — крикнула Лелька.

— Налево, в землянке... Да ты давай к аэростату! Сорвет ведь! Я сама...

— Вот перевяжу — тогда и к аэростату,— ответила Лелька.— Я все-таки медсестра.

Землянка была метрах в пятидесяти от аэростатов, и поперек ее крыши, раскинув во все стороны сломанные свежие ветви, лежал тополь.

«И не слыхали, как сбило»,— подумала Лелька.

Раздвигая прикрывшие вход мокрые ветки, девушки в темноте пробрались в землянку, и несколько раз Лелькина спутница вскрикнула: ветки задевали перебитую руку.

В землянке Лелька сказала: «Потерпи»,— и, не обращая внимания на стоны и вскрики девушки, осторожно прощупала руку от плеча до запястья. Штопор перебил локтевую кость, но перелом был закрытый и вокруг него быстро нарастала опухоль.

— Где у вас тут огонь? — спросила Лелька.

— Сейчас нашарю,— ответила девушка.— Тебя как звать-то?

— Лелькой.

— А меня Ниной. Вот спички. Чиркни. Коптилка в углу.

Лелька засветила коптилку, быстро огляделась в землянке, усмехнулась.

— Как в пещере. И спите тут же?

— Нет, спим в академии. Тут только пост.

— Ну, это еще ничего. Клеенка тут отыщется? И бинт хорошо бы...

— Клеенка на столе. Бинт в аптечке, возле коптилки. А ты бойкая. Москвичка, должно быть? Москвички все бойкие.

— Тагильская я,— ответила Лелька.— С Урала.

— Ишь ты! Землячка! А я с Ревды.

— Ничего себе землячка! Меж нашими городами километров двести, не меньше.

— Тут мы все земляки! Раз с Урала... В одном эшелоне ехали...

Лелька быстро отыскала бинты, сдернула клеенку со стола и располосовала ее. Потом предупредила Нину:

— Ну, теперь снова терпи. Положено гипс, раз перелом. Или хотя бы шину. Но шины тут нет. И загипсуют тебя другие. А я уж подручными средствами.

Она сделала тугую повязку, замотала поверх нее руку полосами клеенки, снова закрепила бинтами, спросила:

— Может, тебя переодеть? Есть тут что сухое?

— Шинели только. Да ты иди, я сама закутаюсь.

— Шла бы ты вообще в академию, на КП. Там бы и гипс положили.

— А пост? Аэростаты как же?

— Я покомандую. Ефрейтор все-таки! — Лелька усмехнулась.— Большой начальник. Опять же аэростатчица. Ну, бывай!

Она рванулась из землянки в темноту, к аэростатам. Мокрые, холодные ветви упавшего тополя хлестнули по лицу, но Лелька быстро пробилась сквозь них и помчалась к широкой аллее.

6

Все опять висели на первом аэростате. На втором не было никого. А первый метался и стоял косо, задрав кверху корму и слегка повернувшись набок. Лелька поняла, что сорвавшуюся оттяжку так и не закрепили. Она сразу кинулась туда, к этой оттяжке, но мужской голос остановил ее резким окриком:

— Не сметь!

Лелька вздрогнула, задержалась, и голос уже тише добавил из темноты:

— Там штопор пляшет.

— Найди запасную оттяжку! — распорядилась Лелька.— Я этого плясуна захлестну.

Оттяжку ей подали через минуту. Однако захлестнуть штопор было не так-то просто. Он метался в темноте, почти невидимый, дважды стукнул Лельку по голове, и она уже чувствовала, что сражение со штопором может кончиться для нее плохо.

У другого конца аэростата, возле носа, страшно затрещала и повалилась поперек аллеи береза. Видно, один из ее сучьев перебил переднюю оттяжку, и аэростат, рванувшись, на какую-то секунду наклонился на тот бок, где вертелась и прыгала Лелька. Неуловимый черный штопор покорно лег на песок у ее ног. Лелька прыгнула на него, словно кошка на мышь, вцепилась и захлестнула запасную оттяжку за его кольцо. Теперь штопор был не опасен: канат длинный, можно усмирить.

Уже через секунду аэростат перевалился обратно, и штопор взмыл вверх, ободрав Лельке канатом ладони. Но штопора она теперь не боялась. Боялась аэростата — удастся ли усмирить его?

Запасную оттяжку Лелька замотала за дерево и слегка притянула этим корму аэростата. Потом кинулась к носу. Но тут все успели и без Лельки. Две девушки висели на носу, а моторист привязывал к лопнувшей передней оттяжке новый конец.

Так продолжалось всю ночь. Одно за другим валились по сторонам деревья, не переставая хлестал дождь, лопались оттяжки, и Лелька вместе с мотористом носилась вдоль аэростата, привязывая то одну, то другую.

В сапогах было полно воды, она лилась через край. Прилипшая, мокрая одежда сковывала тело, тормозила движения. Стыли под холодными струями спина и непокрытая голова, саднило содранные штопором ладони.

В середине ночи ненадолго мелькнул мокрый и злой Смирнов — видно, носился всю ночь по постам,— пообещал прислать еще кого-нибудь, но так никого и не прислал. Наверно, некого было. Видно,



весь небольшой КП был в разгоне и вперемежку с бойцами висел на аэростатах.

Выползла на аллею в накинутой шинели сероглазая Нина с перевязанной рукой. Но ее дружно прогнали обратно в землянку.

Под утро, когда уже светало, отчаянный, видно, последний порыв бури сорвал первый аэростат со всех оттяжек. Он висел над землей, и удерживали его теперь только люди да шестнадцать обязательных балластных мешочков с песком. И никто из бойцов уже не мог спрыгнуть, чтобы закрепить канат. Спрыгнешь — нарушится равновесие, аэростат скинет остальных бойцов, как скинул их в апреле на посту уралмашевки Насти Васильевой, и уйдет. И тогда все муки зря.

Ветер стал стихать, прекратился дождь, а люди все висели, и никто из них не решался отпустить крепежные канаты.

И тут снова появился на посту мокрый, охрипший Смирнов.

Он пробежал вдоль аэростата, понял, в чем дело, и кинулся крепить оттяжки с носа — одну, другую, третью.

Лелька первой смогла спрыгнуть на землю и побежала к корме — крепить оттяжки. За полчаса все было сделано: аэростат смирно стоял на биваке, а ошалевшие после бури люди — мокрые, грязные, измученные — переминались рядом, еще не веря, что все кончилось, что все остались живы, что аэростаты не унесло. Пройдет день, высохнет одежда, подкачают аэростаты, и вечером они снова подымутся в небо, преграждая вражеским самолетам путь к столице.

— Хорошую девушку вы нам прислали, товарищ старший лейтенант,— тихо сказал моторист.

— Плохих не посылаем.— Смирнов устало улыбнулся.— Помогла?

— То есть даже очень! Без нее мы бы аэростат упустили. Может, вы ее нам оставите?

— Ишь ты! — Смирнов качнул головой.— Она, небось, и у себя не лишняя! Как тебя звать-то, ефрейтор?

— Ольга Кротова, товарищ старший лейтенант.

— Объявляю тебе, Кротова, благодарность от имени командования!

— Служу Советскому Союзу!

Забывшись, Лелька привычно отдала честь и тут только вспомнила, что грязная пилотка заткнута у нее за пояс и что «к пустой голове руку не прикладывают».

«Ну вот, опять!..» — подумала Лелька.

Вокруг смеялись девчата. Смеялся круглолицый Смирнов. Смеялся длинный, в короткой гимнастерке, моторист. Махнув рукой, засмеялась и Лелька. Что уж тут делать, когда все над тобой смеются?

7

В Тимирязевской академии, в холодноватой просторной комнате, где стояли восемь аккуратно застеленных девичьих коек, Лельке дали сухую одежду и сказали:

— Пойдем сейчас завтракать. Потом высушишься, отгладишься и лети на волю.

За завтраком Лелька была с девчатами уже совсем как своя. Будто год в этом расчете. Ей подваливали в миску и гречневой каши, и пахучей тушенки, и хлеба положили столько, что не съесть. Лелька не налегала на хлеб: знала, что он из чужих пайков. А вот каши с тушенкой наелась под завязку.

Каждый рассказывал какие-нибудь страшные случаи из своей жизни. И у всех выходило, что страшней сегодняшней ночи ничего не было. Лелька тоже хотела рассказать что-нибудь ужасное, но ничего такого не припомнилось. Конечно, под бомбами в Можайске, на машине с зенитными снарядами Лельке было не веселее. Но вспоминать об этом здесь не хотелось. Зато вспомнилось кое-что из довоенной жизни, которая была будто и не у Лельки, а у кого-то другого,— такой невероятно далекой и красивой она казалась теперь из военной Москвы, из пустоватой столовой академии, где должны бы обедать студенты, но где завтракают сейчас бойцы.

— Это еще что!..— Лелька осторожно, вполголоса вмешалась в разговор, и все сразу притихли.— Я вот однажды, не от радости тоже, за день две зарплаты получила. До сих пор помню. Больше ни разу не удавалось!

— А как же это можно, за день две зарплаты?

— Вот так и можно! Не было б счастья, да несчастье помогло. Я тогда работала в отделе кадров писарем. Я ведь шибко грамотная: семь классов в детдоме кончила. А с дисциплиной у нас строго было, хуже, чем здесь. За двадцать минут опоздания уже увольняли. Вот вышли мы как-то в обед на лужок. А у нас хорошо на Вагонке! Это в Тагиле так поселок называют, от вагон-завода. У нас там луг, лес, ручей — прямо через дорогу от отдела кадров. Сидим на травке, жуем бутербродики. Птички вокруг поют. Я свое сжевала и чего-то задумалась. А потом запела. Сижу себе, пою, про любовь думаю. Долго пела! Потом оглянулась — никого рядом нет. Пошла в отдел кадров. Вижу — все сидят, пишут. «Чего это вы? — спрашиваю.— Обед ведь».— «Какой обед! — говорят.— Обед давно кончился». Оказывается, лишку я на лужке пропела. И как раз вышла двадцать одна минута. Ну, закон есть закон. Надо увольнять. «Что ж,— говорю,— давайте справку». Трудовой-то книжки у меня тогда еще не было. Выписали мне справку, пошла я в бюро пропусков — тут же, рядом — и договорилась работать у них. Грамотные-то люди везде нужны, да и знали меня. А работу дали — выписывать разовые пропуска. И посадили в помещении отдела кадров, рядом с тем столом, где я раньше сидела. В тот же день я и начала пропуска выписывать. И засчитали мне его рабочим — и тут и там. И получила я за него двойную зарплату. А вы еще не верите!..— Лелька развела руками и по глазам сидящих за столом девчат поняла, что они верят.

Кажется, они сейчас всему поверили бы, что только Лелька ни расскажи.

Но ей уже пора было собираться.

...Через десять дней, утром, Лельку вызвали на КП.

— Почему-то в парадной форме,— пожав плечами, сказала дежурная по посту.

Лелька обрадовалась — получать наказание или дежурить по кухне в парадной форме не вызывают. Наверно, в какой-нибудь конвой или почетный караул. Хоть и редко, но вызывали девчат для этого в штаб. Только почему Лельку? С ее-то везением...

А вообще хорошо бы! Москву посмотреть можно... День ясный, теплый, по-осеннему прозрачный — бабье лето! Самое удовольствие смотреть Москву.

— Пойдешь в штаб,— сказал на КП командир отряда, и Лелька сразу подумала: «Ага, угадала!» — Явишься там к начальнику политотдела подполковнику Захватаеву. В одиннадцать ноль-ноль быть у него!

— Есть явиться к подполковнику Захватаеву в одиннадцать ноль-ноль! — отчеканила Лелька, лихо щелкнула каблуками и не удержалась:— А зачем, товарищ старший лейтенант? В конвой пошлют?

— Не военный ты человек, Кротова! — Командир отряда вздохнул, покачал головой, потрогал родинку на левой щеке.— Все-то лезешь с вопросами, когда не надо. Ну, да ладно, скажу. Медаль ты идешь получать. «За отвагу». Представил тебя Смирнов за ту вот бурю, которую ты в Тимирязевке встретила. Везет тебе, Кротова, хоть и не военный ты человек!

— Разрешите спросить, товарищ старший лейтенант? — Лелька снова щелкнула каблуками.

— Чего тебе еще?

— В том пакете, из-за которого мне медаль получать, вы чего-то просили у Смирнова. А он обещал прислать. Прислал?

Командир вытаращил на Лельку голубые свои глаза и опять покачал головой.

— Вот это да-а! — протянул он.— Ну, Кротова, плохо ты кончишь! Разве можно начальству такие вопросы задавать?

— А что? — растерянно спросила Лелька.— Нельзя?

— А если в том пакете была военная тайна?

— Извините, товарищ старший лейтенант! — Лелька щелкнула каблуками потише, скромненько, чтоб видно было, что она прочувствовала внушение. — Больше подобных вопросов задавать не буду!

— В другой день скомандовал бы я тебе: «Кругом марш!».— Старший лейтенант усмехнулся.— И пошла бы ты со своими вопросами... Ну, а сегодня, по случаю твоего праздника, отвечу. Штопоры я у него просил. Для наших постов. У них там в мастерских хорошие аэростатные штопоры гнут. Удобней наших. И с запасом гнут. Но вот ведь не прислал пока. То ли машины нет, то ли забыл. Еще кого-то придется, наверно, к нему с пакетом отправить... Туда не дозвонишься!

— Отправьте меня, товарищ старший лейтенант!

— Нет! — Командир отряда решительно мотнул головой.— Это уж было б неприлично. Еще чего доброго влюбится он в тебя... А сейчас война. Всякую любовь надо отставить до победы. Пошлю кого-нибудь другого. Тоже, может, медаль заработает...

8

Восьмого мая 1945 года, в одиннадцать вечера, Лелька заступила на пост в штабе возле знамени.

Среди ночи вдруг затрезвонили все телефоны, потом заговорило радио, и пришло долгожданное слово — «победа». В дальних комнатах повскакали со своих раскладушек дежурные офицеры, все вокруг кричали, обнимались, плакали, чокались за победу флягами. А Лелька, как истукан, стояла возле знамени с карабином и не могла шелохнуться.

«Вечно-то мне не везет!» — горько думала она.

Приехали в штаб — маленький, пухлый, будто шарик на шарике, подполковник Дмитрий Алексеевич Захватаев и командир части Эрнест Карлович Биринбаум, худощавый, седой эстонец в белом кителе и с палочкой, потому что хромал, отморозив пальцы ног еще задолго до войны, в тридцатых годах, при испытании первых советских аэростатов.

Они обнимали офицеров и связисток, поздравляли, и их тоже обнимали и поздравляли, и на секунду Захватаев остановил свой веселый взгляд на Лельке и улыбнулся ей, видно, узнав, но не сказал ничего, потому что не положено говорить с караульным у знамени. А она тоже невольно улыбнулась ему в ответ, хоть и не положено на посту улыбаться.

А потом неожиданно, намного раньше срока, притопал начальник караула и сменил Лельку и ее напарницу, поставив вместо них штабных связисток, которые уже напоздравлялись и наобнимались. И, едва Лелька отошла от знамени, как к ней под бок подкатился Захватаев, поздравил и расцеловал в обе щеки.

— На таких, как ты, земля держится,— сказал он и спросил: — Останешься в Москве?

— Какое!.. — Лелька махнула рукой.— Куда мне в москвички!.. Я вернусь на Вагонку. У нас там горы кругом, леса, озера, ручьи лесные. Я уральская!

...Она пришла на свой пост утром, после завтрака, и пока добиралась от метро, ее трижды принимались качать ошалевшие от радости москвичи. Она уже рассовала по карманам затвор и магазин карабина, чтоб не потерять.

А когда ввалилась в комнату, где стояли койки девчонок, сорвала с плеч погоны.

— Ура, девочки! Война кончилась!

И некоторые, глядя на нее, тоже от радости, от полноты чувств сорвали с плеч погоны.

Потом им крепко влетело за это. И Лельке — больше всех. Вызывали на КП, делали внушение, объявили наряды вне очереди. Чтоб почувствовали: армия всегда остается армией. И командир отряда, покусывая яркие свои губы и явно сдерживая усмешку, выговаривал:

— Вот не военный ты человек, Кротова! И что с тобой делать? Везучий, но совершенно не военный человек!

Погоны пришлось пришивать заново. И в следующий раз отпорола их Лелька осторожно, неторопливо, бритвочкой, уже на родной своей тагильской Вагонке.

Отпарывала и ревела: чего-то жалко было...

✪

Сейчас эта женщина работает на заводе рядовой лаборанткой. И не ахти какая она красавица. И не ахти какая общественница: не бегает, конечно, от всяких поручений, но и не рвется. А знает ее почти весь громадный завод. И все, кто знает, по-доброму улыбаются при ее имени. Порой месяцами из уст в уста передаются по заводу ее шутки. Ибо она по-настоящему веселый, никогда не унывающий человек. А это ведь тоже талант — такой же редкий, как и все остальные истинные таланты.

Десятки лет почти никто не знал о ее военном прошлом. И только когда заговорили в печати, по радио и на лекциях о защитниках московского неба, выяснилось, что эта женщина была в их числе, была добровольцем, имеет боевые медали. До этого все были уверены, что она совершенно, ну просто абсолютно не военный человек!

Свердловск.

Платон Воронько





Перевел с украинского В. КОРЧАГИН.

✪

Твой путь — по зыби жгучего песка.
Вода в барханном море не близка.
Пред ней, как щит,
Как беспощадный страж,—
Палящий зной, и жажда, и мираж.

Но ты иди сквозь все, пока живой,—
Он есть, он ждет, родник заветный твой!
Пускай ведут к нему твои следы,
Чтоб и другим не гибнуть без воды.

Земля моей молодости

И вспомнишь
И года считать начнешь,
И выйдет, сорок лет прошло.
Как много!..
Слепящий лед вокруг.
Мы — молодежь.
Держась верблюжьих троп,
Мы в город Ош
Автодорогу тянем от Хорога.
Как в полдень луч,
полночный ветер жгуч.
Мы вмерзли бы в памирские карнизы,
Когда б не юрта где-то между круч,
А в ней огонь и пастухи-киргизы.

Нас хмель кумыса лаской обволок,
Хозяева нас грели, привечая,—
То был гостеприимства островок
С теплом сердец, с теплом густого чая.

И вновь ледовый штурм.
Но нам теплей,
Нам и усталость вроде б незнакома...
О край далекой юности моей,
Ты домом стал мне вдалеке от дома!

Почти забыв и свист басмачьих пуль
И склон, где сталь машин разбитых тлеет,
Я рад, что чаша дружбы Иссык-Куль
Айтматовским корабликом белеет,
Что не увяли с той поры цветы
В живом венке живого Токтогула,—
Как видно, лишь по вехам доброты
Сквозь время трассу память протянула.

Все, чем был счастлив сорок лет назад,
Не старится,
живет во мне поныне.
Я радуюсь,
что ты цветешь, как сад,
Киргизский край мой!
И еще я рад,
Что близок твой народ всей Украине.

Притча о Бое

По степи опаленной, рябой
Уходил добрый молодец Бой —
Уходил от старухи войны,
Весь в крови, из чужой стороны.
Ни шинельки на нем, ни сапог,
Лишь ружье по привычке сберег.
Пуст подсумок, хоть пули и есть,
Ну, а сколько их в теле, не счесть...
Фронт заглох, онемел: Боя нет!
И терновый безвременный цвет
На колючках железных расцвел,
И зенитный заржавленный ствол
Дал побеги, раскинул листки,
И осокою стали клинки.
Хоть война воем воет, грозя,
Ан без Боя-то жить ей нельзя.
Подвывает войне и зима,
Как им быть, не приложат ума:
Сталь цветет, и кругом так тепло!..
Это диво еще не пришло,
Но я верю, придет наяву,
И штыки превратятся в траву,
И мальчишек веселая рать
Станет в вечные весны играть,
А не так, как теперь, не в войну...
Что же с Боем! Пойду-ка взгляну
На лощиночку ту, на бурьян,
Где в пути он скончался от ран.
Вслед за Боем, бессильна и зла,
Богу душу война отдала,
Черный след ее смыли дожди.
...Вера светлая, не подведи!

✪

Караван плывет гусиный,
А под ним — закат.
Из-под тучи густо-синей
Гуси мне трубят.
В темь ушли —
К лугам, к гнездовью...
А душе тепло,
Будто первою любовью
Душу обожгло.

Осенний сонет

Октябрь уж, а зелено. Да еще как!
Июню такое, поди, и не снилось!
Вздымает играючи тополь-маяк
Зеленое пламя в небесную стылость.

Весенний залп и во мне не иссяк,
Но можно ль у дней не принять эту милость!
Беру этот дар я не в горсть, не в кулак,
А в сердце, чтоб молодо, зелено билось.

И шелест листвы — словно говор земли,
И снова залевы поэм расцвели,—
Не время еще мемуарам.

Взлечу, огляжу на лету белый свет,
Который до неба седьмого прогрет
Зеленым, невянущим жаром.

Борис Слуцкий



Ветераны

Почему советские солдаты
Любят вспоминать войну,
Все забрызганные кровью даты,
Всю ее огромную длину!

Почему седые инвалиды
Наших областей, долгот, широт
До сих пор еще ручьями влиты
В океан, зовомый словом «фронт»!

Что ни год,
в девятый полдень мая
Вновь выходит на передний план,
Голову высоко подымая,
Справедливой,
долгой
Ветеран.

Ветеран жестокой и великой,
Гордо, сладостно отягощен
Тяжестью регалий и реликвий,
Голову высоко держит он.

Полуторка

Автомобиль для смоленских дорог —
нерастрясаемый,
непотопляемый,
даже метелью
не заметаемый,
но поспевающий всюду, как рок.

Как тебя клали, полуторка,
как
благословляли,
когда ты спокойно,
просто
оставила в дураках
грязь и распутицу,
осень и войны!

Ты,
тарахтящая на ходу,
переезжала печаль и беду.
Ты,
рассыпающаяся на части,
переезжала тоску и несчастье,

и, несмотря на сиротскую внешность,
ты получала
раз пò сту
на дню
национальную чуткость и нежность,
шедшую
в прежние годы
коню!

Можно ли оды машинам слагать!
Можно,
когда они одушевленные
и с человеком настолько скрепленные:
в топь из болота!
С гати на гать!

Где вы, полуторки прошлой войны,
нашей войны,
Великой, Отечественной!
Даже в великом
нашем Отечестве
где-нибудь вы отыскаться должны.

В кузове трясся,
в кабине сидел,
с гиком
выталкивал из кювета.
Где вы, полуторки!
С вас я глядел
на все четыре стороны света.

Родина!
Кверху — до самого неба.
Родина!
Книзу — до центра земли.
Родина!
С запахом снега и хлеба!
Родиною
полуторки
шли.

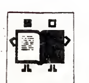
Юрий
ДРУЖНИКОВ

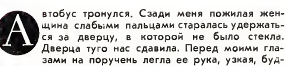


Уроки молчания

РАССКАЗ

Рисунки И. ХОХЛОВА.




Автобус тронулся. Сзади меня пожилая женщина слабыми пальцами старалась удержаться за дверцу, в которой не было стекла. Дверца туго нас сдавила. Перед моими глазами на поручень легла ее рука, узкая, будто из одной сделали две.

Я внезапно ощутил голод, хотя только что позавтракал. Эта рука держала перед моими глазами серебряную ложечку, полную сахарного песка. Во рту стало сладко...

Двери с трудом расползлись на остановке. Посветлело. Я увидел родинку у нее на щеке, ближе к носу. Крупную родинку, которая придавала лицу смешливое выражение. Женщина глядела мимо, занятая своими размышлениями. А я старался быстрей сообразить, что скажу, если она тоже узнает меня. Мне тогда было восемь, а сейчас как-никак тридцать шесть...

Она получала на большой перемене от завхоза буханку хлеба на класс, резала ломтями, а ломти делила на четвертушки, шла по проходам и на каждую парту клала по три кусочка. Затем еще раз проходила и каждому насыпала чайную ложку крупного желтого сахарного песку из полотняного мешка. Голодные, мы следили глазами за ее длинной, узкой рукой. Ложечка быстро опускалась в мешок, вылезала и снова пряталась.

Есть начинали все вместе, когда пустой мешочек ложился на учительский стол. Сначала я объедал черные блестящие края, обсасывая горелую корку, и подбирался поближе к сахару.

Учительнице тоже полагался хлеб и чайная ложка сахару. В первый день по неопытности все слишком быстро съели и уставились на нее. Она вытерла платком пальцы, села за стол и положила перед собой хлеб. Поднесла было к нему руку, но подняла голову и оглядела класс:

— Кто желает добавки?

Руки взметнули все.

— А ты, Патрикеева, не хочешь? — спросила учительница.

Я оглянулся. Патрикеева сидела позади меня. Была она остроскулая удмуртка с широко посаженными глазами. Мать у нее умерла, а про отца она никогда

не говорила. До школы жила в деревне с бабкой и по-русски понимала плохо.

— Патрикеева,— медленно повторила учительница.— Ты почему не хочешь добавки?

— Хочу!

И Патрикеева тоже выставила руку.

— Ну вот. У нас остается ничей кусок. Будем его давать по очереди.

— А тебе? — спросила Патрикеева.

Она говорила учительнице «ты».

— Я сыта, ребятки, не хочу...

И отнесла хлеб первому счастливчику.

Каждый день на большой перемене мы хором кричали, чья теперь очередь...

А возможно, мы любили ее не за это...

Я напряг память и вспомнил ее имя, хотя имена обычно не держатся в моей голове. Она велела, чтобы звали ее Даша Викторовна, говорила, что паспортное имя у нее трудно выговаривается и не нравится ей.

В тот год я настроился идти в другую школу, куда меня записали весной родители, а попал в эту, потому что между двумя школами пролегла эвакуация. Школой на Урале оказалась одноэтажная бревенчатая изба под черной дранкой, с голым утоптанным двором. Травка опасливо вылезала из-под забора, в котором зияли щели. Дорогу в школу сокращали огородами, подкармливаясь по пути морковкой. Классы маленькие: учительский столик, притиснутый боком к перекошенной, потрескавшейся доске, и разнокалиберные парты, на которых восседали по трое. Сумка у среднего лежала на полу. Я упирался в нее ногами. Чтобы среднему выбраться к доске, крайнему следовало встать. Вскакивали охотно: тело затекало.

Даша Викторовна выглядела так, будто война ее не коснулась. Словно жила она до или после. Ходила в обтягивающем светло-синем костюмчике и белой блузке, как ходят нынче стюардессы. Лицо у нее было чуть скуластое и глаза немного раскосые. Черные волосы, идеально зачесанные назад, скручены в тугой узел, такой тугой, что мне казалось, ей всегда больно. Написав на доске мелом, она тщательно вытирала свои маленькие руки отутюженным платочком с кружевами и складывала его по прежним складкам. У нее был удивительный точеный профиль, когда она смотрела в окно, а за стеклом в узорах занималась красноватая заря. И почерк ее в наших тетрадях был такой же красивый, как она сама.

Всем было некогда, а она относилась к нам с лаской, читала сказки Пушкина и завязывала ушанки под подбородками. У всех лица были печальны, она же на уроках улыбалась. А может, просто родинка у носа делала ее веселой.

Она не любила про себя рассказывать. Раз только вспомнила, как были у нее в жизни два самых счастливых дня. Двадцатого июня она окончила педучилище, а двадцать первого расписалась с курсантом летной школы. Двадцать второго он улетел...

В ноябре... нет, в декабре сорок первого морозы стояли лютые, за тридцать. В доброе время по радио повторяли бы, что детям в школу не идти. Утром, подбегая затемно к школе, я слышал визг пилы. Завхоз Гайнулла плечом впихивал чурбак на козлы и работал двуручной пилой, приспособив на другой конец хитрую пружину.

Гайнулла орудовал единственной рукой. Второй, плоский рукав офицерской гимнастерки был заправлен под ремень. Ворот расстегнут, одно ухо шапки поднято, другое висит. Он не мерз и в тридцатиградусный мороз, только облачко пара висело у лица.



Работал Гайнулла остервенело. Пилу с плохим разводом заедало, он дергал ее, упираясь в чурбак коленом. Бревно урчало, но не отдавало пилу.

До самого звонка вокруг кőзел толпились зеваки. Некоторые давали советы, как лучше освободить защемленное полотно.

Когда Гайнулла работал, казалось, он никого не замечает вокруг. Он был молчалив и говорил в самых крайних случаях. Даже матюгался не всегда, а только если заедало пилу. Все-таки дети вокруг — он понимал кое-что в педагогике.

Все считали завхоза фронтовиком. Побаиваясь, хранили уважение. Ведь он такой же, как наши отцы, которые были далеко. Немногим старше. И вдруг Гайнулла рассказал, что на фронте не был. Руку отрезало ему трамвайным колесом еще до войны.

— А гимнастерка? Откуда гимнастерка?— приставали ребята.

— Гимнастерку достал. На толкучке достал. Привез из деревни сала и обменял...

Уважение растаяло, завхоз стал лицом второстепенным, придатком к школе. Само собой, он обязан привозить из леса дрова, топить две печи, выходившие боками в четыре класса, потом снова пилить, подкладывать поленья на уроках и звонить на перемену. Он тихо прокрадывался в класс с охапкой и бесшумно открывал дверцу, стараясь остаться незамеченным. Если полено падало, он поднимал его своей единственной рукой и стыдливо оглядывался на учительницу. Позже Гайнулла бежал по скользкой улице на другой конец города, в пекарню, где по измусоленной доверенности получал четыре буханки хлеба и мешочек желтого сахарного песку.

Незаменимость Гайнуллы ощутилась, когда он исчез.

Учительница из четвертого, закутавшись в платок, вышла на крыльцо с колокольчиком. Бренча, проталкивала нас в дверь и причитала:

— Ох, сердешные вы мои! Померзнете теперь. И куда запропастился зтот Гайнулла?..

— Он заболелся,— сказала Патрикеева.

— Заболел!— поправила учительница и вздохнула.

Теперь учительницы сами неумело приносили охапки дров, бегали по очереди в пекарню за хлебом. Печи дымили, мы кашляли.

Через неделю дрова кончились. Гайнулла лежал с воспалением легких.

Обычно Даша Викторовна приходила раньше нас, затемно, и сидела в теплом классе. Проверяла тетради до самого звонка, изредка перебрасываясь парой слов с Гайнуллой. Она кивала нам, не отрывая глаз от тетрадей.

Теперь она не спешила прийти пораньше.

Мы сидели в пальто, шапки заталкивали под парты. В пальто сидеть по трое за партой было тесно, но теплее. Прижимались друг к дружке и засовывали руки под воротник, поближе к шее.

— Ничего! — утешала нас Даша Викторовна.— Вот скоро поправится наш завхоз, и снова будет тепло...

...Учительница из четвертого класса давно отзвонила на крыльце в колокольчик, а Даши все не было. Наконец дверь отворилась, и наша учительница застыла на пороге в пальто с лисьим воротником, подоткнутым так, чтобы не очень были видны потертости.

Мы поднялись, с трудом выползая из-за парт, и стояли, пока она медленно дошла до стола. Оперлась кулачками и смотрела мимо нас, в стену. Смотрела в одну точку, и мы начали оглядываться: что она там увидела? Парты скрипели, кто-то сопел, кашлял, а она стояла не шевелясь.

За окнами проскрипели сани, донесся удар хлыстом и крик: «Но-з-з!..» И все стихло.

Даша Викторовна силилась совладать с собой. Вынула платочек, уже смятый, закрыла им глаза и села. Хотела что-то сказать, но слов не получилось.

Разрешения сесть не следовало, и мы не знали, как быть. Кто сел сам, кто продолжал стоять. Поскрипывали расшатанные парты. Тишина тянулась до тех пор, пока Патрикеева позади меня, вдруг уловив что-то, всхлипнула и зарыдала, бросившись на парту. Странная была девочка, угрюмая и молчаливая.

Патрикеева успокоилась, и снова стало тихо. Мы сидели без движения, боясь взглянуть друг на друга и на Дашу Викторовну. Просто сидели, уткнувшись в парты. Отзвенел звонок на перемену, потом снова звонок на урок.

Неожиданно в середине второго урока вошел Гайнулла с охапкой дров. Когда Гайнулла входил, мы не вставали, а тут вдруг поднялись. Он был худ, лицо заросло щетиной, на шапке снег, лоб в каплях пота. Он пришел больным. И выглядел дряхлым стариком.

Завхоз остановился у двери, смотрел на Дашу, и губы у него шевелились. Потом он свалил поленья, тяжко вздохнул, сел на корточки, ловко вынул из кармана пачку лучин и зажигалку. Уложил дрова, подсунул под них лучины, зажег. Остывшая печка задымила, дрова не желали гореть.

Уходя, Гайнулла обернулся, опять посмотрел на Дашу, покачал головой и тихо притворил дверь.

К концу урока он вернулся. Гулко кашляя, еще раз набил печь поленьями и снова исчез. Появился он на большой перемене. Ввалился в класс, тяжело дыша, и положил на стол перед Дашей буханку и мешочек сахару. Она кивнула, не посмотрев на него, а он, не говоря ни слова, вытащил из кармана гимнастерки ножик, открыл его одной рукой, зацепив конец лезвия за кромку стола, и, ловко прижимая животом буханку, стал нарезать ломти.

Даша Викторовна очнулась, открыла портфель, вынула серебряную ложечку и положила перед Гайнуллой. Он поманил пальцем Патрикееву. Вынимал ложкой песок, сыпал на хлеб, а Патрикеева разносила по партам.

Это было не так, как делала учительница. Нарушили привычный ритуал: сначала разнести хлеб, а потом пройти вдоль парт, насыпая сахар, чтобы ни крупинки не уронить на пол.

Гайнулла ловко нарезал. Один кусок, несколько великоватый, должен был достаться очередному человеку в виде добавки. Кусок лежал на столе.

— Съешь, Даша Выкторовна,— сказала Патрикеева. Она всегда странно выговаривала ее отчество.— Съешь! — повторила Патрикеева.— Никто не хочет.

— Спасибо.— Учительница тихо произнесла это слово и поднесла ко рту хлеб.

Рука дрожала, сахар сыпался на стол. Съела, вынула платочек, весь мокрый, прислонила к губам и сидела, как каменная.

Когда продребезжал звонок с третьего урока, Даша сказала, прерываясь на каждом слове, будто оно давалось ей с болью:

— Идите... на перемену. Идите... Идите...

Слез своих она уже не стыдилась.

Сперва поднялись те, кто был ближе к двери. Они выскользнули в коридор, оставив дверь открытой. За ними, уже с шумом, как куры с насеста, соскакивали с парт, размахивая крыльями пальто, остальные. Класс опустел. В коридоре мы стояли, сгрудившись, ничего не понимая и не решаясь бегать и драться. Учительница из четвертого, закутанная в шаль, подошла к нам.

— Ну, как Даша Викторовна? Вы уж ее не обижайте. Горе у нее, дети. Мужа на фронте... Похоронка пришла...

Толпой достояли мы до звонка и вернулись в класс. Патрикеева, оказывается, не выходила. Расселись и сидели, не разговаривая, не споря, не дерясь. В классе потеплело, а дыму поубавилось. Тихо вставали, вешали пальто на гвозди, вбитые в доску на стене. Одна Даша Викторовна сидела в пальто. Ее знобило.

Уроки кончились. Она отпустила нас, осталась одна.

Утром я боялся идти в школу и хотел остаться дома. Мать, убегая на работу, пригрозила, что напишет на фронт отцу. Этот прием почему-то действовал.

За школьным забором пила работала резвее, чем обычно. Дорожка у ворот уже была расчищена, и веселый дымок завинчивался над крышей.

Во дворе, по другую сторону козел, напротив завхоза, стояла Даша Викторовна в пальто нараспашку. Я осторожно взглянул на нее. Она раскраснелась, запыхалась. И те, кто шел в школу со страхом, приободрялись, радостней скакали по ступенькам.

Даша Викторовна оставила пилу и побежала за нами. На уроках было тихо, но не так, как вчера. Ее глаза еще оставались чужими. Даша взяла себя в руки, а может, отвлеклась, попилив дров.

И класс ожил.

В тот день все старались читать, писать, тихо сидеть, даже вечные вертуны, вроде Стасика, моего соседа по парте.

Даша Викторовна говорила, что после войны, когда будет много парт и большие классы, Стасика она посадит одного. Стасик жил с матерью и четырьмя сестрами. На отца его похоронка пришла в первые дни войны.

Дни шли, и Даша Викторовна постепенно вернулась к себе самой.

...Зима сдавалась. Копыта протаптывали колеи, в которых к вечеру замерзала вода и можно было, разбежавшись, катиться вдоль всего квартала.

Вечером мы собирались на улице кружком. Грызли семечки, толкались, догоняли сани, заваленные сеном, повиснув на перекладине, ехали, пока возчик не сгонял хлыстом. Двинулись бы в киношку на «Веселых ребят», но монет не было.

— Смотрите-ка!— крикнул Стасик и ткнул пальцем на другую сторону улицы.

Там шла Даша Викторовна. Сейчас перебежит дорогу узнать, что мы здесь делаем, и отправит домой.

Но Даша не обращала на нас внимания. Рядом с ней, чуть впереди, вышагивал Гайнулла, гордо выпятив вперед новую руку в черной перчатке.

Не протезу мы удивились. Гайнулла ходил с ним уже дня три по классам, разнося дрова. Деревянным кулаком загонял поленья в печь, если сопротивлялись. И разрешал нажать рычаг. Пружина щелкала, и рука сгибалась.

Вот оно что! Училка держала его под руку. И не протез нес он перед собой так торжественно, а ее живую руку, лежащую на его искусственной.

Они остановились возле кино, поглядели афишу и прошли мимо.

— Видали?!— Стасик, передразнивая, прошелся вдоль улицы, неся руку, как нес ее Гайнулла.— Мужа убили, а она с ним!

Болтаться на улице расхотелось, да и холодно стало. Поеживаясь, стали расходиться по домам.

На другой день я вошел в класс и остановился у двери.

— Знаешь?!— Стасик спрыгнул ко мне с парты.— Хотя ты с нами был...— Он потерял ко мне интерес.



Класс подменили. Скакали по партам, дрались, мяукали. Я бросил сумку под парту и тоже стал подбрасывать и ловить шапку, как Стасик. Шапка ударялась в потолок, падала, осыпая меня белой пылью, и сама становилась белая.

Никто не заметил, как вошла Даша Викторовна. Нет, конечно, заметили, потому что стало еще шумнее. Она не могла перекричать нас и просто села растерявшись.

Наконец орать и бегать устали. Даша велела открыть тетради. Одни открыли, большинство нет. Стасик вскакивал ногами на парту и снова садился.

Даша стояла бледная, не понимая, что произошло.

— А я думала...— начала было она.

Никого не интересовало, о чем она думала.

Тогда Даша спросила, сделал ли я домашнее задание. С головы моей мел сыпался на парту, а Стасик размазывал его по парте и по моей и своей курткам. Я почти всегда делал уроки и хотел сказать «да», но Стасик больно ударил меня по ноге.

— Не сделал!— заорал я.— И не буду никогда!..

— Но почему?— спросила Даша, что-то почувствовав.

Она покраснела, пошла к доске писать и объяснять.

Никто не слушал. Чего ее слушать, когда она такая? Тряпка пролетела по классу и шлепнулась в доску.

Ввалился Гайнулла с охапкой дров. Свалил поленья к печке и встал, стянув назад складки гимнастерки. Мы закричали еще сильней. Он поднял руку и затряс деревянным кулаком.

Даша Викторовна подошла к нему, поцеловала в щеку, опустила протез и сказала:

— Не волнуйся, я уйду.

Схватила портфель и выскочила. Гайнулла развел

руками. Он стал шире с протезом и величественней. Так, с разведенными руками он и ушел, растапливать печку не стал.

Даша Викторовна не заходила до большой перемены. А на перемене внесла буханку и мешочек сахару. Голод заставил нас притихнуть и разойтись по местам. Буханка захрустела под ножом, срезающим горбушку. Запах свежего хлеба дотек до последних парт. Я сглотнул слюну. Стасик презрительно посмотрел на меня.

— Слюнтяй!— пробурчал он и крикнул Даше Викторовне: — Можете не стараться, все равно есть не будем!..

Даша заплакала, но продолжала резать, и слезы капали на хлеб Стасик вдруг стих.

— Я матери не велел замуж выходить, а то уйду И тут уйду! — Он вытащил сумку, снял с гвоздя пальто и хлопнул дверью.

Даша Викторовна оставила недорезанной буханку и выбежала за ним.

Хлеб тут же разломали как попало и выгребли из мешка на ладони сахар. Кому-то отвалилось много, другим не досталось.

Позади я услышал всхлипывания. На парте лежала Патрикеева, плечи ее вздрагивали. Я постучал тихонечко по ее плечу.

— Ты чего, Патрикеиха? Ты чего?

— Гады вы! Какие вы гады!

Оказывается, она знала слово «вы».

— А она?— спросил я.— Что же — она?!

— Чего она сделала? Чего?

— Сама знаешь!

— Я-то знаю, а вы?

— Ну что? Что ты знаешь?!

— А то, что Гайнулла ей брат! Родный брат! Они с нашей деревни и живут возле мене. А вы гады!..

Она ухватила с парты ручку, размахнулась. Я инстинктивно прикрылся рукой и закричал от боли. Когда я умолк, кругом установилась тишина. Все собрались вокруг и смотрели на нас с Патрикеевой.

На ладони моей темнело сине-красное пятно...

...На другое утро пришла новая учительница. Она назвала свое имя, его не вспомню. Да и как нам с ней жилось, забыл. Была она старушкой, преподавать уже давно перестала, а ее снова вызвали в роно. Война ведь, и все должны, и она тоже. Помню, у нее были усы и, как бы сказать поточней, визгливый бас, которым она рокотала: «Встань, сядь, передай матери...» Стасику, который появился дня через два, от новой учительницы доставалось больше всех. Он ее раздражал...

...Да, что было, то было... Война обижала нас, а мы обижали других. Даша Викторовна не вернулась. Патрикеева говорила, что она работает в учреждении и в школу решила не возвращаться. Ушел завхозом в соседний госпиталь Гайнулла...

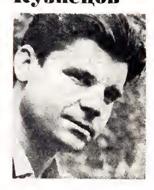
Женщина глядела мимо меня, чуть усмехаясь. А может, это мне просто показалось: родинка у нее смешливая.

Двери отворились, я соскочил на землю, и сразу стало легче дышать. Даша Викторовна не оглянулась, и автобус увез ее.

Я поднес к глазам ладонь. Синяя чернильная точка от пера, которое воткнула в меня Патрикеева, осталась возле большого пальца, как татуировка.

Валентин Кузнецов





Юлии

Ты в погонах лейтенанта
На портрете
В книге той,
Где проходит красным кантом
Линия передовой.
Где в своей шинельке драной
Ты в окопчике лежишь.
Где
Атаки,
Крики,
Раны,
А потом внезапно — тишь!
Скулы стиснула до боли,
Поднялась над смертью ты.
И — вперед!
Где в чистом поле
Пали красные цветы.

У костра

На морозе, на заре
Растирайся снегом, грейся.
Так остер огонь в костре,
Хоть бери его и брейся.

Мы с товарищем сидим.
Мы молчим. Устали малость.
Сколько этих стылых зим
Возле нас пообметалось!

Где-то там красна весна
В солнце красное рядится.
А у нас метель красна
И черны от стужи лица.

У меня горит спина,
Запеклись в работе губы.
Красным светится сосна
В ледяной рубахе грубой.

Да и он, напарник мой,
Опершись на топорище,
В рыжей шубе меховой
Серый весь, как пепелище.

В этих вздыбленных ночах,
В этих жестких хвойных перьях,
С топорами на плечах
Мы страшны тайге да зверю.

С нами даль. И с нами близь.
Мерзлый хлеб и горечь клюквы.
Олишите нашу жизнь,
Начиная с красной буквы.

✪

Той страиы, где неведома грусть,
Где мальчишки озера линуют,
Где я знал соловья наизусть,
Той страны уже не существует.

Той земли, где гречиха цвела.
Не гречиха — лчелиная нега!
Словио к лету, зима намела
Голубиное облако снега.

Почему же я брежу стрвной!
Может, я тебе, юность, не ровня
Или нету небес иадо мной,
А всего лишь накатаны бревна!

И не слышится, кто там вдали—
Петухи ли горланят с насеста,
Или в лодки, в свои корабли,
Безвесельное прыгает детство!

Там и я, молодой-молодой,
Я, не тертый еще, не смоленый.
Словно весь по глаза налитой
Довоенной весною зеленой.

Нет. Страна моя, верю, жива.
Оттого так и радостио-горько,
Что видна мне ее синева
И с низин и с любого пригорка.

✪

Смеется дождь, шумит, куражится,
Стучится пальцами в окно.
А петухам и курам кажется,
Что это ладает зерно.

Ну до чего ж смешны пернатые:
Крылами пыльными взмахнут,
Бегут за каплями мохнатыми
И капли на лету клюют.

А там, под листьями-узорами,
Где помидорный зреет ряд,
Лежат две тыквы белокорые,
Похожие на поросят.

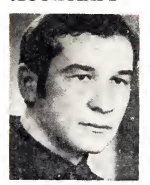
По огороду дождик лазает,
Трясет смородины кусты
И тихо шепчет:—Черноглазая,
Пусти меня к себе, пусти...

Подсолнухи, к земле склоненные,
Напиться влагою спешат.
А рядом огурцы зеленые,
Ну лросто стайка лягушат!

Но затихают капли дробные,
Крыльцо намокшее ларит.
И только елочка укролная
Вся серебром еще горит.

Стучится вечер. Пахнет росами.
Всплывает месяца ладья.
День умирает под колесами
Бегущего в лоля дождя.

Владимир Леонович



Джвари

(Монастырь Мцыри)

Я вижу,
как течет песчаник,
От крепости своей устав,
Где тот мятежник и печальник
Суровый выполнял устав.

Я поднимаюсь по ступеням
И в клетке каменной стою,
Объятый холодом,
терпеньем
И переживший жизнь мою.

Закопчены глухие ниши.
Здесь
перед образом
не зря
Склонялся гибкий мальчик
ниже
Всей братии монастыря.

Он не хотел,
чтоб город грешный
Его молитвой был храним...
За наш визит —
лустой, послешный.
Неловко все же перед ним.

Сидит на выступе высоком,
Оцепенев при свете дня,
Моя сова — и водит оком
И слышит теплого меня...

Подобно голубю ковчега

Сквозь многошумный, многозвонный,
бесформенный эфир дневной
вернется звук преображенный
пространством,
дальний и родной.

Подобно голубю ковчега,
летит, слабея и спеша,
звук, отыскавший человека:
еще, еще одна душа...

И я тянусь навстречу ей,
а радость все быстрей проходит,
и с каждым звуком
жизнь уходит,
возобновляясь все слабей.

Время

Ветреной ночью платан шелестит.
Легкая бездна навстречу летит.
Набережная разгонит — и гнет
этот ночной, этот душный полет.

Вот в мостовых простонало столбах,
дух захватило, скрипит на зубах...
Мальчик растет и смеется во сне.
Встань поутру — позабудь обо мне.

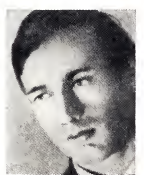
Ника

По волнам бухты скачет скутер,
и встречный ветер — лучший скульптор —
единым замыслом объял
на свете лучший матерьял:

одним порывистым усильем
означит ярко, без резца,
все — от коленей до лица —
и все обдаст соленой пылью,

обдаст и насухо опьет,
и, выведя Никеи крылья,
вдруг отлетает, душу выпья,
не оглянувшись, на простор,
у пирса вырубив мотор!

Ян Топоровский



Зеленый осколок

В прибрежном песке
отыскал
зеленый осколок, камень —
отшлифованный волнами
осколок бутылки.
И, прижмуривши глаз,
другим посмотрел на Нинку
с длинными руками
и черными коленками
(был сезон грецких орехов!),
Нинку,
которой вдруг стали
подчиняться уличные мальчишки.
Я подозревал ее в предательстве.
Догадывался,
что есть
какая-то тайна.
И каждый раз Нинка
клялась, божилась, ела землю, уверяла,
что ничего не знает о тайне
и готова к самому страшному испытанию,
какое для нее придумаю.
И я был уже готов поверить,
когда случайно
посмотрел на Нинку
сквозь зеленый осколок:
она стояла
тонкая и красивая,
как стебель.

✪

Снимаю комнату на окраине,
рядом со степью.
Немного выше земли
окна моей времянки.
И в летнюю ночь,
привстав на цыпочки,
трава стучит
своим пальчиком тонким...
И, не дождавшись,
пока я проснусь,
встану с кровати,
открою ей дверь,
убегает
в ночную и серебристую степь.

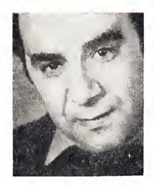
Разговор

Огонь в плите
мой собеседник давний.
Домашние уснут.
И в тишине
ничто мне не мешает
сесть на кухне,
и, молчаливо день обдумав прежний,
начать
с огнем
наш разговор мужской.

✪

Опавшие листья
домой приношу и складываю в углу
комнаты,
чтобы осенний ветер
не занес их за тридевять земель,
в чужую сторону
или вовсе
не затерял
в бескрайнем поле,
вдалеке от родного древа.

Эдуард Бабаев



Накануне

Я помкю берег камекнстый,
На берегу сосковый бор
И тех кенстовых горнистов,
Трубивших каш последкий сбор.
И шел отряд ка построенье,
Печатал тапочками шаг,
Когда держали мы равкекье
В одком строю ка красный флаг.
В ковбойках и испанках смятых
Мы вышли ка пустыккый луг.
Рожденкые в кокце двадцатых,
Мы повзрослели как-то вдруг.
Торжественкое обещакье.
Трава гракеная остра...
Еще вчера, как ка прощакье,
Мы пели пески у костра.
А облака ползли проворко
Через большие города.
И этот ракккй голос горка
Я ке забуду никогда.
Другими были какакуке
И лес, н море, и волка.
Но детство кокчилось в июне,
И сразу качалась войка.

Турксиб

Когда в столбцы газеткой прозы
Вошли трндцатые года,
Турксиб! — сипели паровозы,
Турксиб! — свистели провода.
Мороз и зкой — все было внове,
Как этот первый перегок.
Слились в одком коротком слове
Пространства будущих времек.
И паровик, большой, как глыба,
Горяч и ка подъем тяжел,
Неведомым путем Турксиба
В большое стракствие ушел.
Везут мазут, медикаметы,
Пушкику, уголь и сырье.
А в городах кемые лекты
Прокручивает Госкнко.
Нехватка рук, кехватка лесу,
На рельсах икей, в кебе пыль.
Верблюд, который кюхал рельсу,
Был зкамекит, как Гарри Пиль.
Вот и поди теперь подумай,
Какая здесь таилась даль,
Что до сих пор в степн угрюмой
Блестит какатаккая сталь.

Иван Савельев



✪

Поговорн, мой сад, поговорн,
Открой свою предутреннюю душу.
Я, как н ты, встающий до зари,
Хочу слова веселые послушать.
Безоблачка кад крокой высота,
Плывет лука в серебряной оправе.
Слетает лепет с каждого лнста
И падает, как яблокн, ка травы.
Все спит еще н, кажется, не спнт.
Лежит туман на рыжей шапке стога,
И за деревней нашей не пылнт
Построеккая заново дорога.
Еще сорок не слышнтся раздор,
Но дым нз труб, сикея, выплывает,
И матушка с ведром идет во двор,
И это зкачит — утро наступает...

✪

Я все могу на свете проглядеть:
Рождекье дня и прнблнженье ночн,—
Уж не глаза, а сердце вндеть хочет,
Когда начнут деревья зелекеть.
Как геиалька эта простота,
Ее не укнжает повторекье:
Рождекие зеленого листа
Как чувства кензвестного рождекье.
Его еще в помнне даже кет.
Умеющий кевиднмо подкрасться,
Ок все займет —
Сплошкой зелекый цвет,
И даже небо потеряет краски.
Ок шествует ка север и восток...
И машут, отогревшись от мороза,
Зелеными платками у дорог
Красавнцы российские — березы.
И трепетно душа моя замрет,
Уже сама шумящая лнствою.
И Бежик луг по-прежнему зовет
Вас, мальчикн счастлнвые, в ночное...



Валентин ТАРАС

Одна лошадиная сила

РАССКАЗ

1

В то утро белка сама на меня выскочила. Сбежала по стволу сосны на землю и запрыгала по тропке прямо на меня. Остановилась шагах в десяти, хвост поставила трубой да как защелкает сердито! И тут же на другую сосну бросилась, с нее на соседнюю, пошла и пошла прыгать с ветки иа ветку, уводить меия подальше от того места, где мы встретились: последние дни марта, у белки дети, она меня от дупла уводила.

В другое время — летом или осенью — я бы ее не упустил, поймал бы. Я иногда промышляю белками. В иаш городок, в Берестянск, по субботам и воскресеньям наезжают из областного центра всякие тетки в брюках со своими мужьями — на «Волгах», на «Жигулях», на «Запорожцах». У нас промтоварный магазин богатый, потребсоюзовский, в нем дефицитные шмотки легче достать, чем в области. Так вот эти самые «Жигули» и «Волги», что за шмотками приезжают, часто своих пацанов с собой прихватывают. Покажешь такому пацану белку, он и давай канючить: «Папа, купи белочку!..» Ему — белочка, а мне червонец: иа спортивный костюм, на кеды, на альбомы репродукций. Я с восьмого класса эти альбомы собираю. Они дорогие, а моя мать каждую копейку считает, никогда не дает мне карманных денег. Вот и приходится белок ловить.

Но в то утро я и не думал о белках. Не только потому, что весной белок не трогают и новорожденных бельчат не берут. Еще и настроеине было чудно́е какое-то.

Перед тем, как уйти в лес, я в который раз повздорил с матерью. Она увидела у меня иовый альбом репродукций, это был Рерих, которого я ждал полгода и уплатил за него девять рублей. Ну, и начался скандал. Мать всякий раз начинает скандалить, когда купишь альбом или книгу. За шмотки она меня никогда не ругает. Пожалуйста, покупай, иоси на здоровье, ей же легче, но чтоб за картинки какие-то девять рублей отдавать? Этого она вынести не может.

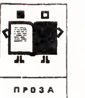
— Блажной! Паразит!

А почему паразит? Я ведь у нее копейки не взял...

А потому паразит, что на мотоцикл ие откладываю.

— Купили бы мотоцикл с коляской, я бы своих рублей сто пятьдесят дала на такое дело. Огурцы ранние в область свезти, помидоры. Клубнику летом через день можио возить, она прошлый год была по сорок копеек стакаи!.. Яблоки свинье скармливаем, куда нам троим девать их с двадцати деревьев? Почему мы хуже других должны жить? Люди не то что мотоциклы, машины покупают, на Черное море ездят — за краденые, что ли? Никто, кого я знаю, ие крадет, просто цену копейке знает, не стесняется яблоки да клубнику, своими руками выращенные, своим потом политые, продать за хорошую цену. В этом позору нету! А он на картинки гроши переводит, на базар ему ехать стыдио, барчук выискался на мою голову, а мать в свой выходной в автобусе давись, лезь — в переполненный — с мешком да ведрами! Мало того, что после работы спину гну в огороде, на карачках ползаю по той клубнике, так сама на своем горбу и таскай на продажу! А им хоть бы что, им хоть пропади все пропадом!.. За что мне такое наказание? Что старый, что малый — оба чокнутые какие-то!..

Рисунки М. ЛИСОГОРСКОГО



Она всегда так: если меня честит, то заодно и отца, моего деда Петрушу.

Дед — в Берестянске человек знаменитый. Он печник и сложил в городке чуть ли не все печи: и русские и голландки. Сделанные дедом, они никогда не дымят, надежно удерживают жар, даже через три дня после топки они еще теплые. Но у нас у самих в доме от дедовых печей лросто беда. И не лотому, что для себя он их лелил лишь бы как. Печи у нас лрекрасные, но дед то и дело лерекладывает их на новый манер. Ему ничего не стоит даже посреди зимы взять да и развалить печь — на кухне или в комнатах, все равно. Развалит и снова сложит. Русская печь на кухне несколько раз перекладывалась, и голландка комнатная тоже.

Когда дед затевает очередную лерекладку печи, слорить с ним бесполезно. Он никого и ничего не слышит, рушит печь, а лотом сидит весь день на полу, мастерком соскребает с кирпичей окаменевшую известку и лоет:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...

И целых два дня в доме разгром, разор, как говорит моя мать, пока не лодымется новая печь-красавица. Дед всякий раз что-нибудь новое придумывает: то выложит по бокам русской лечи лесенки, то сделает ее наподобие старинного камина с чугунной решеткой, то окантует очаг голубенькой изразцовой плиткой, а голландку то в шахматную клетку выложит, то ромбом пустит кремовый изразец, бока у нее то закругленные, то ребристые, то с нишами, куда дед ставит коробки с самосадом.

В городке деда считают немного чокнутым из-за этих печных лричуд, но больше из-за инвалидной пенсии, которая у него лропала.

На фронте дед потерял левую ступню, ему сделали протез. Пенсия, как инвалиду Великой Отечественной войны, была ему назначена еще в сорок четвертом году, но получал он ее только года три или четыре. Дело в том, что ежегодно надо было являться на медицинскую комиссию, которая всякий раз удостоверяла, что новая ступня у деда все еще не выросла и, стало быть, лраво на ленсию за ним сохраняется. Однажды дед рассердился на такой порядок, перестал являться на комиссию, и выллата пенсии прекратилась. Правда, теперь он ее получает, но зто ленсия ло старости, а та, инвалидная,— тю-тю!..

Моя мать как-то сказала ему:

— Знаешь, сколько грошей ты лотерял за двадцать пять годов? Тысяч шестьдесят старыми, новыми шесть. Шесть тысяч!.. Кому ты их сэкономил? Самому не нужны были, откладывал бы на книжку для внука. А то на полку казне, как лод хвост козе!..

— Подсчитала! — рассвирепел дед.— Скажи на милость, шесть тысяч! Откудова тебе знать, сколько моя нога стоит? Может, она миллион стоит? А кто такой закон придумал — доказывать, что не выросла у меня новая ступня? Не знаешь? А что есть душа человеческая, знаешь?

— Давно уж того закона нет,— возразила мать,— да хоть бы и был! Для всех ведь одинаковый, а ты такой гордый, что тебе особливый подавай, для тебя одного!

— Заткнись! — закричал тогда дед.— Прикуси язык, не указуй отцу! Не за пенсию воевал!

Но обычно дед с ней не слорит. И я не спорю. Потому что мать все равно не лереспоришь.

В то утро я тоже не стал с ней спорить. Хлопнул дверью и ушел. Как всегда в таких случаях — в лес.

Только это неправда, что я не помогаю ей управляться с огородом. Помогаю. И клубнику пропалываю, и огурцы поливаю, и за яблонями слежу вместе с дедом. У нас ухоженные яблони: мы и почву под ними каждый год удобряем, и стволы белим вовремя, и гусеницу руками собираем, чтобы не опылять сад ядохимикатами; в черемуховые холода окуриваем яблоневый цвет дымом костров. И неправда, что весь урожай скармливаем свинье, его и пять свиней не сожрут за одну осень. Почти весь урожай мать продает через заготовителей заводику фруктовых соков и консервов — есть у нас такой в Берестянске,— но вечно кричит, что ей платят гроши, что это слезы, а не деньги, что за такие яблоки зимой можно брать по три рубля за килограмм на базаре в областном центре. По три рубля! Но она не может за сто двадцать километров везти в автобусе больше чем один мешок, его ведь еще до базара нужно доволочь, а нанимать грузовик, чтобы свезти десять мешков, ей не с руки: нужно околачиваться в областном центре два-три дня, пока продашь все яблоки, а она на службе, сыночка же, чтоб ему пусто было, не допросишься — ни сыночка, ни этого старого дурня!..

Ну, насчет сыночка здесь она лрава. Когда я был в шестом, в седьмом классе, я ездил с ней на базар лродавать яблоки, а телерь не могу. Хоть убей, не могу. Мне стыдно стоять за прилавком, стыдно брать два-три рубля за пяток яблок. У нас крупные сорта, в килограмм больше пяти-шести штук не входит, и не могу я брать за полдесятка яблок такие деньги. И дед не может.

За белку — да. За белку я могу взять целый червонец. Потому что мне всякий раз жалко ее продавать, ей вообще цены нет — она ведь живая, смешная, шустрая!.. И если человек заплатит за нее десять рублей, так, может, он хоть беречь ее будет!..

...Когда я только вышел из дому, настроение было просто дрянное. Даже Рерих был мне не в радость — хоть вернись, схвати этот альбом и швырни его куда-нибудь в угол!.. Было так же паршиво, как случалось, когда мать вдруг лолрекнет куском. Садишься за стол, берешь хлебный ломоть, ложку, но только зачерлнешь борща, только поднесешь хлеб ко рту, как тебе говорят, что есть-то ты горазд, а матери помочь некому. И хочется тогда смахнуть со стола тарелку с борщом, швырнуть под ноги хлеб, ты ненавидишь и этот хлеб, и этот борщ, и себя самого тоже — за то, что ты их все-таки ешь, хотя становится эта еда поперек горла, каменеет в груди тяжелым комом.

Такой вот ком и был у меня в груди, когда я шел по улицам. Сперва не видел ни солнца, ни синего неба, не слышал, как звенит капель. И даже выйдя из городка, шагая ло дороге, которая вела к лесу, я все еще ничего не видел и никак не мог свободно вздохнуть, набрать в грудь побольше воздуха. Но чем ближе я подходил к лесу, тем больше все во мне менялось. Мне было и горько, и легко, и жаль себя, и как-то тревожно-весело, я чувствовал себя совсем-совсем одиноким, но это было какое-то счастливое одиночество, все вокруг как бы сливалось со мной: и небо, и солнце, и сосны в радостных слезах капели. И вот тут, в эти минуты, и выскочила на меня белка, сердито защелкала, пошла лрыгать с сосны на сосну. Я побежал за ней и почувствовал прыжки белки — почувствовал, как она перелетает с сосны на сосну, с ели на ель, как пружинит под ней еловая лапа, как белка раскачивается и, плавно подброшенная ею, перелетает дальше, а там другая лала мягко дает шлепка — прыгай!..

Я — точно! — чувствовал все это, не только видел, и все шел и шел за белкой, бежал и бежал, а в лесных овражках журчали ручьи, и я перемахивал через них легко, птицей, а потом и не заметил, как потерял белку и вышел из лесу на шоссе.

За шоссе раскинулось широкое поле, и меня ослепил солнечный снег. Он весь искрился, сверкал, а в небо подымались голубые столбы, они словно упирались в небо, держали его на себе и в то же время растворялись в нем, таяли и сами становились небом. Это было, как на картинах американского художника Рокуэлла Кента: и эти прозрачные голубые столбы, и снег в сверкающих блестках, и темно-синее небо, и маленькое яркое солнце. И высокие ледяные горы стояли на горизонте. Не верилось, что это просто тучи.

Я стоял, смотрел, и теперь мне дышалось легко-легко, но было странное чувство, будто чего-то не хватает, и каким-то немного чужим было все, что я видел. И вдруг зазвенела трель жаворонка, длинная, заливистая, и столбы света ответили ей легким звоном, и все небо зазвенело, весь воздух, все кругом. Это было похоже на далекий звон колокольчиков, на пение полозьев по ледяному насту, и все вокруг как-то неуловимо изменилось, краски вдруг смягчились, и потеплело небо — теперь это не было похоже на Арктику художника Кента. А жаворонок все пел, и его трель представлялась мне серебряной строчкой на синем небе, и я даже не удивился, когда в небе на самом деле появилась серебряная строчка, волнистая серебряная дорожка, совсем не удивился и не сразу понял, что это высоко-высоко летит самолет.

Жаворонок был едва заметен в синей выси, а низко над полем кружились вороны — я и не заметил, откуда они взялись, и свистнул им в два пальца. Не пойму, почему многие не любят ворон?.. А я вот их люблю и даже сочинил про них стихи, еще в девятом классе, в прошлом году:

Какая хорошая птица ворона!
За что же ворону вороной честят?
Холодные дождики хмуро частят.
И нету бедняжке вороне схорона!..

Но Вика Ручейникова, помню, засмеялась: «Нашел про кого писать — про ворон!»

И вот они кружились над полем, и высоко-высоко плыл самолет, похожий на тонкую позолоченную иглу, и, как нитка за иглой, за ним тянулась инверсионная полоса, серебряная на синем, и жаворонок висел над бурой проталиной, звенел и звенел, а из лесу, шагов за триста от меня, вышли на шоссе девчонки в лыжных костюмах, и я сразу узнал среди них Вику Ручейникову, и тут небо вплотную приблизилось ко мне — я ничего не видел, кроме неба и Вики! Меня охватил какой-то радостный страх, я рванулся и бросился вперед, прыгнул в небо, как в омут! Я захлебывался воздухом, мчался в синих струях, и меня бил озноб, как в речке, в ее холодной поначалу воде, и все ближе и ближе была Вика и остальные девчонки, я видел у них в руках еловые ветки с розовыми шишками, слышал голоса и смех. Но ни одна из них не смотрела в небо, и я крикнул:

— Э-гей!

Они все обернулись, но почему-то в другую от меня сторону, стали поглядывать на макушки сосен и пожимать плечами, и тогда я снова крикнул:

— Э-гей! Вика!

И тут же очутился перед ними, плюхнулся на высокую кучу гравия и сказал:

— Привет!

Шоссе ремонтируют, и на обочине насыпаны кучи гравия, я и сам не заметил, как очутился на одной из них, а девчонки стояли рядом, таращились на меня, не понимали, откуда я взялся, одна Вика Ручейникова не таращилась, а просто смотрела на меня пристально. Потом она засмеялась и сказала:

— Ненормальный!

И Танька Рыжова повторила:

— Ненормальный!

Она смотрела на меня с каким-то страхом, Танька Рыжова, и другие девчонки смотрели со страхом, а Вика спросила:

— Ты что, с неба свалился?

— Я не свалился, я летел! — заорал я, вскочив, широко раскинул руки, и плавно-плавно потек под ногами гравий — еще секунда, и я бы взмыл вверх, что-то подымало меня изнутри, но Вика Ручейникова сказала:

— Глупости!

Она улыбалась, но глаза у нее были серьезные, грозные какие-то, иссиня-темные — такой цвет бывает у дождевой тучи.

А меня все еще что-то подымало изнутри, подымало и подымало, и я сошел к Вике с этого холма гравия, как с облака, и сказал, не сказал даже, а крикнул:

— Хочешь, и тебя подыму?!

Брови у Вики стали высокими, крутыми дугами, а глаза как у птицы:

— Подыми!

Но тут у меня одеревенели руки, ноги отяжелели. Я не решался ее обнять, никак я не мог, но как же поднимешь, если не обнять?!

— Ну? — требовательно сказала Вика, и я обнял ее негнущимися руками, а она легко прижалась ко мне, правой рукой с еловой веткой в кулачке обхватила мои плечи, и холодные, тугие, розовые молодые шишки касались моей щеки.— Ну? — повторила Вика.— Что же ты?

А я окаменел. Стоял, деревянно обнимал Вику, и все холодело у меня внутри от близости ее лица. И тут кто-то из девчонок хихикнул. Вика легонько высвободилась из моих рук, рассмеялась:

— Не получается?

— Не получается,— сказал я растерянно.

— Почему? — спросила она.— Ты такой маломощный?

Она смотрела на меня насмешливо, а я все еще был как истукан, как деревяшка, и только одно чувствовал: какая у меня на лице жалкая, растерянная улыбка.

Девчонки захихикали теперь все разом, стали прыскать в ладошки, захохотали, а я весь вспотел, уши у меня запылали — я готов был сквозь землю провалиться!..

— Пойдешь с нами? — спросила Вика и пошла по шоссе, и все девчонки за ней, оглядываясь на меня со смехом, и я видел, что они уже не удивляются, уверились, что не было ничего особенного, что это им померещилось, будто я и впрямь свалился с неба на ту кучу гравия.

Но теперь мне и самому не верилось, что я недавно мчался в синих воздушных струях. Было такое чувство, как будто я только что проснулся и вспоминаю сон.

Я посмотрел на небо: оно было высоким-высоким, недосягаемым, и жаворонка не было в нем, и песни его не было слышно. Одни вороны грустно кружились над белым полем.

Я медленно брел по дороге, далеко отстав от девчонок — их лыжные костюмы стали оранжевыми пятнышками на темной зелени леса. Шесть оранжевых пятнышек и одно сиреневое — Вика...

2

Все это воскресенье я ходил как лунатик.

Мать за что-то выговаривала мне, но я плохо соображал за что, плохо соображал, почему она скандалит с дедом. Кажется, он сдал без ее ведома пустые бутылки и на вырученные деньги угостил своих приятелей пивом.

Я слонялся из угла в угол, натыкался то на мать, то на деда, и за это дед назвал меня лунатиком.

— Что ходишь как лунатик? Захворал? Или влюбился?

Мать тут же переключилась на меня, стала кричать, что еще бы мне не ходить как лунатику, совсем одурел от безделья, палец о палец не ударит, неизвестно, о чем думает,— может, действительно втрескался!

— Но я тебе покажу шуры-муры! Зубрить надо, а не шашни затевать!

Тут матери пришлось снова переключиться на деда. Взгляд у него стал задумчивый-задумчивый, и этим своим задумчивым взглядом он посмотрел на меня, потом на мать, потом обвел глазами всю комнату, потом уставился на голубенькую кафельную голландку. А когда дед с такой задумчивостью смотрит на печь — жди очередного переустройства. И мать тотчас перехватила этот дедов взгляд:

— Только посмей! Все брошу, уйду куда глаза глядят! Этой радости мне еще не хватало! Холод собачий на улице, а у него опять бзик в голове!

Дед вздохнул и сказал:

— И-и-эх, нету в людях полета!..

А мне вдруг стало жутковато от этих его слов: неужели я сегодня действительно мчался по воздуху? Весь лунатизм будто рукой сняло, так отчетливо вспомнилось, как небо вплотную приблизилось ко мне, небо и Вика, как я рванулся в синеву, прыгнул в нее, словно в омут!

Неужели все это мне только показалось, померещилось? Не видел я в лесу, на шоссе никаких девчонок, не пытался поднять в небо Вику. Просто думаю о ней все время, вот и померещилось...

Но назавтра возле школы ко мне подошел Колька Транзистор и сказал:

— На Ручейникову пикируешь? Смотри, я тебе крылышки пообломаю! Кружи от нее подальше, понял?

С плеча у него свисала на длинном ремешке хрипящая «Селга» в черном кожаном футляре. Он постоянно таскает с собой «Селгу» — в школу, в клуб, в лес. Отсюда и кличка Транзистор. И вот этот Колька выкатил на меня свои глазищи и пригрозил обломать мне крылышки за Вику... Но я его послал куда подальше, плевать я хотел на его угрозы, хотя он и здоровый малый. Я тоже не птенчик: если врежу, Транзистор на корточки сядет. Но в эту минуту мне совсем не хотелось с ним драться. Я думал, что раз он так говорит — крылышки, пикируешь,— значит, я был вчера в лесу. Ничего мне не померещилось.

— Краснеет,— сказал Транзистор,— он краснеет! Вы смущаетесь, сэр? Или наливаетесь гневом?

Я и сам чувствовал, что краснею, что у меня начинают пылать уши — как вчера, когда захихикали девчонки. Но Транзистору я сказал:

— Ты у меня сейчас сам покраснеешь. Нос у тебя станет красный! Давай катись!..

— О сэр, не пугайте меня, я весь дрожу! — Транзистор понарошку втянул свою патлатую башку в плечи.— Пощадите, сэр!..

...Меня удивило, что Транзистор имеет виды на Вику. Я никогда этого не замечал и теперь быстро вспоминал: как же она сама к нему относится? Получалось, никак. Но ведь и ко мне никак... Она вообще никого из наших ребят не выделяет. Никого. А на нее все засматриваются. Но я не замечал, чтобы Транзистор засматривался. Наоборот, он о ней гадости говорил, будто она с каким-то лейтенантом из авиагородка путается. Он так и говорил: путается. Но я никогда не видел ее ни с каким лейтенантом.

Авиагородок расположен в тридцати километрах от Берестянска, летчики из этого авиагородка иногда приезжают в наш Дом культуры на вечера, привозят свою самодеятельность. Ну, это всегда событие, когда они приезжают в большом голубом автобусе, с аккордеонами, баянами, с гитарами. Девчонки, когда подъезжает автобус, вертятся поблизости, прогуливаются возле него стайками, пока летчики вносят в Дом культуры свои инструменты. Все девчонки в такие вечера какие-то взбаламученные и смеются слишком громко — и наши десятиклассницы, и работницы с галантерейной фабрики, девчата с консервного,— слишком громко смеются и стреляют глазками.

Мы, школяры, в такие вечера для них не существуем, до лампочки мы им в такие вечера, и танцуют они только с летчиками.

Вика тоже танцует с ними, но я что-то не замечал, чтобы она кого-нибудь выделяла, она танцует почти со всеми, кто ее приглашает, а приглашают ее наперебой, потому что она самая заметная, самая красивая.

Мне нравится в ней все: и походка, и волосы, и голос, и глаза, и ее фамилия — Ручейникова. Всякий раз, когда я произношу эту фамилию, даже про себя, мне кажется, что я догоняю что-то летящее. И еще я ее фамилию в и ж у. Это вовсе не ручей, нет! Это узкая, плавно изогнутая сабля, взмах голубоватого клинка: Ру-чей-ни-ко-ва!..

Мы еще стояли с Транзистором друг против друга, переругиваясь, когда она появилась.

Вика стремительно прошла между нами.

— Здравствуйте, мальчики!

И тут прозвенел звонок.

Она сидела впереди меня, как сидит вот уже пять лет. Она поступила в нашу школу, когда мы были в пятом классе: Ручейниковы не местные, раньше они жили в областном центре, где отец Вики занимал какой-то важный пост, а потом его за что-то сняли и перевели в Берестянск директором галантерейной фабрики. Вернее, фабрички. Никто не знает, за что его сняли, и Вика никогда никому не говорит за что.

Первым уроком была физика; физичка наша перелистывала журнал, выискивала, кого бы вызвать, а я смотрел на Викины волосы, на ее золотистый «хвост», на мочки ее ушей с маленькими агатовыми сережками,— смотрел и снова не верил, что все это было, что я вчера подошел к ней, там, в лесу, и она положила мне на плечо руку с холодной еловой веткой в кулачке: «Ну? Что же ты?»

Неужели я рехнулся? То есть я вчера видел девчонок в лесу, но все остальное только мое воображение. Иначе почему они так обыкновенно встречаются со мной взглядом? Я боялся, что они будут хихикать, как вчера, а они просто ничего не помнят! Значит, и помнить нечего. Потому что если они хоть один миг видели меня летящим по воздуху, они бы не могли этого забыть. Но, с другой стороны, я где-то читал, что если человек увидит что-то сверхъестественное, что-то такое, что не уклады-

вается у него в сознании, он сам себя убеждает, что это ему показалось, иначе у него мозги не выдержат. Поэтому девчонки еще вчера уверили себя, будто им что-то померещилось.

Но у меня у самого не выдерживали мозги. С чего бы это Транзистор стал вякать, что пообломает мне крылышки за Вику? Я никогда не ходил с ней вдвоем, никто не знает, как я к ней отношусь. Значит, Транзистору что-то такое сказали. А что ему могли сказать? Только то, что я вчера на глазах у девчонок обнимал Вику. Но ведь я ни за что не решился бы обнять ее ни с того ни с сего! Значит, я действительно пытался поднять ее в небо...

Мои мысли разбил Викин «хвост». Она почему-то тряхнула головой, «хвост» взметнулся и ударил меня по лицу. Он был мягкий-мягкий, волнистый, и от него пахло сеном.

И тут Вику вызвала физичка.

— Ручейникова, ты не хочешь исправить свою давнюю четверку? Когда-то ты не очень твердо усвоила принцип Гюйгенса.

— Хочу,— сказала Вика, встала, прошла к доске, повернулась лицом к классу.

Она почти всегда отвечала точно по учебнику, слово в слово, но не тарабанила. У нее получалось спокойно как-то, легко, будто это ее собственные мысли, будто она не выучила текст, а всегда его знала.

— Нам известно распространение волн в однородной среде, известно, как оно происходит. Но что произойдет с ними при встрече с препятствием, например, с твердой стенкой? — Она повернулась к доске, взяла мел.— Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка среды, до которой дошло возмущение, сама становится источником вторичных волн...

Но я уже ничего не слышал.

Форточка была открыта, синий воздух лился в класс, и пел жаворонок. И такой же радостный страх, как вчера, охватил меня. Я почувствовал, что мне ничего не стоит нырнуть в этот синий воздух прямо здесь, в классе, закувыркаться в нем, и я вцепился в парту, а неведомая сила подымала меня вместе с ней, и я подумал, что так, наверно, чувствуешь себя в гондоле воздушного шара, когда его еще удерживают тросы. Вика у доски вдруг умолкла, и я видел, что она пристально и загадочно смотрит на меня — как вчера!..

— Витаешь в облаках, Дробышев? Очнись!..

Рядом со мной стояла физичка. Она тронула меня за плечо, пошла к своему столу, села, склонилась над журналом.

— Садись, Ручейникова. Отлично... Дробышев!

Я медленно пошел к доске. Медленно-медленно, потому что боялся оторваться от пола, но все равно я не шел, а плыл — я был невесомым.

— Что с тобой, Дробышев? — удивилась физичка.— Ты что, не слышал вопроса? Что ты знаешь о принципе Гюйгенса применительно к световым волнам?

— Я слышал вопрос,— сказал я.— Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка среды, до которой дошло возмущение, сама становится источником вторичных волн. Но оно дошло только до меня. Только я был точкой среды, когда пел жаворонок. А вдвоем не получилось, потому что жаворонок уже не пел. Надо, чтобы пел жаворонок, тогда получится!

Глаза у физички полезли на лоб, но какое мне было дело до физички? Я объяснял Вике Ручейниковой, почему я вчера не смог поднять ее в небо. И мне было наплевать на ржачие класса, на обрадованный вопль Транзистора «Во псих!», на испуганное возмущение комсорга Таньки Рыжовой, потому что я видел, что Вика не смеется, не потешается, не думает, что я или рехнулся, или хулиганю,— она меня слушала!

Класс ржал, и жаворонка уже не было слышно, и пол перестал казаться мне облаком. И по этому твердому полу я твердой походкой направился к двери, сказал физичке «извините» и вышел. И сто раз обошел вокруг школы. А потом в шуме перемены вернулся в класс и увидел на доске очерченный мелом круг. В центре круга был нарисован ангел с крылышками, который протягивал руки к нарисованной в углу доски девчонке. Под ангелом было написано: «Точка среды». Я постоял, посмотрел, оглянулся — Вики в классе не было.

Почему я догадался, что догоню ее на дороге к лесу? Она шла, помахивая портфелем, серебристо-серая шубейка была нараспашку, волосы трепал ветер — она давно уже ходила без шапочки, с первых весенних дней. Когда я поравнялся с нею и зашагал рядом, она ни капельки не удивилась, как будто мы давно уже шли рядом, ни капельки не удивилась и сказала спокойно, так, словно продолжала только что прерванный разговор:

— Ты абсолютно ненормальный.— А когда я спросил, почему она так думает, Вика пожала плечом.— Ненормальный, и все! И вчера ты был ненормальный, малохольный какой-то. Как с неба упал.

— Почему «как»? — спросил я.

— Ты так мчался, что мне показалось, будто ты летишь по воздуху. И ка-а-а-ак прыгнул на кучу гравия! Рекорд. Она ведь метра два вышиной. А вид у тебя был обалделый, будто ты и вправду упал с неба.

Она засмеялась, а я спросил:

— И все? Я не пробовал тебя... поднять? Ну, в небо!..

— Пробовал,— снова засмеялась Вика,— и у тебя был такой вид, как будто ты можешь это сделать!.. Ты был... как птица!.. Такой смешной журавль, длинноногий, с хохолком!..

— И я тебя обнял?

Вика искоса посмотрела на меня непонятным каким-то взглядом — он был и веселый и встревоженный.

— Обнял!.. И я тебя обняла. Но это ничего не значит!

Мы оба остановились, и теперь Вика смотрела прямо мне в лицо, и глаза у нее были синие-синие, почти черные, как глубокая вода.

— Это ничего не значит, Митя.

Я уже знал, что это ничего не значит, что-то во мне упало, оборвалось, и в то же время меня охватило какое-то лихорадочное возбуждение. Я схватил Вику за руку и побежал. Она не сопротивлялась, легко побежала рядом, и так мы пробежали по дороге через весь ближний лес и выбежали на шоссе, за которым лежало вчерашнее поле, и там пел не один жаворонок, там звенел целый хор жаворонков, и небо было распахнуто во всю ширь, а снег в поле почти весь растаял за одну минувшую ночь, и я бежал с Викой к этому полю и кричал:

— Летим!

— Летим! — кричала Вика, и мы уже бежали по широкой проталине, разбегались, как разбегаются журавли перед взлетом, и я всем существом рвался ввысь, а Вика стала отставать, и получалось, что я силой тащу ее за собой.

— Погоди! — крикнула она, задохнулась, вырвала у меня свою руку, и мы остались стоять на земле, на жухлой, бурой траве проталины. Остались стоять на земле.



— Ты не хочешь! — сказал я.— Не хочешь или боишься. Поэтому не получается!..

— Нет, ты и в самом деле ненормальный,— сказала Вика и снова посмотрела на меня прежним и веселым и каким-то встревоженным взглядом. — Люди не птицы, и чудес не бывает.

— Жаль, что не птицы,— сказал я и, хотя мне было совсем тошно, принялся фантазировать веселым голосом: — Представляешь, если бы люди летали, как птицы? В домах вместо дверей были бы широкие посадочные балконы, и на них стояли бы всякие щетки и щеточки для чистки перьев. Под каждым балконом была бы клумба для малышей, чтобы они могли смело падать, когда учатся летать. А когда человек состарится, про него говорили бы: «Кто? Этот? Он давно уже не летает, только ходит, бедняга!..» А представляешь, как кто летал бы? Танька Рыжова летала бы, как утка: фр-р-р! фр-р-р! И вечно задавалась бы своими крылышками, какие они у нее чудненькие, какие славненькие! А наш директор летал бы, как цапля. А Транзистор — как индюк!

— Индюки не летают,— улыбнулась Вика и спросила: — Ну, а я? Как бы я летала?

— Ты? Как ласточка, как стриж, как славка, как пеночка, как зорянка!

Вика защитилась ладошкой.

— Хватит! С меня достаточно ласточки.

Но я не мог остановиться, меня била странная лихорадка.

— В небе висели бы громадные аэростаты, такие станции отдыха — с кинотеатрами, спортзалами, с бассейнами. Представляешь, бассейн в небе!

— Какой ты смешной, Митя,— сказала Вика и вздохнула.— Удивительно смешной, совсем ребенок!..

Тут я сразу остановился и огрызнулся:

— Ну, конечно, я ведь инфантильный! Ты мне это еще в девятом классе говорила.

— Не сердись,— сказала Вика.— Не сердись, Митя! Но знаешь...— Она как-то виновато посмотрела на меня, глянула в небо и улыбнулась: — Если бы люди были, как птицы, они бы никогда не придумали самолет!

Я спросил как можно беззаботнее, тем же веселым голосом, хотя я чувствовал, как он срывается у меня:

— Ты... дружишь с летчиком? То-то. Транзистор травит, что ты с каким-то летчиком... ходишь.

Я чуть было не сказал: крутишь.

Мы уже шли обратной дорогой. На опушке Вика обломила веточку ивы с розовыми сережками, дышала на них и трогала губами. Она ничего не ответила на мои слова о летчике, сказала:

— Ну, как ты не понимаешь, что твои фантазии совсем детские? Люди построили космические корабли, побывали на Луне, а ты мечтаешь летать, как воробышек или как твои любимые вороны!.. Только ты не сердись, Митя! Я тебя очень люблю, ты единственный стоящий человек в этой дыре.

Лучше бы она не говорила, что очень меня любит, мне от этих слов стало совсем, совсем тошно, потому что я ведь видел, как она произнесла эти слова — так, между прочим. Зато слова «в этой дыре» прозвучали чуть ли не с ненавистью.

— Эта дыра существует с тринадцатого века, — сказал я.— Здесь были и татары, и поляки, и шведы, и французы, и фашисты. А Берестянск стоит.

— Ну и что? — Она удивилась не понарошку, понастоящему.— Мало ли что когда-то было! Мы же не в тринадцатом веке живем. Но иногда можно подумать, что в тринадцатом. Печи, куры, козы, лужи!.. Жизнь не здесь, Митя!..

Да, конечно, жизнь не здесь!.. Берестянск ведь совсем обыкновенный городок. Недра вокруг Берестянска пустые, ни тебе нефти, ни руды, ни калийной соли, и, значит, ему никогда не стать большим городом... Но зато он весь утопает в садах и яблоками в нем пахнет круглый год — от заводика фруктовых соков и консервов. А от мебельной артели круглый год пахнет сосновой стружкой, сырыми опилками и фанерой, а запах сырых опилок и свежей фанеры похож на запах раннего снега, талой воды, и даже в самые знойные дни кажется, что где-то рядом течет речка... Я люблю эти запахи, люблю деревянные улочки, где знаю каждый дом, каждый камень, каждое деревцо, и люблю развалины старинного княжеского замка с его широкой крепостной стеной, люблю загорать на этой стене и смотреть на белый свет сквозь осколки зеленого, синего, красного витражного стекла, которым были застеклены когда-то окна замка... Но, конечно, жизнь не здесь! Здесь дымят печные трубы, здесь осенью и весной лужи, здесь куры и козы. Разве это жизнь — куры и козы?

— Ты права,— сказал я,— это не жизнь!.. Жизнь только в сверхгородах!.. В мегаполисах. Правда, в них скоро нечем будет дышать, но это неважно!.. Цивилизация нашла выход: в Токио регулировщики стоят на перекрестках в кислородных масках, а в Париже чистый воздух продают за деньги. Заходи в кабину автомата, опусти монету — и дыши. Три минуты. Вот это жизнь! Графиню Ручейникову устраивают такие города? Маркизе Ручейниковой необходим Париж? Или княгиня Ручейникова решила жить в Рио-де-Жанейро?

Я и сам понимал, что меня понесло куда-то не туда. При чем здесь Париж, Токио и Рио-де-Жанейро?.. Почему я кричу? Но я кричал на Вику, кричал и сам удивлялся, какой у меня полный отчаяния голос. Полный отчаяния и слез. Но я ничего не мог с собой поделать!..

Вика вдруг шутливо подставила мне подножку, полуобняла за плечи.

— Во-первых, ты успокойся,— сказала она.— Что ты на меня кричишь? Во-вторых, Париж меня нисколечко не устраивает, меня устраивает наш областной центр. Чего-чего, а воздуха в нем хватает. И даже жаворонки поют. И там мы жили совсем-совсем счастливо!..

Тут она осеклась, а я не удержался и спросил:

— А почему вы оказались в Берестянске?

— Потому что папу сюда перевели,— сказала она, усмехнувшись чему-то.— Ты ведь знаешь.

Я вспомнил, как дед Петруша отозвался однажды об отце Вики: «Ручейников, директор,— крупного масштабу человек, сразу видно. На людей не глядит, смотрит тебе в лицо — и мимо... Но умный, дело знает большое! Ему эту галантерейку волочь — все одно, что доброму коню соломину».

Я вспомнил эти дедовы слова и сказал:

— Твоего отца уважают...

— Уважают! — как-то недобро усмехнулась Вика.— Уважают, конечно!

И больше она ничего не сказала о своем отце, не сказала, почему его перевели в Берестянск, и глаза у нее стали злыми. Но я видел, чувствовал: Вика судит за что-то не отца — а того, кто перевел его в Берестянск.

Я тоже молчал, шел рядом с ней и думал о своем отце, который живет в том же областном центре, где жила Вика, и который для меня никто. Я даже фамилию его не ношу, у меня фамилия матери, а от отца только отчество, потому что должно же быть у человека какое-то отчество. Смешно: в

метрике было написано: Дробышев Дмитрий Васильевич, а в графе «отец» был прочерк...

Моя мать не была с ним расписана, они вместе учились на каких-то финансовых курсах, в пятьдесят пятом году, а потом мать вернулась в Берестянск, и в январе пятьдесят шестого родился я. Пятнадцать лет считалось, что мой отец умер, когда я был еще в пеленках, а потом оказалось, что вовсе он не умер, а работает в институте преподавателем и защитил кандидатскую диссертацию. А моя мать так и осталась простым счетоводом, потому что у нее только семь классов образования и те курсы.

Она рассказала мне, что отец не умер, когда тот стал кандидатом наук, и плакала, чтобы я написал ему письмо и потребовал денег, но я не стал ничего писать, и тогда она сама послала письмо в партком института. В Берестянск приехал из института человек — разговаривал с матерью и все спрашивал у нее, почему она столько лет молчала, а теперь пишет письма, что мой отец мерзавец и безыдейный? Она кричала, что он и есть мерзавец, а если он такой хороший, то почему сам столько лет ни разу не вспомнил о своем сыне? Знал, что у него есть сын, она ему написала, когда я родился, но он даже не ответил — это как называется?

Тот человек сказал, что примут меры, и уехал, а потом приехал мой отец, и я встретился с ним в гостинице, в маленьком деревянном домике, в номере с рыжими обоями и скрипучими старыми стульями.

Мать не захотела с ним видеться, и на эту встречу в гостиницу со мной пошел дед. Он надел брюки-галифе, сапоги, китель, нацепил все свои ордена и медали и взял в руку палку, потому что в сапогах ему труднее ходить на протезе, чем в ортопедическом ботинке.

Я редко видел деда при всех орденах и медалях, он надевал их только в День Победы, а так они лежали в шкафу, в самодельной деревянной шкатулке — два ордена Красной Звезды и девять медалей, и, когда он их нацепил, сразу стал какой-то суровый и неприступный, с нахмуренными бровями. Это я теперь знаю, что, кроме Дня Победы, дед надевает все свои регалии в тех случаях, когда собирается разговаривать с человеком всерьез, чтобы, как говорит дед, «знал мазурик, с кем имеет дело». Тогда я этого еще не знал, но суровый вид деда, звон и блеск медалей на его груди заставили меня тоже подтянуться и успокоиться. Я, как дед, хмурил брови и смотрел прямо перед собой, когда мы шли в гостиницу.

У крыльца гостиницы стоял голубенький «Запорожец» старого выпуска, но он был как новенький, и весь сверкал, а рядом с ним стоял длинный худой человек в очках и курил сигарету. Я сразу догадался, что это и есть мой отец, и все оборвалось у меня внутри, я растерялся и остановился, и дед тоже остановился, глухо кашлянул, а мой отец тоже сразу догадался, кто я, бросил сигарету в урну и подошел к нам. Он улыбался, но как-то одним ртом, и спросил: «Ты, наверное, Дима?» — и я кивнул, хотя я не Дима, а Митя, Дмитрий. Он протянул мне руку и сказал: «Ну, что ж, здравствуй, Дима». Деду он не решился подать руку, только вежливо поклонился, а дед ему даже не кивнул, дернул щекой и снова глухо кашлянул, и тогда мой отец указал на крыльцо и сказал: «Заходите, пожалуйста!»

Эта гостиница — самый обыкновенный деревянный домик, как, например, наш, только запахи в нем какие-то чужие и неуютные, на лиловых наволочках пузатых подушек проставлены черные штампы, к спинкам деревянных кроватей прибиты номера, и на спинках стульев номера, и на шкафу номер. До этого я никогда не бывал в гостиницах, даже в нашей берестянской, и мне было странно видеть латунные номера на мебели, как на вокзальных скамейках, и я почему-то не решался сесть, и дед не садился — мы стояли на пороге, смотрели, как мой отец зачем-то роется в чемодане, который лежал на кровати,— не чемодан, а такой саквояж на молнии. Наконец он вынул из чемодана пачку сигарет «ВТ», обернулся к нам и сказал, чтобы мы проходили и садились к столу, он уже второй раз приглашал нас садиться, но мы все стояли на пороге, и мне было тягостно, тоскливо и стыдно.

Потом мы все-таки прошли к столу и сели на скрипучие стулья, а мой отец сел напротив, стал распечатывать сигареты, подковырнул ногтем золотистый ободок, потянул за него и снял с пачки прозрачную целлофановую крышечку, открыл вторую крышечку, картонную, вытащил из-под серебряной фольги длинную сигарету с желтым мундштуком,— мне запомнились эти подробности, потому что я все время смотрел на его руки, не мог смотреть ему в лицо, никак я не мог посмотреть ему в лицо!..

Он спрашивал, какие у меня успехи в школе, чем я увлекаюсь, а я только пожимал плечами и все время смотрел на его руки, на стол, на коробку с тортом «Березка», на бутылку коньяка «Плиска», на бутылки с напитком «Саяны», но никак не мог посмотреть ему в лицо, и все время мне было стыдно, все время было такое чувство, как будто я должен попросить о чем-то. Должен, но не могу!.. И вдруг дед, который и слова не проронил с начала встречи, грубо сказал: «Ты не егози словесами, гость дорогой, и бутылке голову не сворачивай, я твои коньяки пить не собираюсь. Говори прямо: законно будешь признавать хлопца или как?»

Мой отец медленно положил сигарету на край латунной пепельницы, снял очки, протер их платочком, который вынул из нагрудного кармашка пиджака, надел и заговорил осторожным голосом: «Видите ли, уважаемый, я вообще мог не приезжать и рассматривать всю эту историю, как шантаж. Никакого письма, о котором говорит ваша дочь, я никогда не получал и не знал, что у меня есть сын. Но поскольку у меня в свое время действительно были с вашей дочерью определенные отношения, я готов допустить, что Дима мой сын. Он, как мне кажется, похож на меня. Несколько странно, разумеется, что ваша дочь вспомнила о наших отношениях спустя пятнадцать лет, но что было, то было. Еще раз подтверждается та истина, что в жизни за все нужно платить».

Он сказал еще, что готов признать меня юридически, если того пожелаю я и Нина Петровна, моя мать, а пока он согласен высылать мне пятьдесят рублей в месяц, и что, когда я окончу десять классов, он поможет мне поступить в высшую школу. Он так и сказал: в высшую школу. А сейчас он хочет подарить мне сто рублей.

Он положил эти сто рублей — четыре двадцатипятирублевых бумажки — на стол и ладонью придвинул их ко мне. Но я не мог их взять, смотрел на них и не мог даже притронуться к ним, и сгорал от стыда. И даже когда дед грубо сказал: «Возьми!»,— я не мог их взять, и тогда мой отец сложил их вдвое и сунул в карман моего пиджачка. Я невольно глянул на него: он улыбался все так же, одним ртом, и глаза были прежние — две размытые точки за стеклами очков.

Дед решительно встал, и я встал, и мой отец встал, спросил: может, я все же отведаю торта и не хочу ли я побыть с ним немного? Может, мы

покатаемся на машине по окрестностям? Машина, которая стоит у крыльца,— его. Но я только пожал плечами и упорно смотрел в пол, и тогда мой отец сказал, что он понимает мое состояние, что ему самому тоже нелегко и что, если я не хочу побыть с ним, он, пожалуй, не станет здесь задерживаться, хотя снял номер на сутки.

Он не подал мне на прощание руку, только потрепал по плечу, поклонился деду и сказал, что дед должен его понять. Дед отрубил: «Желаю здравствовать!»,— и мы вышли из гостиницы. «Запорожец» сверкал на солнце, он был как новенький, даром что старого выпуска, а за ветровым стеклом висела на шнурке маленькая кукла-голыш...

Мы с дедом долго шли молча, а потом я спросил: «Деда, а что такое шантаж?» Дед сказал: «А шут его знает!»,— помолчал и добавил: «Ты, того, не думай, будто мать твоя не писала ему. Писала. И я к нему в город ездил, когда ты народился... Так что нехай платит! Дело не в деньгах, но нехай платит, по справедливости!..»

Теперь я знаю, что такое шантаж, что означает это слово. Шантаж — это угроза разоблачения, разглашения позорящих сведений с целью вымогательства и наживы, так сказано в словаре... И всякий раз, когда от отца приходят деньги, мне становится стыдно и тягостно...

Обычно он присылает пятьдесят рублей в месяц, как обещал, но в феврале прислал только двадцать пять, и мать раскричалась, чтобы я немедленно отослал ему эти деньги, мы не нищие, а сама забрала их и спрятала и стала грозить, что снова напишет в партком института, а я должен поехать к этому негодяю, явиться к нему в дом, к его жене, пусть он поежится, а я должен потребовать свое. Когда я сказал, что никуда не поеду, что не нужны мне его деньги, потому что никакой он мне не отец, она стала кричать, что я байстрюк, ворона, дуралей малохольный, как дед: шесть тысяч пенсии своей кровной неведомо кому сэкономил!..

Я редко думаю о своем отце, а если и думаю, у меня как-то не укладывается в сознании, что тот человек в очках, которого я видел один раз в жизни,— мой отец. У меня нет к нему никаких чувств, ни злых, ни добрых, но теперь в этом разговоре с Викой мне стало горько от мысли, что отец у меня все-таки есть, но что это чужой, ненужный мне человек, которого я никогда не смогу назвать папой, как Вика называет своего отца, и злая обида на того человека в очках обожгла меня, впервые мне стало по-настоящему обидно и горько, что все отцовство моего родителя свелось только к деньгам. Я завидовал тому, что Вика может говорить своему отцу «папа», и подумал, что, когда он дает ей деньги, ей, наверное, не стыдно их брать, и позавидовал этому тоже.

А Вика вдруг заговорила быстро:

— Ты любишь свой Берестянск, я тебя понимаю, это твоя родина, а я никак не могу забыть свой город! Мы там совсем-совсем иначе жили!.. Даже машину собирались купить! Уже подходила наша очередь, но тут случилась беда. И знаешь, как тяжело встречать наших знакомых, когда они приезжают сюда на своих машинах!..

Я почему-то вспомнил тот новенький «Запорожец» старого выпуска, на котором приезжал мой отец, и спросил:

— А при чем тут Берестянск? Разве здесь вы не можете купить машину?

— Ничего ты не понимаешь, Митя,— сказала Вика.— Машину!.. Ты знаешь, какая теперь у моего папы зарплата? Это только звучит громко — директор фабрики!..

— Ничего,— сказал я тихо,— когда-нибудь вы купите машину... «Жигули»...

— Не «Жигули», а «Волгу»! — воскликнула Вика, посмотрела на меня и вдруг засмеялась весело, но это только казалось, что весело, а на самом деле ей совсем не хотелось смеяться.— Ой, я совсем забыла, что ты не любишь машины! Ха-ха-ха!.. Знаешь, как тебя называют? Одна лошадиная сила!

Я знал, что меня называют Одна лошадиная сила — с тех пор, как я однажды спросил, почему машину можно купить, а лошадь нельзя? Не шестьдесят пять лошадиных сил, а одну живую лошадь? Считается, что если у человека своя лошадь, то это частная собственность, а машина — личная. Но, будь у меня лошадь, я бы на ней не разводил частную лавочку, как наш сосед Микитенко, у которого есть машина. Он не ездит на машине, а все время что-то возит на ней, доставляет, заготавливает. Пацанов на речку подкинуть у него времени нет, даже своих собственных. Или больного в область отвезти — попробуй попроси!.. С оказией еще согласится за трояк, а нет — вызверится: «Такси нанимай!»

Дед Петруша называет его узником капитала.

«Ежели человек душу свою на цепь посадил, приковал себя к неодушевленному предмету, он есть первейший узник капитала. Я таких жлобов сколько помню, они завсегда узниками были. Конем владел — трясся от жадности, машиной владеет — трясется. Ты ему самолет дай или, скажем, вертолет, он все одно трястись будет, сквалыжничать, клубнику в северную тундру возить, а самой той тундры и не увидит за червонцами. Нету в таких людях полета!..»

Да будь у меня лошадь, всем бы радость была, не одному мне! Я бы на ней пацанов катал, учил их ездить верхом, а зимой возил бы на санях с бубенцами под дугой. Может, это и смешно. Но я знаю, что у меня лошадь не была бы частной собственностью!

Лошадей в Берестянске почти не осталось, только старьевщик из «Вторсырья» ездит на длинной, с высоченными бортами телеге, которую возит понурый, серый, пыльный мерин, и еще при гастрономе служит лошадь, высокая гнедая кобыла — на ней в большом фургоне привозят бидоны с молоком. У кобылы зимой появился жеребенок — рыжий, а гривка у него черная, и челка на лбу черная, и белые «чулки» на тонких ножках. Он то трусит рядом с матерью, то бежит вслед за фургоном, а то остановится посреди улицы и глазеет на дома, на прохожих, машины сигналят, но жеребенок совсем их не боится. Да и чего ему их бояться, если даже у фургона, который возит его мать, такой же, как у грузовиков, брезентовый кузов и автомобильные колеса!..

— Я знаю, что меня называют Одна лошадиная сила,— сказал я Вике.— Но мне это нравится. И вообще, кто-нибудь должен ездить на лошадях. Кто-нибудь должен ходить пешком. Иначе кого вы будете давить?..

— Не сердись, Митя,— примирительно сказала Вика и снова стала прежней Викой с синими, темными, как глубокая вода, глазами, вовсе не злыми.— В этом и в самом деле нет ничего обидного!.. Я знаю, ты любишь зверушек, лошадей. Я видела, как ты кормишь сахаром того жеребенка, ну, который бегает за фургоном. Мне он тоже нравится, такой забавный, но я боюсь к нему подойти: а вдруг укусит или лягнет! Тебе смешно, да? Но я совсем, совсем горожанка, я даже коз боюсь!.. И ты на меня, пожалуйста, не сердись. Слышишь, Одна лошадиная сила?!.



Я молчал, шел с ней рядом и молчал, и что-то мне все время мешало, какое-то саднящее ощущение — так саднит невзначай содранная об острый сучок кожа на лбу: крови нет, ничего почти и не заметно, а щиплет, жжет...

Вика словно почувствовала это, умолкла и только у самого городка сказала, вдруг остановившись:

— Дальше я пойду одна.

— Но ведь все знают, что я побежал за тобой,— пожал я плечами.— Что скрывать?

— Я и не собиралась скрывать,— тихо сказала Вика.— Я знала, что ты меня догонишь... Я должна была тебе сказать... ну, что с тобой я не могу, понимаешь?.. И ты не провожай меня дальше.

Она рванулась и побежала, а я остался стоять на дороге, и надо мной плыли облака, и пели жаворонки, и светило солнце, и сверхзвуковые самолеты с гулким громом проносились в сторону авиагородка. А я стоял на дороге, и на меня воздействовали все силы природы: сила тяготения и солнечная радиация, сила ветра и космические лучи, и принцип Гюйгенса осуществлял на мне свое действие. Я был точкой среды, до которой дошло возмущение, и сам был источником волн света и звука, но исходившие от меня волны ничего не могли изменить, ни на кого не могли воздействовать — они вдребезги разбились о какую-то невидимую преграду.

«Бах-бах-бах! — пролетали самолеты.— Бах-бах-бахба-бах!..»

Я слушал этот реактивный гром и думал, что в одном из этих самолетов сидит, наверное, тот летчик, которого, оказывается, хорошо знает Вика Ручейникова и совсем не знаю я. Но я не ревновал, не завидовал, не злился. Просто мне было жаль чего-то, а чего — я не знал... Скрылась за домами окраины Вика, и только ее фамилия еще сверкала передо мной, как будто кто-то взмахивал серебряной саблей — Ручейникова!.. Ручейникова!.. Ручейникова!.. А от грома самолетов в птичьих гнездах лопались яйца, их раскалывала ударная волна. Я ведь часто лажу по деревьям и не раз видел в покинутых гнездах расколотые сверхзвуковым ударом яйца синиц — не знаю, почему я вспомнил об этом в ту минуту.

Дома меня встретил знакомый разгром: дед все-таки снова развалил печь — кафельную голландку в комнате. Изразец, кирпич и глина валялись возле крыльца, на крыльце и в сенях, тут же стояла бочка с раствором.

Дед сидел на маленькой скамеечке возле того места, где недавно была печь, и пел:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза-а-а-а!..

Матери дома не было, никто не кричал, не причитал, не проклинал деда. В комнате было непривычно пусто и печально, и у меня вдруг сжалось сердце, мне стало жаль печь, которую разрушил дед, так жаль, как будто она была живая, а теперь умерла и от нее остались только мертвые камни...

— Деда,— спросил я,— зачем ты развалил печку? Зачем ты столько раз ее разваливаешь?

Дед посмотрел на меня внимательно-внимательно, достал из кармана ватных стеганых штанов кисет, стал сворачивать цигарку.

— Зачем?.. Чтобы новую сложить. Человеку, Митя, кажный раз новый огонь нужон, чтоб по-новому играл, по-новому грел. А ежели всю жизнь при одной печке сидеть, что получится? — Он склеил цигарку, прикурил, пыхнул дымом.— Великая скука получится!.. Ты, Митя, прежнего не жалей. Помни об нем, но не жалей, не вздыхай. Прежнее, оно ведь не пропадет, его на фундамент пускают...

Но мне все равно было жаль печи, которую он разрушил. Еще утром я трогал ее теплый, ласковый кафель, и вот ее нет, она как умерла, ушла навеки. И мне было жаль этой голубой печи, как будто с ней ушло из дому мое детство.

3

Как давно все это было! Словно в другой жизни, тысячу лет назад, хотя прошло всего лишь сорок дней.

Стоит май, в Берестянске зацвели сады, жасмин и сирень, лопаются бутоны шиповника. Сирень в этом году такая буйная, что каждый ее куст кажется лиловым облаком. А я вижу и ее, и сады, и небо, и дома то красными, словно в зареве пожара, то густо-синими, как ночью, то окутанными зеленой мглой: я лежу на крепостной стене и разглядываю мир через цветные осколки витражного стекла. По стене ходят козы, щиплют травку, которая прет из расщелин древних каменных плит; внизу пацаны играют в войну. Трещат мотоциклы, фыркают машины; ветерок доносит от заводика фруктовых соков и консервов аромат повидла, где-то на территории мебельной артели подолгу ноет электропила, слышен прохладный запах свежей фанеры; к гастроному катит крытый брезентом фургон, который везет высокая гнедая кобыла, и за ним бежит трусцой рыжий жеребенок—он подрос, покрупнел и уже не останавливается посреди улицы, чтобы поглазеть на дома, на прохожих, не тянется любопытной мордой к машинам.

А я лежу себе целыми днями на крепостной стене, загораю, щурюсь в цветные стеклышки, и все кругом то иссиня-голубое, как на картине Рериха «Сергий-Строитель», то густо-зеленое, как «Сенокос» Кустодиева, то красное, как конь на картине Петрова-Водкина, и небо надо мной далекое-далекое, бездонное; в нем звенят жаворонки.

Мне не хочется ни о чем думать, я просто жду, что со мной будет. Потому что девятого мая я избил Кольку Будило по кличке Транзистор.

В тот день мы всем классом отправились на маевку в березовую рощу, слушать соловьев. Роща называется почему-то Синичкин Гай, хотя в ней совсем мало синиц — там соловьиное царство.

Это была не просто маевка, не только ради соловьев мы ушли на рассвете в рощу. Это ведь был День Победы, мы полмесяца готовились к нему. Было задумано: сначала слушаем соловьев, а потом поем песни военных лет, читаем стихи погибших на войне поэтов — Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова. Каждый должен был либо спеть песню, либо прочитать стихотворение, каждый, потому что класс у нас совсем небольшой, всего лишь шестнадцать человек.

И вот когда наступила самая тихая минута, когда ничего не было слышно, кроме щелканья соловьев и шелеста листвы, Колька врубил транзистор. Все зашикали, но хотя он и заткнулся на первых порах со своим транзистором, соловьи уже не щелкали. Они долго не щелкали, а когда стали подавать трели, все уже было не то и не так.

Но потом он и песню сорвал.

Пока одна девочка читала стихи Майорова «о людях, что ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы», Колька сидел тихо. Но сразу после этого стихотворения я должен был запеть «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат» — и тут началось.

Едва я произнес первые слова песни, Колька крикнул:

— Правильно, не тревожьте!

И снова на всю катушку врубил транзистор, стал гонять указатель настройки по всему диапазону, и на всю рощу понеслись взвизги, писк морзянки, вопли на всех языках. Он шарил по эфиру, пока не нашел какой-то не то шейк, не то твист. Нашел, поставил приемник на траву, а сам вскочил и заорал:

Давно мы дома не были!
Давно мы водки не пили!
Садитесь рядом, парочки,
Полней налейте чарочки!

Когда готовилась маевка, он обещал, что споет «Горит свечи огарочек». Вот он и пел: кривлялся, коверкал слова, а его приемник лязгал медью, отбивал ритм, и все уже не злились, пересмеивались, даже Танька Рыжова, наш комсорг, заулыбалась от уха до уха. Транзистор задергался всем телом, схватил за руку Вику Ручейникову, потащил к себе. И Вика вскочила, гибко изогнулась, завертела бедрами, как будто хула-хуп вращала, и почти все остальные девчонки вскочили, и ребята — завертели бедрами. И тогда я врезал по приемнику — как по футбольному мячу! И вся эта музыка, всхлипнув, отлетела метров на пятнадцать.

Все остановились, Транзистор отпустил Вику, рожа у него перекосилась, и он бросился к своей «Селге», схватил, стал трясти и прикладывать к уху, а она шипела, как разъяренная кошка, а он все тряс и тряс ее, и прикладывал к уху, и шел прямо на меня, и сам шипел бешено, как его «Селга», с белыми от ярости буркалами:

— Ты мне ее откупишь!.. Откупишь, гад!

Девчонки бросились кто ко мне, кто к Транзистору, вцепились: «Коля, успокойся...», «Митя, не надо!..» Только Вика стояла в сторонке, насмешливо грызла травинку. Транзистор рвался ко мне и орал:

— Лошадиная сила с придурью! Псих!

Ах, псих!.. Я вдруг налился какой-то чугунной силой, шевельнул плечами — девчонки беспомощно отпустили меня. А я спокойно подошел к Транзистору, взял у него из рук шипящую «Селгу» и отдал ее кому-то из ребят. И врезал ему по челюсти. Он сразу присел на корточки, но я поднял его за шиворот и больше не давал ему ни сесть, ни упасть — я молотил его, как мешок с трухой. А потом отпихнул от себя, и он медленно осел.

Я сказал:

— Испортил песню, дурак!

Сказал и почему-то подумал о постороннем, о том, что это не мои слова, что я где-то или слышал, или вычитал эту фразу: «Испортил песню, дурак!»

Было тихо-тихо, только листва шелестела и какая-то птаха несмело посвистывала, то ли синичка, то ли гаичка. Все молчали и ошарашенно смотрели на меня, а Транзистор сидел на траве, мычал и пятерней размазывал по физиономии кровь. Все, кроме Вики, были ошарашенные, испуганные, а она была просто бледная и все еще машинально покусывала травинку. А потом бросила ее, презрительно сощурилась и сказала:

— Если кто и дурак, так это ты!

Она сказала это таким голосом, будто я избил Транзистора за то, что он с ней танцевал. А я ничего не смог ей ответить, ничего не мог объяснить, как не смог и до сих пор не могу ничего объяснить нашему участковому милиционеру Никифорову. Он пришел к нам в тот же день, в обед, поздравил мать и деда с праздником и попросил, чтобы я на минуточку вышел с ним в сад, на скамеечку. Мать сразу насторожилась, побледнела, стала спрашивать, что случилось, что я натворил, но Никифоров сказал, что сперва ему нужно побеседовать со мной, а потом он и ей доложит, какое его к нам привело дело. И, возможно, выпьет рюмочку с Петром Ивановичем, а пока пусть Петр Иванович не тащит его за стол, поскольку со мной ему нужно разговаривать при полной ясности рассудка. Тем более, что он уже чуточку выпил.

Мы вышли в сад, сели на скамейку под яблоней, и Никифоров сказал без предисловий:

— Плохо дело, Дробышев Дмитрий!.. Ты думал: побью Будило Николая, и ничего мне за это не будет. Ты, можно сказать, ошибся. Потому как не получил правового воспитания. Это, конечно, упущение, можно сказать, общественное. Но факт есть факт. Побои Будило Николай официально снял, то есть предъявил их в милиции в присутствии доктора. И они, можно сказать, тяжелые. И может быть тебе что? Срок тебе может быть! Поскольку ты допустил искалечество.

Я сперва просто удивился:

— Какое еще искалечество? Что я ему, ребра поломал?

— Ребра ты ему не поломал,— сказал Никифоров,— но фары у него под глазами, можно сказать, по яблоку, и губы расшлепаны, как оладьи. Вот так. И родители сказали, что после праздника будут подавать в суд. И тебе еще как могут припаять статью... За что ты его побил?

— За соловьев,— сказал я,— за соловьев и за Павла Когана!.. За Кульчицкого, за Майорова!..

— Погоди, погоди! — остановил меня Никифоров.— Это кто такие? Я таких не знаю! Ты, похоже, голову мне морочишь, Дробышев Дмитрий!.. Нету в Берестянске никакого Кульчицкого и Майорова нету. Коган, столяр, есть, только хлопец у него не Павел, а Борис. И соловьев ты приплел несерьезно. Это, можно сказать, насмехательство!

Никифоров рассердился, даже покраснел и вспотел, снял фуражку и вытер лоб рукавом.

— Так за что ты его побил? — Я пожал плечами, и Никифоров окончательно рассердился.— Ты, можно сказать, не в своем уме, Дробышев Дмитрий! Не понимаешь своего серьезного положения! Плечиком пожимаешь, как будто ты, к слову сказать, невинная барышня!.. Ты думай, как выходить из твоего положения. Надо что сделать? Надо попросить у Будило Николая прощения, к родителям его пойти, пока не поздно. У тебя твой десятый класс загреметь может к чертовой матери, аттестат, как говорится, зрелости, а ты мне про соловьев и про неизвестных личностей! Будешь просить прощения? Если будешь, я тоже за тебя слово замолвлю. Поскольку дед у тебя инвалид и герой войны, а мать — одиночка. Ну, и в фулиганах ты не числился, как говорится, смягчает. Так что будем делать? Попросишь прощения?

— Нет! — сказал я.— Не попрошу!

Я боялся только одного — истошного крика матери, ее причитаний и проклятий, ее попреков, что вот вырастила бандита на свою голову!.. Кормила, одевала, учила — кого?

Она в нетерпении стояла на крыльце, когда мы возвращались с Никифоровым из сада, и мне показалось, что она только и ждет, пока я подойду

поближе, чтобы наброситься на меня. Еще и не знает, что случилось, а уже готова. Но она не закричала, не запричитала, молча смотрела на меня, и глаза у нее были какие-то затравленные — я никогда не видел ее такой. А когда Никифоров, войдя в дом и усевшись за стол с праздничными пирогами, студнем и вином, обстоятельно рассказал, что сегодня утром произошло и что, по его мнению, нужно делать, и пожаловался, что я не проявляю понимания,— мать просто заплакала. Она сидела у стола и плакала, и не утирала слез, и вся сгорбилась, стала какой-то маленькой. А я стоял, прислонившись к новой голландке, к холодному белому кафелю, и в груди у меня был камень.

Мать выплакалась, встала, тихо подошла ко мне, лицо у нее было мокрое, губы дрожали.

— Сыночек, родненький, повинись, попроси прощения...

Она как-то покорно стояла передо мной, ждала. И дед ждал, сидя за столом, трезвел на глазах, и Никифоров ждал. А я молчал, как каменный, и мать вдруг засуетилась, заметалась по комнате, бросилась к шкафу, выдвинула нижний ящик, пошарила в нем, вынула из-под белья что-то завернутое в белый носовой платок, стала разворачивать.

В платке были деньги. Она отсчитала несколько десяток, бросила остальные в ящик, на белье.

— Надо к ним пойти! С угощением пойти, с гостинцем!.. Я сама пойду, сама!.. Может, им заплатить надо? Денег дать? Может, я мало взяла? Я ж не знаю, сколько надо!.. Господи, я хоть все отдам, только бы не судили!..

Она снова заплакала, а Никифоров сказал, что, конечно, можно пойти к родителям Будило с гостинцем, поскольку сегодня праздник и вообще, но что деньги давать не следует — это, как говорится, взятка.

— Какая взятка! — в первый раз за все это время закричала мать.— Какая взятка! Мне сына спасать надо! Разве ж он бандит какой? Он телок, дите горькое! Я диву даюсь, что он побил, а не его побили! Он собаку никогда не стукнет, не то что человека!

Никифоров сказал, что кричать не надо, действовать надо, что он сам пойдет с ней к родителям Будило, и надо, чтобы Петр Иванович пошел, он инвалид и герой войны — должны уважить.

— А ты сам, значит, не пойдешь? — спросил он у меня.— Ты, как говорится, гордый?

— Не пойду! — крикнул я.— Ни за что не пойду!

Дед совсем отрезвел, вылез из-за стола, снял со спинки стула свой парадный китель со всеми регалиями, надел, прошел в угол и взял в руку палку.

— Пошли, дочка,— сказал он.— Митьку пока не надо гнать к этим мазурикам Будилам, нехай дома побудет, нервы расслабит.— И повернулся к Никифорову:— Одно знаю, Василь Федорович: ежели Митька побил, значит, в душу ему плюнули.

От этих дедовых слов слезы стиснули мне горло.

...Десятого у меня был разговор с директором школы.

— Я этого от тебя не ожидал, Дробышев,— сказал директор.— Я всегда думал, что ты добрый юноша, что любишь людей. Я не думал, что ты так жесток. Бить по лицу, до крови!.. И, главное, ты почему-то не хочешь объяснить, почему избил Николая, за что? Я не знаю, как мне быть, Дробышев, как тебя защищать.

Я сказал ему, что у Транзистора не лицо, а поганая морда. И что он не человек, а скотина. И пусть меня судят, если я виноват. Пусть дадут срок. Я не получил правового воспитания и не знал, что могу получить срок. Но если б и знал, все равно вложил бы Транзистору по первое число.

— Но, за что? — воскликнул директор.— Должен же я знать, за что?!

— За соловьев,— сказал я,— за соловьев и за Павла Когана. За Майорова. За Кульчицкого.

Директор изумился:

— За каких соловьев?!

— Надоело говорить и спорить! — сказал я.— Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза!..

Директор только глаза на меня вытаращил.

...Через два дня будет общешкольное комсомольское собрание совместно с педсоветом и родительским комитетом. Там будут решать, что со мной делать. А я третий день загораю на крепостной стене, рядом со мной ходят козы, внизу пацаны играют в войну. Трещат мотоциклы и фыркают машины, цокают вдалеке копыта: тяжело и увесисто — гнедой высокой кобылы, дробно и легко—рыжего жеребенка. А старого пыльного мерина, на котором ездил старьевщик, уже нет в Берестянске, у старьевщика теперь мотороллер с прицепом. И я думаю, что это хорошо — все равно старьевщик не любил своего мерина, вечно хлестал его кнутом так, что на крупе оставались белесые вздутые шрамы. А мотороллеру не больно, если подвыпивший старьевщик пнет его ногой.

Скоро, наверное, не станет в Берестянске и гнедой кобылы с жеребенком. Автохозяйство в городке расширяется, и их отдадут в колхоз или в лесничество. Только бы попался им хороший хозяин...

Но жеребенок все равно останется со мной, потому что я никогда его не забуду!.. Никогда не забуду, как он брал сахар у меня с ладони, как останавливался посреди улицы и глазел на дома, на прохожих, как тянулся любопытной мордой к нетерпеливо фыркающим машинам, совсем их не боялся — не нужны ему были никакие шоры.

Шоры давным-давно не надевают лошадям, но почему их носят многие люди? Почему они мчатся как угорелые, ничего не видят вокруг себя, а только то, что под самым носом, почему они не замечают ни жеребят, ни белок, ни птиц, а если и остановятся даже посреди леса или поля, все равно ничего не видят и скорей включают свои транзисторы, как будто боятся лесного шума, боятся полевого простора? Разве дорога, по которой они мчатся на своих машинах, это только лента шоссе, а не весь мир?

Пусть меня тоже считают чокнутым, как моего деда, но я не хочу мчаться как угорелый — за шмотками, за дешевой поросятиной в дальние деревни или на городской базар, чтобы продать подороже зимние яблоки!..

Я лежу на крепостной стене, разглядываю свой Берестянск в цветные стеклышки и вижу, что и сквозь цветные стеклышки он все равно похож на старую деревню — ведь это цветные стеклышки, а не шоры... Я вижу приземистые домики и пыльные улицы, вижу, как дымят печные трубы. Но скоро их не станет: через Берестянск пройдет газопровод. И отомрет профессия моего деда, и не будет он больше по нескольку раз в году перекладывать свои печи. И пыльных улиц скоро не станет, и луж осенью — в апреле улицы начали асфальтировать. А вместо заводика фруктовых соков и консервов построят комбинат союзного значения, как было написано в областной газете, и мебельная артель тоже превратится в комбинат. И, значит, Берестянск станет большим городом.

«Ты, Митя, прежнего не жалей,— вспоминаются мне слова деда.— Помни об нем, но не жалей, не вздыхай. Прежнее, оно ведь не пропадет, его на фундамент пускают».

Я почти и не жалею, но знаю, что не смог бы любить новый Берестянск — тот, каким он станет, — если бы не любил его всегда.

Вика скоро навсегда уедет из «этой дыры», и родители ее уедут — отца Вики снова забирают в область. И, наверное, они купят, наконец, машину...

Если меня допустят к экзаменам, если я получу аттестат, я тоже уеду из Берестянска, поступлю в лесотехнический институт и стану лесничим. И непременно вернусь сюда. Потом, может быть, соберу денег, куплю «Запорожца», посажу в него мать и деда и поеду к Черному морю. Я когда-нибудь обязательно увижу его, а они могут и не увидеть...

Если я буду поступать в институт, то не стану просить отца, чтобы он мне помогал. Мне ничего от него не нужно, он ведь никакой не отец, а так, прочерк в метрике...

Я переворачиваюсь на спину и смотрю в небо — оно высокое-высокое, голубое-голубое!.. И в нем звенит жаворонок, зовет меня к себе. Я вспоминаю, как прыгала та белка, как пружинила под ней еловая лапа, как много было неба там, в поле... Как я мчался в том небе — в синих струях!

«Ну? — сказала Вика.— Что же ты?.. Ты такой маломощный?»

Я наконец недавно увидел ее летчика. Он лейтенант, мастер парашютного спорта. По-моему, ничего парень...

Звенит и звенит жаворонок, все ближе и ближе небо. Совсем не трудно взлететь туда, ввысь... Маломощный!.. Разве я испугался чуда? Я не испугался...

А белок я больше ловить не буду. Не буду их продавать. Пусть себе прыгают на воле, пусть лущат шишки...

Через два дня комсомольское собрание совместно с педсоветом и родительским комитетом. Я не знаю, что они решат, но что бы они ни решили, я не смогу попросить прощения у Кольки Будило.

Я снова переворачиваюсь на бок, смотрю вниз. Там, внизу, пацаны играют в войну, вопят и вспугивают с крепостной башни ворон.

Какая хорошая птица ворона!
За что же ворону вороной честят?
Холодные дождики хмуро частят.
И нету бедняжке вороне схорона!..

— вспоминаю я свое единственное в жизни стихотворение, но нет и не предвидится никакого дождика, и вороны вовсе не выглядят бедняжками — вид у них деловой и серьезный.

— Одна лошадиная сила! — кричат внизу пацаны.— Лошадиная сила, садись на точило!

Точилом у нас в городке почему-то называют мотоцикл, но пацаны, наверное, для того, чтобы было складно, кричат «сила-точило!»

Мне вдруг становится весело, легко, свободно. «Нечего вешать нос, Митя Дробышев! — говорю я сам себе.— Все правильно. Дал ты Транзистору разá — поделом!.. А теперь его и простить можно. Ведь это ты его простишь, а не он тебя, если скажешь: ладно, мол, извини. Извини за то, что я тебя проучил!.. Как мне однажды дед говорил? Нельзя в себе злобу носить. Она жить мешает, солнце застит. Люди сильны добротой. Добром, Митя!» И я прыгаю со стены и лечу птицей, раскинув руки:

— Э-гей, люди!

г. Минск.

Рыгор Семашкевич





Перевел с белорусского Дм. КОВАЛЕВ.

✪

Спокойные далекие дубы.
Криница вместе с пташками щебечет.
Лосиный клич, как будто клич судьбы,
Зовет, зовет на боровое вече.

В тот гулкий рай, где бог один — лесник,
Я убегу опять, как в партизаны.
И будет утро. И ответный крик.
И росные туманные поляны.

Земля родная, жить прикажешь мне
И вьюгой и жарой, что ливня просит,
А попрошу душевно,— по весне
Перо на счастье добрый аист сбросит.

Отечество! В глубины вновь и вновь
Идем к тебе душевных сил набраться,
Согреться у рябиновых костров
И чистотой снегов налюбоваться.

Солдат

А после он заснул. И долго спал,
Уже не чувствуя душевной боли.
Весь день отряд саперов мины рвал
Те, что остались в быльняковом поле.

Ни дрожи стен, ни трепета ветвей
Солдат не чувствовал, спал без тревоги.
И этой ночью майской соловей
Вернулся тоже в отчий дом с дороги.

Вспорхнул на ветку прямо над окном,
Запел на все лады он, как когда-то,
Про ошалеванный, осевший дом,
Про Вилию, про родину солдата.

Он как бы выводил: — Ну, вот и я!..
В любимый край свой с песнею вернулся.
Ты слушай, свет мой, песню соловья.
Он долго пел. И человек проснулся.



ИРИНА ХУРГИНА

Ирине ХУРГИНОЙ 18 лет. Она студентка второго курса факультета журналистики МГУ. В № 3 «Юности» за 1972 год был напечатан ее первый маленький рассказ «Рыжая».

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

РАССКАЗ



Рисунок А. ТОКАРЕВА.



Когда Яна поступила на геофак, удивлению и страхам родственников и знакомых не было конца. Знакомые врачи говорили:

– Яна не может быть геологом, у нее слабое здоровье!

Знакомые математики спрашивали:

— Девушка — геолог! Где доказательства, что она выдержит?

Знакомые музыканты утверждали:

— Самое лучшее занятие для девушки — музыка...

Только один человек верил в Яну — ее семилетний брат Лешка.

— У Яны будет большой, огромный молоток, и тогда она покажет соседскому Ваське, чья сестра сильнее.

Через неделю после начала занятий Яна заболела гриппом. В тот же вечер пришла тетя Леля, мамина старшая сестра. Яна слышала через приоткрытую дверь, как тетя говорила маме:

— Я говорила тебе, Яна не выдержит! Какой из нее геолог! Яна создана не для тяжелой мужской работы. Ты только взгляни на ее ручки и ножки, на ее плечики — она вся такая худенькая, прямо страх. Как только вы все это допустили? Ей-богу, я удивляюсь тебе и твоему безалаберному мужу.— (Безалаберный муж — это Янин папа. Тетя Леля с самого начала невзлюбила его за веселый нрав и не упускала случая уколоть маму за «ее мужа».) — Ты легкомысленная! — все больше распалялась тетя.— Тебя не волнует жизнь твоей дочери. Я сейчас сама поговорю с ней!.. Яна — умная девочка, к счастью, она пошла не в твоего мужа.

Яна вжалась в постель и закрыла глаза. Ей показалось, что в комнату внесли громкоговоритель и приставили к самому уху.

— Яночка,— сказала, входя, тетя.— Я хочу с тобой поговорить. Девочка моя, ты выбрала профессию не по силам — раз. Не по интересам — два. Не по возможностям — три. Да и вообще, у геолога работа романтическая лишь в романах.

— Тетя...

— Не перебивай старших, откуда в тебе эта черта? Видишь, деточка, ты уже заболела, а что будет дальше? Ты не будешь вылезать из пневмоний, из катаров, из кишечных заболеваний. У тебя будут мозоли и грыжа, наконец. А что взамен? Ничего! Мужчины-геологи хоть бороду отращивают лопатой себе в утешение, а ты и этого не можешь. Пока не поздно, бросай это, Яночка. У тебя всегда были склонности к гуманитарным наукам, к языку. Иди в Иняз, будешь переводчицей, будешь занята исконно женской работой...

— Я никогда не любила гуманитарные науки, тетя. Я не хочу быть переводчицей. Я хочу быть геологом...

— О! — Тетя в экстазе воздела руки к потолку.— Подумай только, какое святое дело — быть переводчиком! Своими переводами ты несешь людям все новые и новые знания! А что ты несешь людям со своей геологией? Камни, одни только камни, и больше ничего.

— Что вы, тетя, еще не все потеряно. Я могу приклеить бороду лопатой, и тогда у меня тоже что-то будет в «этой геологии».

— Девочка моя!

— Нет, тетя.

Весь первый курс прошел у Яны под лозунгом: «Нет, тетя!» Три раза Яна тихо, тайно влюблялась и все эти три раза думала: «А может, выйти замуж?..» И все три раза она упиралась в два обстоятельства:

во-первых, ей было только семнадцать, во-вторых, объект любви всегда оказывался с каким-нибудь дефектом: или у него прыщ на носу, или он нудный, или он просто «зимний дурак».

Уже подходил к концу первый курс. И вот в мае, как-то вечером, зазвонил телефон. Яна взяла трубку и услышала:

— Яна, пляши!

— Зачем?

— Сейчас такое скажу, что не пожалеешь!

— Нинка, ты всегда меня разыгрываешь.

— Говорят, пляши!

— Ну, пляшу.— Яна сделала два реверанса.

— Честно?

— Честно.

— Значит, так...— Нина явно запыхалась.— Я была в гостях, там познакомилась с геологичкой, занимается окисленными рудами, едет в экспедицию в Забайкалье, ей нужен коллектор. Студентка первого курса геофака для нее — голубая мечта!.. Янка, ты слышишь меня?!

— А-а-а, ой!

— Чего?

— Я спрашиваю, когда?

— С середины июля.

— Ой, Нинка! Ну и золото же ты!

— Яночка, я так бежала, так бежала! Там, в гостях, нет телефона, понимаешь? Теперь слушай. Ты сейчас позвонишь этой геологичке и скажешь, что ты от Нины, что ты с геофака и хочешь к ней в коллекторы. Ее зовут... Погоди, у меня записано... Анна Максимовна.

— А фамилия у нее есть?

— Кутузова.

— Она что, пра-пра-пра какая-нибудь?

— Понятия не имею. Теперь запиши телефон.

Яна все аккуратно записала, попрощалась с Ниной и набрала номер.

— Алло,— сказал женский басок.

— Попросите, пожалуйста, Анну Максимовну.

— Я слушаю.

— Здравствуйте, с вами говорит Яна Славинская, я от Нины. Нина говорила, что вам в экспедицию нужен коллектор. Не могли бы вы взять меня? — выпалила Яна.

— Милая моя, а что вы умеете? — протянул басок.

— Я...

— Хорошо, а что вы делаете вообще?

— Я учусь на геофаке, на первом курсе.— Яна совсем оробела и говорила почти шепотом.

— Ну, что же, геофак — фирма. А вы выносливая?.. Впрочем, зайдите ко мне завтра домой. Пишите адрес...

Яна записала адрес на ту же бумажку и попрощалась. На следующий день она встретилась с Кутузовой. У Яны уже не осталось никаких сомнений, что Кутузова — маршал, а у Кутузовой не осталось никаких сомнений, что Яна влюблена по уши в геологию и будет стойко держаться всю экспедицию. Через день Яна была зачислена в штат геологической экспедиции в Забайкалье. Никто — ни родители, ни тетя Леля — не знал об этом. На вопросы о том, куда она хочет поехать на лето, Яна ответила: «Мы с Ниной, наверное, поедем к ней на дачу». За день до отъезда Яна наконец решилась. Чтобы не повторять все два раза, выбрала момент, когда пришла тетя Леля, получилось в обед: у всех набиты рты и никто ничего не может сказать. Яна решила обратиться к маме, как к самому спокойному человеку. Когда все принялись за суп, Яна подняла голову и тихо сказала:

— Мамочка, знаешь, я все хотела тебе сказать... Меня взяли коллектором в геологическую экспедицию в Забайкалье. Мы завтра уезжаем. Ты не волнуйся. Ведь мне уже исполнилось восемнадцать.

У мамы расширились глаза, папа улыбнулся, Лешка в восхищении заерзал на стуле, а тетя застыла. Яна молчала и смотрела на мамину тарелку с супом. Лешка первым нарушил тишину. Он свистяще прошептал:

— Янка, за камнями?!

— Ага.— Яна кивнула.

И тогда все пришло в движение. Мама потянулась за сигаретами, папа, сдерживая улыбку, начал кусать ус, другой же лукаво топорщился в тетину сторону. Лешка принялся доедать суп. А тетя встала в позу оратора времен рабовладения.

— Тетя, не волнуйтесь...— начала было Яна.

— Замолчи, замолчи.— Тетка схватилась за голову.— Никуда ты не поедешь, вместо каникул будешь сидеть в комнате под замком.

— Ну, тетя, если вас не будет терзать совесть за сорванную экспедицию, то я останусь. Иначе никак не могу.— Яна и представить себе не могла, что способна пререкаться, и с кем? С теткой, с грозой всего дома!

Тетка с ужасом смотрела на Яну и не могла вымолвить ни слова... Наконец она повернулась к маме и почти шепотом вымолвила:

— Ваш ребенок — вы и думайте. Но я бы на вашем месте отправила ее или в исправительную колонию, или в сумасшедший дом.— И, вздохнув, села.

Яна взглянула на маму, мама — на папу, папа — на Лешку, а Лешка заглянул в свою пустую тарелку и сказал:

— Мама, я хочу добавки.

Мама потушила сигарету и стала наливать суп, расплескивая на стол.

— Хорошо, Яна, а сколько человек едет? — както смущенно спросил папа.

— Тридцать два.

— Мужчины, женщины?

— Две женщины, остальные мужчины.

— Боже! — Тетка схватилась за горло.

— Мама, мы уезжаем завтра, я уже в штате,— сказала Яна и взяла редиску с хвостиком.

— Саша, как ты скажешь, я ничего не понимаю...— От волнения мама немного косила, и ее лицо стало еще моложе.

«Какая хорошенькая»,— подумала Яна и вопросительно взглянула на папу.

— Так ты в штате? — спросил папа.

— Угу.

— Ну, если ты считаешь, что так надо, поезжай. Я — «за».

— А что за вторая женщина? — Видно было, что мама нервничает.

— Начальница. Кутузова Анна Максимовна.

— О-о! — Папа покрутил головой.

— Возьмешь папин рюкзак. Идем, надо собрать вещи.— Мама встала.

Тетя драматически вздыхала...

Поезд уходил в два часа дня. Провожать Яну пришли, естественно, все: мама, папа, Алешка и тетя. Они познакомились с Кутузовой и издали смотрели на мужчин, которые толпились у вагона.

— Господи, я так волнуюсь,— шептала мама,— как ты выдержишь... Ты ведь никогда не ездила в общем вагоне! Никогда не спала в палатках... Никогда не

жила без меня, тем более в окружении тридцати мужчин. Боже, что будет!

— Мама, ну что ты, ведь Фельдмаршал же едет и — ничего,— пыталась успокоить ее Яна.

— Какой еще Фельдмаршал? О чем ты?

— Ну, Кутузова. Мамочка, я буду писать. Все будет отлично. А приеду с вот такими бицепсами.

— Зачем,— мама совсем растерялась,— девочке бицепсы?

— Мам, ну не уподобляйся тете! Зачем, зачем... Сильная буду, картошку стану на рынке покупать...

— Она еще и шутит! Как ты можешь шутить?! — ужаснулась тетя.

— А почему бы и нет? Ничего страшного, по-моему, не происходит.— Папа бодрился.— Человек едет познавать жизнь. Не век же цепляться за Москву.

— Янка, что ты мне привезешь? — спросил Лешка.

— Что будет, то и привезу!

Тут Яну позвали садиться. Настала церемония прощания. Яна всех перецеловала и побежала к вагону. Мама дрожала, удерживала Лешку, который рвался за Яной, папа кусал оба уса, тетя вытирала глаза платочком. Через несколько минут поезд тронулся. Яна стояла у окна и махала рукой так, что кисть заболела. Какой-то бородатый парень, проходя мимо Яны, бросил, блеснув белыми зубами:

— Как на войну провожают...

Яна дернула плечами: как остроумно... И вдруг внутри что-то сжалось: то ли от ожидания, то ли от радости, то ли от грусти. Яна хлюпнула носом и уселась на свое нижнее боковое место. Тут же в отсеке напротив вскочил парень и спросил:

— Хотите, поменяемся? Вам здесь удобнее будет.

— Нет, нет, спасибо. Мне тут очень хорошо.

Парень разочарованно опустился на свое место, а Яна забралась с ногами на сиденье и уставилась в окно. Вспомнились слова Нинки: «Что ты, экспедиция — потрясающая вещь! Все такие веселые, быстрые, добрые. Мальчишки будут чрезвычайно галантны, все за тобой будут носить, места уступать... Но это сначала. Потом привыкнете друг к другу... Обязательно любовь будешь там с кем-нибудь крутить...»

Яна вздохнула: пять суток ехать до Читы! Пять суток, мама моя родная... А там на машинах в Кличку...

«Нина!

Твоя протеже вот уже полторы недели трудится в поте лица в шахте. Работка тут не из легких. В семь утра я опускаюсь под землю, а вылезаю только в четыре дня. Иногда, когда нам уже совсем становится не по себе в этом добровольном мокром заточении, мы выбираемся наружу средневековым способом: по деревянной лесенке. Я все пытаюсь сосчитать, сколько там ступенек, но на 298-й всегда сбиваюсь, потому что к этому моменту я уже в таком состоянии, что мне не до арифметики. Ходим мы «как в доброе старое время» — с молоточками. Ходим и отбиваем породу. Здесь меня ждали разочарования. Самые красивые экземпляры приходится выкидывать: не годятся, не то состояние. А обыкновенные булыжники — ценнейшее приобретение. Я сказала Фельдмаршалу: «Жалко выкидывать, ведь такие красивые, тут вся гамма цветов...» А она мне: «Вам бы, милочка, не на геофаке учиться, а в институте благородных девиц! Гамма цветов, видите ли...» Я, конечно, заткнулась, но мое мнение о ней утвердилось. Фельдмаршал наш — синий чулок (без всякой гаммы цветов). Как-то она поехала в город и надела юбку — я прямо села: именно так выглядят шотландцы в юбочках. Ты не подумай, что я злорадствую, мне просто ужасно смешно было на нее смотреть. А впрочем, она неплохая тетка, особенно, когда забывает о своем начальственном положении. Ты, Нинка, была права, когда говорила, что мальчишки будут чрезвычайно галантны, но только сначала. Их хватило на пять дней — на дорогу до Читы: меня закармливали шоколадом и вареными яйцами — разнообразное меню, не правда ли? Я чувствую себя, как пес, сорвавшийся с цепи и сиганувший через забор на волю. Мужчины у нас веселые и, главное, певучие (в отличие от меня). Фельдмаршал тоже поет шаляпинским басом всякие студенческие и походные песни — очень интересно. Вообще-то у нас дружно и хорошо.

Боже, Нинка, я все пишу и пишу, а самого главного еще не сообщила: Нинка, я влюбилась. Представляю выражение твоего лица и не могу удержаться от смеха. Ты, наверное, думаешь: в очередной раз. Ничего, мол, через две недели у него появится прыщ на носу, или ячмень на глазу, или утячьи мозги, или сердце, как собачий хвост, или он не будет знать, кто такой Чехов, или заявит, что Модильяни написал «Чаепитие в Мытищах». Нет, нет, нет! Ты и представить себе не можешь, что он такое! У меня любовь с первого взгляда, а он любил меня всю жизнь (так он говорит). Оказывается, я ему всегда мерещилась. Ты понимаешь, он требует, чтобы мы поженились. Он говорит: «Все равно ведь каждый день будем бегать на свидание, так не легче ли пожениться?» Я ему сказала, что он рационалист, а он ответил: «Имея мою неспокойную профессию и твои глаза, мы просто должны быть связаны священными узами брака». Тогда я заявила, что не собираюсь в восемнадцать лет становиться соломенной вдовой. Он очень удивился: «Почему? Ты будешь всюду со мной ездить».

Словом, мы долго пререкались. Это было только что, и я пишу тебе под свежим впечатлением. Как видишь, я в безвыходном положении. Умоляю, подумай об этом и напиши мне, только уже в Москву.

Завтра все наши уезжают в Читу в банк, а я остаюсь вместе с четырьмя рабочими упаковывать два неготовых ящика. Послезавтра мы погрузим все это на машину и поедем догонять наших в Читу. Один местный парень подрядился нам помогать, а Фельдмаршал запретила оставаться мне одной в палатке и определила ночевать в дом к этому парню. Здесь она не волнуется, так как у него молодая жена, ревнивая, как кошка (это я уже испытала на себе). Меня отвели туда, чтобы я знала, куда прийти завтра ночевать. Вхожу — чистые сени, кругом ведрышки, тазики, венички. А парень этот, сразу видно, «не промах», как сказал мой милый Славка. Уж он и так и эдак глазами стреляет. Ты знаешь, мне даже както неудобно стало. Я потом сказала Славке, а он говорит: «Ты с ним поосторожнее. Намеков не понимаешь, будто ты глупенькая, и все о ящиках ему толкуй, ну, а если начнет приставать, дай по рукам и спроси, не пойти ли попить чайку к его милой женушке». Так вот, в горнице стоит девушка, черноглазая, черноволосая, с ухватом в руке и смотрит на меня исподлобья. Он ей сказал, что я буду здесь ночевать завтра, что я из экспедиции. А она кивнула, руки в боки и смотрит на меня, как на своего личного врага: злюще, колюче. Ну, думаю, семейка... Славка страшно заволновался, что я здесь одна буду, стал просить у Фельдмаршала остаться, но та — железная: «Нет, соблюдайте экспедиционную дисциплину и не действуйте мне на психику. Ничего с вашей голубушкой не случится, не век же вы ее опекать будете».

После этого Славка и устроил мне эту сцену у кустов. Ну вот, Нинка, я кончаю свое огромное послание.



Позагорай за меня на крымском солнышке и покупайся за меня в теплом Черном море (сейчас оно черное?). Целую тебя.

Яна».

На следующий день утром пять грузовиков выехали из поселка. Яна постояла немножко, посмотрела им вслед, потом повернулась и пошла к своим теперешним подчиненным. Она сдвинула выгоревшие брови и придала лицу серьезное выражение. Но тут же прыснула — вспомнила хрипловатый Славкин голос: «С Ивашкиным поосторожнее...— Пауза.— Пожалуйста, отойди немножко, я тебя плохо вижу». Проходящий мимо Паша-Карандаш заметил: «Все равно на всю жизнь не насмотришься...» А Славка буркнул: «А я не на всю жизнь, а на день». На день! Господи, как долго — целый день без Славки...

Янины подчиненные ели тараньку и вели чисто мужские разговоры.

— Я говорю: разбавляешь,— а она: мне лучше знать...

— Товарищи, я думаю, надо ящики с образцами отнести во двор к Ивашкину,— сказала, подходя, Яна,— там удобно, и потом можно будет готовые ящики поставить к нему в сарай до завтра.

Рабочие поднялись: начальница, да и велено самим Славкой Борисовым охранять ее как зеницу ока и слушаться с полуслова. К пяти часам все было готово: образцы проверены, завернуты еще раз в бумагу, подписаны, аккуратно уложены в два больших ящика и заколочены. Рабочих Яна отпустила обедать, Ивашкин пошел в дом, а сама она уселась на бревнышке во дворе. То ли идти в местную столовую обедать, то ли подождать с обедом и сходить пока собрать для мамы сибирских орехов... Взять у Ивашкина ведро...

— Яна, идите в дом! — крикнул из окна Ивашкин.

Яна встала. Сейчас эта его жена будет вращать своими злющими угольями-глазами. Входя, Яна услышала обрывок разговора:

— Городская... Ишь, потянуло на наш медок...

— Да заткнись ты, Катерина!..— огрызнулся Ивашкин, когда Яна уже стояла в дверях. — Садитесь с нами, что ж вы во дворе-то пристроились? — мелко улыбался Ивашкин.

— Да нет, спасибо, я думала за орехами в лес сходить...

— Так что же, поедите, да и сходим, я вам покажу орешник...— Ивашкин суетливо оглядывался.

Катерина за его спиной наливала в миски суп.

— Ешьте уж,— буркнула она, трахнув по столу миской.

Проглотив последний кусок, Яна поблагодарила и повернулась к Ивашкину:

— Простите, Федя, дайте мне, пожалуйста, ведро.

— Да я сейчас с вами сам пойду, вы поглядите там, какое ведро... а я пока соберусь...

Яна хмыкнула и выскочила в сени. Там она перевела дух. За дверью ругались Ивашкин с женой.

— Смотри, Федор, и года еще не прошло, а ты...

— Да постой ты, Катя... Какая ты... Да я же тебя люблю, Катя...

— Ты руками-то поосторожнее! Знаю я эти объяснения, не впервой! Иди, иди к своей... А у меня и получше тебя найдутся, не волнуйся! Подумаешь, золото! Бери кому не лень...

— Ну, смотри, Катя...— Дальше послышалось какое-то шипение, и Ивашкин вылетел в сени, наскочив на перепуганную Яну.

— Идемте,— бросил он.— Ведро взяли?

Яна схватила первое попавшееся ведрышко и поплелась за Ивашкиным. Оглянувшись, она увидела в окне темные, горящие ревностью глаза Катерины.

Всю дорогу Ивашкин не промолвил ни слова. Яне было ужасно жалко и его и Катерину.

Вернувшись, вечером Яна легла пораньше, немного поворочалась и заснула. Ночью она проснулась от какого-то стука во дворе и снова уснула. Рано утром подъехал грузовик, Янины подчиненные погрузили на него два ящика, сами сели рядом. Яна зашла в горницу попрощаться с Ивашкиным.

— До свидания. Спасибо вам большое за приют...— Что говорить дальше, Яна не знала.

— Да что вы, не за что...— Ивашкин долго тряс Яне руку.

— До свидания.— Яна повернулась к Катерине.

Та кинула на нее непонятный взгляд и как-то торжествующе улыбнулась.

— Всего вам хорошего...

В Чите сразу же, не останавливаясь, отправились на вокзал. Все были уже в вагоне. Яна опять ехала на нижнем боковом месте и опять не захотела ни с кем меняться. Она уютно устроилась у окна и, когда поезд тронулся, подумала:

«Уже в Москву... как быстро... не хочется...»

«Милая Нинка!

Вот я и в Москве. А тебя ждать еще две недели. Спешу сообщить тебе о событиях, которые произошли со мной за полтора дня пребывания в столице. Приехали мы в Москву вечером. Меня, к счастью, никто не встречал, так как все наши на даче и телеграмму я не посылала. Выгрузились мы и стали прощаться. Тогда Фельдмаршал и говорит:

— Яна, не могли бы вы приехать завтра в лабораторию помочь мне разобрать образцы?

Я, конечно, сказала, что это для меня большая честь. Тем более что я как-то за месяц привыкла к этим камням и дома мне, чувствую, будет их не хватать. С вокзала мы со Славкой поехали сначала ко мне, потом к нему — туда, сюда, смотрю — уже восемь часов. Ну, куда уж теперь ехать на дачу, ведь на следующий день к десяти утра надо быть у Кутузовой. Господи, Нинка, если бы ты знала (впрочем, ты-то знаешь), какое наслаждение почувствовать себя в московском комфорте, с горячей водой и ванной, мягким креслом в моей теплой, уютной комнате! Нет, наверно, я не прирожденный геолог, если мне нравятся хрустящие простыни, чистые пижамы и фарфоровые тарелки! Единственное, что меня утешает: я не чувствовала себя обездоленной и неполноценной в палаточных условиях.

Наутро, выспавшись, я села в троллейбус и отправилась в лабораторию к Фельдмаршалу. Она очень приветливо меня встретила и даже сказала:

— Вам очень идет голубое, Яночка.

Я была поражена: чтобы Фельдмаршал заметила! Подумать только, как меняется человек, попав в лапы цивилизации! Мы занимались довольно нудной работой — расколачивали ящики и сортировали образцы: один — туда, другой — сюда... Фельдмаршал прикасалась к пакетикам нежно-нежно, как к младенцам. Потом она объяснила мне:

— Знаете, Яна, люди, которые сами это не добывали, не понимают, что это за ценность и как осторожно надо с этим обращаться. Поэтому-то только вы могли мне помочь. Мужчины не в счет...

Когда мы открыли один из ящиков, который я укладывала, Фельдмаршал сказала:

— Молодец, вы аккуратная и притом со знанием дела...

Это был пятый ящик, и у меня уже от этих камней рябило в глазах. Но все-таки я похвалилась:

— Это что, а вот тот, последний, увидите, так уложен, что даже жалко будет трогать.

Мы разобрали пятый ящик, и Фельдмаршал, сев на стул, выдергивала из шестого заколоченные гвозди. Я села напротив и уставилась на нее. Знаешь, очень интересно: у нее такое было вдохновенное лицо, когда она вытаскивала эти гвозди, словно это не обыкновенный деревянный ящик, а ларец с алмазами. Сижу я, смотрю на нее и вдруг вижу: лицо у нее становится гипсово-белым, а глаза расширились и с каким-то ужасом смотрят вниз. Я перевожу взгляд... и внутри у меня все холодеет: вместо аккуратных пакетиков в ящике лежат битые кирпичи! Знаешь, Нинка, я так закричала, что Фельдмаршал сразу пришла в себя. Она медленно встала, обошла ящик вокруг, заглянула туда, потом повернулась ко мне и стала тыкать пальцем в ящик. Я пытаюсь что-то сказать — и не могу: только какой-то сиплый звук. Она некоторое время постояла, глядя в ящик, потом подошла к стулу. И смотрит на меня, как на свою убийцу. Тогда я прохрипела:

— Это не я.

Она быстро-быстро заморгала и вдруг как заплачет... Ну, тут и я зарыдала в голос. Потом она говорила, что я ревела, как маленький обиженный ребенок. Так мы и проплакали, наверно, полчаса, как вдруг входит одна сотрудница и видит картину: две закаленные в трудовых буднях бабы сидят и голосят над ящиком с кирпичами. Потом, я помню, нас долго отпаивали, затем приехал Славка и увез меня домой. И как только я вошла в квартиру, зазвонил телефон, и Фельдмаршал прочитала мне вслух только что полученную телеграмму: «Катерина созналась подменила одном ящике образцы кирпичами по причине ревности образцы выкинула болото тчк секите рубите голову ее мою тчк Ивашкин».

— Как вы смели возбудить ревность в такой мстительной бабе?! — вопила в трубке Кутузова.

Я невнятно оправдывалась, а Славка покатывался со смеху. Он сказал, что это из серии «Нарочно не придумаешь»...

Вечером поехала на дачу. Приезжаю: все сидят и пьют чай на террасе. Тетя взвизгнула, папа загоготал, мама вскочила, а Лешка опрокинул чашку с чаем. Я уселась, рассказала все по порядку и окончила кирпичами. У тетки тут же загорелись глаза, она встала в позу римского патриция и произнесла целую тираду о вреде геологии, женщин и ревности и о пользе гуманитарных наук.

— Я же говорила,— восклицала она,— из нее не будет геолога! Эта работа не для нее! Надеюсь, что этот жестокий урок не прошел даром и теперь вы образумитесь и заберете девочку с этого геофака, который ее чуть не загубил!

— Что вы, тетя,— я старалась быть очень вежливой,— я только лишь уверилась в том, что никуда не уйду с геофака и буду геологом. Кстати, Кутузова после крика сказала, что я ей необходима в следующей экспедиции, так как лучшего коллектора в жизни не сыщешь, и что она постарается через четыре года устроить мое распределение к ней в лабораторию. Поэтому, тетечка, ваши надежды не оправдались!

Что дальше было, я тебе не буду рассказывать: сама догадаешься. Только, знаешь, я ничего не сказала им про Славку: на один день событий и без него хватит...

Ну, вот, Нинка, какие у меня дела. Передай привет Черному морю (хотя оно, мне кажется, не смотрится по сравнению с Забайкальем).

Пока!

Яна».



Виктор Смирнов



✪

Мать ждет...
Ракита все скрипит...
Как быстро обе постарели!
Ракита на дворе не спит,
А мать не спит в своей постели.
Им ночью поздней не до сна,
Хоть все разрешены вопросы.
Шагает за весной весна.
За осенью проходит осень.
И летних гроз и зимних дней
Немало в судьбах этих женщин.
Мать много родила детей.
Вокруг ракиты их не меньше.
Не здесь ли под звездой нетленной
Моя судьба в свой час взошла!
И потому огни Вселенной
Близки мне, как огни села.

✪

Соловей росы с овса покушал
И умолк до будущей весны.
Ничего теперь ты, как ни слушай,
Не услышишь, кроме тишины.
Бледным светом залита опушка,
Тянет свежим воздухом речным.
Мне года считавшая кукушка
Подавилась колосом ржаным.
Грибниками будет лес ограблен,
Как ты, гром, с утра ни угрожай!
Радугами гнутся ветки яблонь,
Обещая щедрый урожай.
Петушки уже выводят сипло
Песни немудрые на заре.
Отцвела медовым цветом липа —
Середина лета на дворе.
Что же, сердце не имеет права
В грудь стучать, как раннею весной!..
Но в луга зовет, зовет отава,
Дразнит душу вечной новизной.

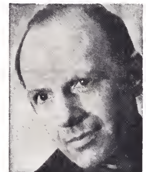
✪

На улице тепло и тихо.
И так, хоть глаз коли, темно.
Луна нырнула в тучу лихо,
На самое, как видно, дно.
Деревья спрятались в низинке.
И, кажется, совсем мертвы.
Но выдают себя осинки
Всегдашним трепетом листвы.
Шагаю по селу во мраке.
Забыться думы не дают.
И злобу на меня собаки
Из пасти в пасть передают.
Потом отстанут понемногу
И стерегут свои углы.
И освещают мне дорогу
Березок белые стволы.
Вдруг — словно ветра дуновенье.
И глянула луна светло...
Любимая! Мои сомненья
Твоим дыханьем унесло.

✪

Любимая! Когда травою стану,
Ты, как по волосам, погладь меня.
И через рожь густую на поляну
Беги, как это делал часто я.
Любимая! Когда березой стану,
Ты обними, пожалуйста, меня.
Подставь лицо холодному туману,
Которым раньше умывался я.
Любимая! Когда звездою стану,
Ты долго на меня гляди с крыльца.
Я, может быть, лучом тебя достану,
Чтоб отразиться в зеркале кольца.
Любимая! Когда зарею стану,
Руками раздвигая синеву,
Ты выйди в чисто поле утром рано,
И ты поймешь, что я еще живу...

Лазарь Шерешевский



✪

Живу в миру, а значит — на миру,
Где смерть красна, а суетность постыдна.
И раньше ли я, позже ли умру —
Всей жизни без остатка не постигну,
Как воздуха всего я не вдохну,
Всего земного шара не увижу...
Прижавшись лбом к правдивому окну,
Лишь различу, что дальше и что ближе.
И, отмерцав как малый уголек,
Отнаслаждаюсь я, а не отмучусь.
Как в обжитой родимый уголок,
Вселен в свою изменчивую участь,
Я все же участь многих разделю,
Как многие, свою исполню должность.
Как все,— и отживу, и отлюблю,
И чем-нибудь останусь и продолжусь.

✪

Все возрасты любви я перерос,
Пора быть многоопытным мужчиной.
Пора бы мне не принимать всерьез
Все искушенья страсти беспричинной.
Пора бы... Только, видно, не пора,
И будет ли когда пора, не знаю,
Когда не ищут от добра добра,
Ищу, благоразумью изменяя.
От прочности в сложившейся судьбе
В безвестное бесстрашно удаляясь,
Я улыбаюсь тайно сам себе
И сам себе безмерно удивляюсь.
И вновь я беззащитен, как птенец,
И, слушая суровые попреки,
Смущаюсь, точно школьник-сорванец,
Вдруг начисто забывший все уроки.
Уроки жизни и уроки книг...
И вызван я к доске, смешной и жалкий,
И все познанья испарились вмиг,
И ни к чему подсказки и шпаргалки,
И никакого оправданья нет
Тому, что я посмел себе позволить...
Любовь — непознаваемый предмет,
И мне его вовеки не освоить.
И вновь необъясним ее приход,
И снова пальцы в ссадинах и кляксах...
И на который, на который год
Оставлен я в ее начальных классах!

✪

Лошадка смотрит на овец понуро —
Стой, стереги да зябко холодей...
Степной орел уходит к Байконуру
Полетам поучиться у людей.
Дымок кизячный горек и угарен,
И духовит чабаний бешбармак...
Оранжевый скафандр надев, Гагарин
Дает пусковикам условный знак.
И, громыхая, как в порыве гнева,
Сверкнет ракета огненной иглой,
Сшивая ошарашенное небо
С еще не извещенною землей...

Владимир Трофименко





Вишенка

Послушайте, ребята,
Послушайте рассказ
Про храброго солдата,
Про красного солдата,
Похожего на вас,
Про молодость суровую,
Про ягодку вишневую.

Нашли у человека
Наган и партбилет.
А он ровесник века,
Ему семнадцать лет!

Семью штыками блестит конвой.
У парня руки за спиной.
Но если ягодку одну
Сорвать губами на ходу!

А унтер зол подвыпивший,
Выстраивает взвод...

А он стоит под вишенкой
И бровью не ведет!
Расстаться с жизнью в семнадцать лет!
Куда уж горше — спору нет!
А все же ягодку одну
Сорвал губами на ходу!

Смеясь, он смотрит на воду,
На рябь за тростником
И кисленькую ягоду
Катает языком...

(Блажен, кто дар имеет
Смеясь на жизнь смотреть!
Но трижды, кто умеет
С улыбкой умереть
За долю всенародную,
За Родину свободную!)

Стучит зубами седой казак:
Такое дело! Он видел, как
Мальчишка ягодку одну
Сорвал губами на ходу!..

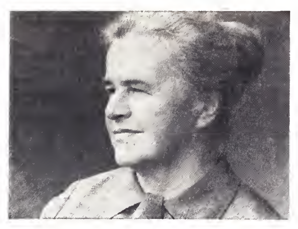
Вспорхнул скворец разбуженный,
Пустился наутек!..
Из ягодки прокушенной
Вишневый брызнул сок...
Кровиночка скатилась,
Упала и в пыли
В комочек превратилась,
В подобие Земли!..

Когда его убили,
Вишневые сады
Под корень все срубили
За красные плоды!
Казак работал топором,
Рассвирелев, забыв о том,
Что парень ягодку одну
Сорвал губами на ходу...

И был бы весь, ребята,
Весь, в сущности, рассказ
Про храброго солдата,
Похожего на вас,
Про молодость суровую,
Про ягодку вишневую...

Но только так уж вышло,
Так вышло, что весной
Возникла за ночь вишня
В том месте над рекой.
Промчались тучи дымные,
Ударил первый гром,

И крылья лебединые
Раскрылись над бугром!..



Наталья
БАРАНСКАЯ

ЧЕМУ РАВЕН ИКС?

РАССКАЗ

Рисунки Е. МУХАНОВОЙ.



Почтн год продолжалась эта нстория. «Многосерийный детектив без начала и конца», как сказал Валя. Мы сыгралн в этом фнльме по нескольку ролей: потерпевших, свндетелей и даже сыщиков.

Началось все с Марнны. Кто из нас, семерых сотрудников отдела, был на месте, теперь не скажу, не помню. Софья Васильевна была точно, новенькая была — эта остриженная,— и, кажется, еще не ушла Лнда Веселкнна, дорабатывала последние днн — уходила в декрет.

Марина полезла в свою сумку, такую бокастую, с громким замком. Открыла ее, покопалась, вскрнкнула, будто палец уколола, н тотчас глаза у нее налились слезами и по щекам поползли темные полосы — размылась тушь.

Когда Марина закричала, Лида вздрогнула, рассердилась: «Господи, можно лн так пугать?»— а Софья Васнльевна спросила спокойно, не поднимая головы от стола: «Что там у вас случнлось?»

Марнна затрясла головой так, что вся укладка разошлась. Она вообще очень темпераментная, Марнна. Трясет головой, слезы льются, роется в сумке, что-то бормочет. Я ей крнкнула:

— Ну?! Говори — что с тобой?

— Зарплата... Все мон деньгн... Исчезлн... Укралн зарплату...

— Укралн?!— Софья Васильевна подскочнла даже.— Что вы хотнте зтнм сказать? Почему вы позволяете себе делать такне заявления?..

А я подошла молча, схватнла ее сумку, перевернула н хлопнула по дну. Из сумкн высыпались на стол пудреница, помада, тушь, бумажные салфетки, катушка н наперсток, старые мятые бнлеты — автобусные, кнношные, железнодорожные, две конфеты «Мншка», маннкюрные щнпцы, пнлочка, профсоюзный бнлет, зеркало, два скомканных носовых платка, гребенка н свернутые клубком чулкн.

— Вот теперь спокойно нщн,— сказала я н стала смотреть, как Марнна перебирает свое добро.

Даже чулкн заставила развернуть. Она больше не плакала. Лнцо у нее было злое. Сложнв все обратно в сумку, она ехндно посмотрела на меня:

— Ну что, товарнщ профорг, вы теперь убедились, что денег нет?

Злнться на меня было глупо. Я ведь только помогала ей нскать толково, а не копаться по-курнному.

— Убеднлась,— ответила я спокойно.— Однако зто совсем не значнт, что деньгн украдены. Может быть, ты нх потеряла. Вспомни, куда ты заходила после получки?

Софья Васильевна меня поддержала — во всех подробностях хотела она восстановнть путь Марнны от бухгалтерин до отдела, со всемн встречами, заходамн н переходами.

— Идем нскать! — Я дернула Марнну за руку, не дослушав Софью Васнльевну.

— Какая чепуха!—восклнкнула Марина.—Куда мы пойдем? Зачем? Я сначала занесла сюда сумку, потом взяла кошелек с мелочью, пошла в буфет, а на обратном пути заходила... Да, я заходнла, н не в одно место, но денег-то со мной не было. Был только кошелек, вот он даже лежнт отдельно — в столе. Можете проверить.

Тут вдруг встала наша новенькая, приоткрыла рот, вздохнула, н вид у нее был такой, будто она хотела что-то сказать, но передумала. Я заметнла, что она побледнела.

— Мила, что с тобой?— спроснла Лнда Веселкина.— Не переживай — такие пронсшествня у нас не часты.

Это было сказано полушутя, ничего подобного у нас никогда не случалось.

Мила была Лидиной кандидатурой — она ее привела на свое место. Похоже было, что не очень хорошо Лида ее знает. Я спросила тогда, почему эта девушка острижена под машинку, да еще какая-то проплешина у нее на затылке. Лида замялась: неудобно, говорит, спрашивать. У нее, говорит, были неприятные переживания, кажется, какая-то кража... Впрочем, подробности неизвестны. Вернее, Лида не спрашивала, а Мила очень молчаливая, но работник хороший, умница — они учились вместе. Ясно, что Лида не в курсе жизни Милы. По правде говоря, мне эта Мила не понравилась — длинноносая, угрюмая, похожа на новобранца. Да и скучная: за неделю слова ни с кем не сказала — только «да», «нет», «здравствуйте» да «прощайте».

Так вот, я тащу Марину к дверям.

— Все равно идем искать!

А сама думаю: не искать, так хоть вправить ей мозги, видно, она не понимает, что людям не сладко, когда их обзывают ворами прямо в лицо.

Но не успела я взяться за ручку, как дверь раскрылась, а за ней Викентий Иванович, наш начальник. Открыв дверь, он, конечно, шагнул назад, уступая дорогу «дамам». Он человек старого воспитания, необычайно вежливый, как говорит Софья Васильевна, «деликатный». И тут Марина опять уперлась, выдернула руку из моей и сказала громко:

— Оставь меня, Женя, куда ты меня тащишь, это же глупо!

Я поняла, что сейчас произойдет. Викентий Иванович прислушивался к нашему разговору. Само это ожидание в дверях заставляло его слушать. На лице его уже появилось вопросительно-взволнованное выражение. Он не переносил резкостей, ссор, обид, женских слез и прочих вещей. Если Марина скажет еще одно неосторожное слово, придется объяснять Викентию Ивановичу, что случилось. А этого делать нельзя. В прошлом году у него был инфаркт, мы его берегли. Но Марина, конечно, забыла все на свете, кроме своей неприятности.

Тут поднялась Софья Васильевна и сказала:

— Вы, девочки, выясняйте свои личные дела в коридоре, а у меня важный вопрос к Викентию Ивановичу, так что вы нам, пожалуйста, не мешайте.

И она заулыбалась Викеше, подойдя к его столу и как бы приглашая его занять свое место за этим громоздким сооружением с толстыми тумбами, украшенными резьбой,— настоящим столом начальника хотя бы и такого скромного отдела, как наш ОХТД, что означает попросту отдел хранения технической документации. Впрочем, в большом проектном институте отдел немаловажный.

В коридоре Марина устроила мне тихий скандал. Она шипела, как змея: зачем я делаю из нее дуру? Она еще не склеротическая старуха, как некоторые, и отлично помнит, где была и что делала эти два часа после получки. Мало того, что она лишилась денег и должна голодать две недели, так ее еще хотят представить полной идиоткой. Она опять захлюпала, и мне стало ее жалко. Мы знали, что она живет совсем одна, что все ее близкие где-то в Бердянске, откуда ей пришлось чуть ли не бежать, спасаясь от мужа. Я сказала, что мы соберем для нее сколько-нибудь денег.

— Нет! Нет!— закричала она.— Я не нищая и ничего от вас не возьму.

Ушла Марина из комнаты в слезах, а вернулась с громким смехом. Когда мы еще стояли там, в коридоре, проходил какой-то дядечка, взглянул на Марину — портфель уронил. Поднял, пошел, оглянулся и опять уронил. Марина расхохоталась, и я тоже. Мужчины от нее как-то мгновенно обалдевают. Чертовски она привлекательна, а чем—не поймешь. Глаза враскос, как у зайца. Толстогубая. Но гибкая, легкая, шумная — совсем, как ветка на ветру.

Деньги для нее мы все-таки собрали, и она взяла, даже растрогалась.

С этого дня «тихую заводь»— так прозвали наш отдел в институте — начали сотрясать бури. И вскоре все оказались осведомленными о наших делах, и остряки стали переделывать название ОХТД, так и эдак переплетая слова «хищения» и «деньги».

Информация шла снизу вверх (мы занимаем вместе с фотолабораторией полуподвал) не только через тетю Степу, нашу уборщицу, но и от нас самих. У каждого из нас были друзья-приятели в «верхних» отделах.

Ясно, что Викентий Иванович оказался в курсе. Софья Васильевна старалась его успокоить и просила нас при нем говорить о неприятностях как можно меньше. Меньше и спокойнее.

Через две недели пропала моя получка. В отличие от Марины, я совершенно не могла вспомнить, где была моя сумка от двенадцати часов до конца дня. Только перед самым уходом я обнаружила пропажу. Человек я аккуратный, в делах у меня полный порядок. Порядок я люблю и ценю. Считаю, что с ним легче жить.

Если бы я обнаружила раньше, что денег нет, я, вероятно, ничего бы не сказала. Но это случилось в последнюю минуту перед уходом, все уже собрались, Валюша и Валя стояли рядом со мной, ждали. Валюша спросила нетерпеливо:

— Что ты там ищешь, Женя?

А Валька добавил шутовским тоном:

— Уж не пропали ли у тебя деньги, ведь сегодня получка!

Наступила полная тишина, и в ней прозвучал взволнованный голос Викентия Ивановича:

— Что вы говорите, Валентин Николаевич? У Евгении Георгиевны пропали деньги?

Просто идиот этот Валька. И я тоже. Стою и ничего не говорю. Тут все загалдели разом. Марина бросилась ко мне с расспросами. Лида, оказавшаяся тоже здесь — она приходила за деньгами,— страшно разохалась. Степанида Ефремовна (и она была тут!) начала подавать советы:

— Да ты в карманах-то поищи, в карманах.

А где они, карманы? Валюша стала убеждать меня, что я забыла за всеми делами получить зарплату, а Валя вдруг принялся орать:

— Вы все, бабы, дуры, не можете свои деньги держать при себе, вечно у вас с этими сумками...

За голосами Вали и Степаниды Ефремовны нельзя было расслышать Софью Васильевну, было только видно, как она шевелит губами и рубит воздух рукой.

Одна Мила сидела молча, опустив голову, и смотрела упрямо в чистый лист ватмана, развернутый на столе.

— Замолчи! — крикнула я Вальке.— При чем тут наши сумки? Два года я не думала о своей сумке, и все было хорошо. А у Софьи Васильевны ничего не пропадало десять лет. При чем здесь сумки? — Тут я взяла себя в руки и сказала спокойно: — Вообще-то я выходила в перерыв в магазин, могла и потерять. Так что очень прошу — не будем ничего обсуждать!— Я повернулась и вышла, следя за осан-

кой и выражением лица «под занавес», как посредственная актриса.

На улице меня тотчас нагнали Валюша и Валя. Валюша — чудесная девочка, но слишком идеальная — по доброте. Ей хочется, чтобы все было хорошо. Она просто не выносит, когда что-то неблагополучно, и расстраивается. Не хочет, чтобы у нас таскали деньги из сумок, поэтому говорит мне, что в магазинах всегда толкучка и действительно легко что-нибудь потерять.

Валька ее перебил:

— Неужели ты не поняла? Женя все наврала — не была она ни в каком магазине.

— Но как же тогда пропали деньги? — удивляется Валюша.

— Очень просто,— отрезал Валя,— у нас в отделе появился вор.

— Господи, какой вор полезет к нам в отдел? — продолжала удивляться Валюша.— У нас же одни папки и рулоны на стеллажах и никаких ценностей.

Валя посмотрел на меня, как бы говоря: «Вот полюбуйся на нее — как хороша и как глупа!»

— Ладно, ребята, хватит,— сказала я тоном старой мамаши. Странное дело: все мы одногодки, а почему-то распоряжаюсь я и ворчу всегда тоже я.— Не будем говорить про воров и постараемся быть поаккуратнее, а если вы вдвоем одолжите мне десятку до семнадцатого, будет очень славно.

Они пытались дать мне по десятке каждый, но я взяла только у Валюшки. Все мы студенты-вечерники, но мы с Валей — самостоятельные, а Валюша — папина дочка, и папа у нее доктор наук.

На следующее утро мы поговорили с Софьей Васильевной и решили: разговоры о происшедшем пресекать, я от своей версии не отказываюсь, сумок в отделе не оставлять. Посреди разговора мне показалось, что Софья Васильевна хочет меня о чем-то спросить, но она не спросила и только в конце, вздохнув и помолчав, сказала, как бы переключаясь на другие темы:

— Да, я ведь любопытная, а вот все не соберусь спросить, почему это Мила острижена под машинку? Лида тебе не говорила?

Я ответила, что не знаю. Хотела еще добавить, что и знать не хочу: несимпатична она мне. Но остановилась: лучше, подумала я, Милу сейчас не обсуждать.

Мы действительно стали поаккуратней с деньгами, благополучно перевалили через три получки, стали постепенно забывать о неприятностях и переключились на подготовку к первомайским праздникам. Обсуждали всякие хозяйственные проблемы, и как успеть причесаться и сделать маникюр. У меня, Вали и Валюши хватало еще забот и по комсомольской линии: готовился вечер, надо было выпустить праздничную стенгазету и сделать цветы для демонстрации.

Цветы распределили по отделам. Нам достались маки — пятьдесят гигантских красных маков из бумаги на стеблях из лозы. Не помню уж, в какой день я попросила остаться после работы Валюшу, Марину и Милу помочь делать маки. Валюша согласилась сразу, хотя и сказала, что собиралась искать пальто. Мила ответила угрюмо, что может остаться на полтора часа, не больше. Марина начала капризничать: ей придется отменять встречу, это неудобно, там нет телефона. Потом неожиданно согласилась. У нее вечно встречи, гости, кино и свидания, свидания, свидания. Успех! Понятно — она интересная, Валька про нее сказал: «Сексзаряд в тысячу вольт». Недаром в нее стрелял из ревности муж. Именно после этой истории она уехала из Бердянска.

Вот мы уселись вчетвером, я показала, кому что делать. Говорю:

— Девочки, если каждая будет делать одну «операцию» и мы устроим конвейер, дело пойдет быстрее.

Но Мила не захотела принять участие в коллективном производстве. Она села немного в стороне. Мы, конечно, крутили маки и болтали, а Мила делала молча. И получалось у нее совсем неплохо. Даже, пожалуй, лучше, чем у нас.

— Смотрите, какие у Милы красивые цветы! — воскликнула Валюша.

А Мила даже не улыбнулась в ответ. Странно, как это можно не ответить такой девчонке, как Валюшка. Такая она приветливая, такая теплая. И глаза ясные, как у ребенка.

Марина стрельнула искоса глазом в Милу, подмигнула мне, и лицо ее вытянулось, стало строгим, печальным, скучным, а левый глаз слегка закосил. Я чуть не прыснула: получилась вылитая Мила, и глаз — подумать только! — глаз у нее действительно чуть косит, а я раньше не замечала.

— Девочки, я продаю шиньон, не надо вам? — сказала Марина, ставшая опять сама собой.

— Мне не надо.— Валюша тряхнула блестящими светлыми кудрями.

— У меня своих на два шиньона хватит,— сказала я.

— Может, тебе, Мила, надо? — Марина, прищурив один глаз, оглядела Милу, как бы решая, подойдет ли ей шиньон.— Я дешево отдам, он мне надоел.

— Не нужно мне никаких шиньонов,— почти грубо ответила Мила.

Я подумала, что она и не знает, пожалуй, что это за штука шиньон.

— А почему ты так коротко остриглась? — спросила Валюша.

— Так. Надо было, вот и остриглась.

— Осторожней, девочки, это государственная тайна. Разглашать такие тайны нельзя.— И Марина прикрыла веки и сжала губы.

— Никакая не тайна.— Мила покраснела.— Просто я болела. У меня было... У меня болела голова.

— А-а-а, болела голова! Это очень, очень серьезная болезнь...— хотела продолжить свою игру Марина, но тут скрипнула дверь, появилась тетя Степа со щеткой.

— Сидите? А я, Женя, к тебе. Вот дело какое. Ляксевна апельсины привезла и вон что удумала. Я, говорит, сейчас на углу стану торговать — на ящиках. Апельсинов, мол, много, поторгую часика два, а завтра буду давать в буфете. Разве это дело, Женя, скажи? Ведь праздник скоро. Кила по два, по три брали бы свои. А она чужим распродаст половину. Все профкомовские ушли, одна ты тут. Поди, скажи ей, ты строгая, она тебя послушает.

Я встала. Конечно, тетя Степа права — надо вмешаться. Неохота очень. Буфетчица Клавдия Алексеевна — языкастая баба, сейчас начнет кричать. Но что делать? Надо. И я иду.

— Женьк, принеси апельсинчика! — Марина смотрит на меня умильно, сложив губы трубочкой. — Очень хочется.

Я смотрю на нее — красоты, как у Валюшки, нет. Но обаяние...

Иду в буфет, не торопясь, и представляю: тетя Степа держит сейчас перед девчонками речь на любимую тему — о преимуществах должности буфетчицы перед должностью уборщицы. Оглянулась, а Степанида Ефремовна идет за мной.



— Ты,— говорит,— Женя, может, уговоришь ее нам сейчас попродавать, так я бы купила ребятам.

А за ней уже летит Марина и на бегу кричит:

— Умираю, хочу апельсишку! Ты ведь из принципа не попросишь, а я всех обгоню и выпрошу!

И, правда, когда я входила в буфет, Марина уже возвращалась, подбрасывая, как мячик, большой огненный апельсин.

Пока я уговаривала Клавдию Алексеевну, прошло минут десять. Уговорила! На лестнице встречаю Валюшу. Вы, говорит, все разбежались, и я пошла к Вале, посмотреть, как они там в КБ рисуют для газеты. Возвращаемся, а в комнате одна Мила, но тут же вбегает Марина, веселая, пахнущая апельсином, и мы садимся кончать маки.

Все уже устали, молчим, одна Марина болтает без умолку. Рассказывает — в который раз! — как муж в припадке ревности чуть не убил ее из трофейного браунинга. Стрелял два раза — первый промахнулся, а вторая пуля попала в медальон на ее груди, отскочила и поранила его в плечо.

Мне показалось, что у нее изменилась в этом рассказе какая-то деталь, но я не смогла вспомнить, какая именно.

Мила слушала этот рассказ впервые. Вдруг она засмеялась. Никогда я не видела даже, чтобы она улыбалась. А тут рассмеялась коротко, и что-то насмешливое, озорное мелькнуло в ее лице и тотчас пропало.

Марина удивленно подняла брови:

— Что смешного? Вот постояла бы минуту под дулом, когда в тебя целятся, не смеялась бы!

Но Мила ничего не ответила, только взглянула быстро на Марину, как бы оценивая: а стоит ли вообще в нее стрелять?

К восьми часам цветы были готовы, и мы разошлись.

А в девять мне позвонила Валюша. У нее пропали из сумки сто пятьдесят рублей, которые отец дал ей на пальто. После работы она собиралась съездить в магазин.

Я долго растерянно молчала, прежде чем спросить, когда она заметила, что денег нет.

— Как только в троллейбусе взяла билет, села, открыла среднее отделение в сумке, а там пусто. Как быть, Женя? Папе я сказать не могу. Тебе звоню из автомата, не из дома. Как я жалею теперь, что осталась делать цветы...

Я молчала — что я могла сказать? Я тоже не знала, как быть.

На другой день, когда я рассказала об очередной краже Софье Васильевне, она позвонила в милицию:

— Пора обратиться, куда следует.

Пришел следователь, меня, как профорга, вызвали в местком и оставили нас вдвоем.

У этого парня не было бровей и ресниц, вернее, они были такие светлые, что даже не видно.

— Семенов,— представился он и первый протянул мне руку.

— Горностаева,— ответила я в тон и прямо посмотрела в его глаза — они были почти желтого цвета, и взгляд какой-то пронзительный. Я смутилась.

Семенов хотел выслушать все о происшествиях и о сотрудниках отдела — по возможности без личных оценок. Я постаралась кратко, по-деловому обрисовать положение. Он слушал очень внимательно. Мне показалось, что он совсем не моргает.

— Помочь вам мы не сможем,— сказал Семенов.— Только вы сами в состоянии выявить, кто производит кражи. Путем личного наблюдения. А затем желательно застать на месте. И обеспечьте свидетелей. Тогда порядок. А мы в таких происшествиях не имеем точки приложения сил: наблюдения с нашей стороны невозможны, у собаки нет поля деятельности.

— Хорошо...— растерялась я.— Ну, а можем ли мы, например, устроить обыск?

— Обыск общий — не имеете права. Подозреваемое лицо можете обыскать. Желательно сразу после кражи. И, конечно, при условии наличия свидетелей.

Семенов попрощался со мной дружески и попросил «телефончик на всякий случай». Я дала, не очень представляя, в каком случае может он понадобиться. Впрочем, я была растеряна. Даже не



сразу спросила, как его разыскать, если все-таки он нам будет нужен.

На следующий день не только наш отдел, но и весь институт говорил, что Женя Горностаева целый час беседовала с сотрудником МВД и договорилась о плане мероприятий, который пока, естественно, хранится в тайне.

Разговоры о моей встрече с «детективом» придавали делу какой-то юмористический колорит. Естественнее было подавленное настроение, которое ощущалось в отделе. Только Валька и Марина прохаживались насчет моих «тайных встреч с приятным блондином». Но увидев, что это не котируется, потрепались и замолкли.

Как это противно — кого-нибудь подозревать! Это неприятно уж по одному тому, что если можешь подозревать ты, значит, могут подозревать и тебя. А представьте нескольких человек, связанных

общим делом и подозревающих друг друга. Мерзость!

Семенов меня спросил:

— Подозреваете ли вы кого-нибудь?

Он имел в виду не меня лично, а нас, всех сотрудников. Высказывал ли кто из нас какие-либо соображения — кто может воровать? Я ответила:

— Нет у нас никаких соображений и никаких подозрений.

Софья Васильевна спрашивала более осторожно:

— Женя, а вы что-нибудь об зтом думаете?

Я ей отвечала:

— Стараюсь не думать.

Но от самой себя скрываться не станешь. Конечно, я думала и, конечно, подозревала. Даже имя называла — вот как. И вспоминала, как все случалось. Сходилось всегда на одном человеке. Именно зта личность оказывалась каждый раз наедине с очередной сумкой. Впрочем, можно было и не входить в подробности, а просто подумать: до какого времени не было краж и когда они начались. И опять сходилось на том же лице. Думать об этом было очень противно, а говорить просто невозможно. Я молчала.

Из-за всех зтих историй праздники прошли скучно. Даже на первомайском вечере я не могла повеселиться. В стенгазете был смешной раздел «Подарки», и нам поднесли проект «сумки-капкана». Остроумно, не спорю, но не очень приятно.

Валюша побыла на вечере и ушла, уведя за собой Валю. Мила не пришла совсем. Я должна была устраивать столы. Одна Марина веселилась за всех. Танцевала без отдыха. Щеки у иее пылали, глаза блестели, прическа была потрясающая — с иовым шиньоном темно-рыжего цвета, а в ушах дрожали сережки-подвески под старинное серебро.

Семнадцатого мая украли получку у Софьи Васильевны, а через десять дней вытащили отпускные у «верхней» сотрудницы, которая пришла познакомиться с иовым проектом дворца бракосочетаний.

Тут возникло что-то вроде стихийного митинга. Все хором возмущались, слова осуждеиия жужжали в воздухе, но когда я попробовала перевести разговор на более деловую почву — как, мол, жить будем дальше? — все уиыло замолкли.

— Надо устроить засаду! — воскликнула вдруг Валюша.

— Чтобы предлагать это вслух, надо быть ангелом или... — задумчиво произнес Валя.

Конечно, Валюша — ангел, но так думаю я, а другие?

— Нет, нет,— Валя покачал головой,— тут надо опереться на математику.

На следующий день Валя потребовал у меня табель — сведения о посещаемости, о больничных, график отпусков, а также просил записать дни и часы, в какие произошли все кражи, и — если только могу вспомнить — кто был в зто время в отделе. Затем Валя принялся считать, вычислять, составлять уравнения. Взглянув на его листки мимоходом, я ие удержалась и сказала:

— Количество сотрудников отдела, умноженное иа сумму украденных денег и делениое на число краж, равняется иксу в квадрате.

И мы начали придумывать всякую ерунду и хохотать. Понятно: нам надоело огорчаться, началось лето, мы с Валей собирались в учебный отпуск — сдавать зкзамены.

На третий день, когда все разошлись, я спросила Валю, что же говорит математика.

Ои сказал смущенно:

— Понимаешь, для точного ответа, вероятно, наших данных недостаточно. Но кое-что все-таки выявляется...

— Валька, не темни, говори, что есть. Если хоть что-нибудь есть.

Он развернул свои выкладки, помычал над ними и наконец выдал итог.

— Всего у нас было пять краж. В четырех случаях из пяти результат один, а в одном случае — другой. Вероятно, тут какой-то просчет...

— Да говори же наконец, кто у тебя там — в «результатах».

Валя поднял на меня круглые глаза:

— В одном случае, Женька, страшно сказать: икс равен С. В.

Мы засмеялись.

— «Наука умеет много гитик»,— сказала я.

— Ну, а в четырех остальных икс равен, как ни странно, двум М.

— Как же может быть... два М?

— Вот и я тоже думал, что зто значит? Вероятно, мой метод себя не оправдал.

Валя собрал листки.

— Вполне достоверно только одно: полное алиби одного человека из семи.

— Это уже кое-что. И кто же этот добродетельный?

— Это ты, Женя. Ты абсолютно вне подозрений.

— Мерси. Местком отмечает твою работу.

Я чмокнула его в щеку. И напрасно. Валька схватил меия за плечи и притянул к себе. Я выгнулась назад, закинула голову и закаменела. Его поцелуй пришелся мне в подбородок. Глухая борьба секунды три, и Валька меня отпустил.

Потом он стал глядеть на меня и преспокойно говорить о моем лице, будто рассматривает картину: у меия умные и живые глаза, редкого цвета — темно-серые, красивой формы уши, но самая главная моя прелесть (он так и сказал — «прелесть») — зто ямка на подбородке.

— Иди ты! Столько прелестных частностей означает, что целое совсем не привлекательно.

— Нет, Женечка, нет. Скажу тебе правду: мое сердце колеблется, как маятник, от Валюши к тебе, от тебя к Валюше...

Я засмеялась:

— Тогда выбирай третью.

— Ты хочешь сказать — Марину? Марина — метеор, молиия, вспышка. Вспыхнуть и сгореть? Нет-нет. К тому же она вурдалак.

— Как зто понимать?

— А никак. Не понимай. Ты еще молода все понимать. Ты вообще слишком...— Он осекся и замолк. Потом продолжал раздумчиво: —...и зто единственный твой недостаток. Но самый главный...

— Какой, какой, я что-то не поняла. Ты уж скажи.

Валя поглядел иа меня печально и сказал нехотя:

— Главный твой недостаток в том, что ты чересчур правильная...

«Чересчур правильная» — зто ужасно. Пожалуй, лучше иметь кривые ноги, чем быть чересчур правильиой. Я представила, что лет через десять, двадцать я буду такая же скучная и пресная, как Софья Васильевна. А ямочка иа подбородке — кого она обманет? И мне вдруг стало ужасно жаль, что я не метеор и не вурдалак.

Прошли лето и осень. Началась зима. Спокойная жизнь время от времени взрывалась пропажами, хотя они значительно сократились — мы стали бдительней.

И вот иаконец пришел день, когда все раскрылось. Я верила, что такой день иепременно когда-

нибудь наступит. В конечном счете все открывается, иногда поздно, но все-таки открывается.

Началось с того, что Софья Васильевна обратилась ко мне со странной просьбой помочь ей устроить так, чтобы какой-нибудь час наш отдел пустовал. Сказать, зачем зто ей нужно, она отказалась. «Потом, Женя, потом». А дальше... Впрочем, дальше я просто передаю ее рассказ. Я слушала его дважды. Первый раз она была очень взволнована, а второй уже поостыла и даже подшучивала над собой. Вот что она рассказала:

«Я пришла к мысли, что надо действовать решительно, единолично и тайно. Только так мы освободимся от страшной бациллы недоверия и подозрений, которая подтачивает здоровый организм — наш дружный коллектив. Собственно, для меня не было сомнений, чьи зто дела. Пора было наконец поймать ее на месте. Конечно, зто нелегко и потребует терпения и выдержки. Терпение у меня есть.

Я все обдумала. У левой стены нашей большой комнаты стоит длинный стол под зеленой суконной скатертью. На него мы кладем вновь поступающие материалы, еще не прошедшие обработку — незарегистрированные и неописанные. Скатерть на зтом столе длинная, до самого пола. А посреди комнаты другой стол — круглый, тоже большой. За ним обычно работают посетители с выданными материалами: проектами и чертежами.

Так вот, в день получки (если надо, то два, три, пять таких дней) я решила «отдежурить» под длинным столом со скатертью. А на другом столе буду оставлять свою сумку с деньгами. Обычно среди дня Викентий Иванович уходит наверх, к начальству или в библиотеку. В зто время надо постараться разослать всех по делам. Ясно, что вор (воровка!) следит и ждет именно такой минуты, чтоб было пусто и кто-нибудь забыл сумку.

Вот я поставила сумку с краю, а рядом еще положила тетрадь и карандаш для натуральности. Оставила я в сумке половину денег, а половину спрятала в ящик стола, на всякий случай, чтоб не остаться без копейки. А сама залезла под стол, села у стены и опустила скатерть. Фу, какая там пыль! Халтурит наша Степанида Ефремовна, надо ей сказать. Подстелила газету. Ручку взяла с собой, если придется вылезать при ком-нибудь, скажу, закатилась ручка.

Не представляла я, как мне будет неудобно. Толстовата я для такой позиции. Сесть, спину распрямить нельзя — голова в стол упирается. На коленках, ничком,— кровь к голове приливает. Сижу боком, опершись одной рукой об пол, и рука уже немеет, и бок болеть начал.

Наконец слышу: открывается дверь, кто-то входит. И сразу останавливается. Должно быть, посторонний, увидит, никого нет, и сейчас уйдет. Но нет! Делает шаг. Другой. Пауза. Ага, думаю, смотрят на сумочку, задумались.

Потом еще шажок, еще, и я вижу ноги. Мне казалось, ноги у нее похудее, но, может, отсюда... Ноги остановились, напряглись, потом переступили на месте и расслабли. И вдруг о н а заговорила. Одна, в пустой комнате. И тут я поняла: о н а совсем не она. Другая, и... кто! Меня даже жаром обдало.

Каким-то фальшивым голоском она сказала: «Кто-то опять оставил сумку! — Затем помолчала и потом громче, со злобой: — Дура. Растяпа. Идиотка». И крепкий шаг к столу. Затем слышу смешок, еще смешок — такое ласковое, нежное хихиканье. А затем тихо щелкнул замок моей сумки — так он щелкает, когда ее раскрывают. Шорох, шорох. Ростся! Ну, пора! Я приподнимаю край скатерти и глупейшим голосом говорю слово, которое терпеть не могу: «Привет!»

Но именно в тот момент, когда она, вспыхнув, отдергивает руку — в сжатом кулаке я вижу свои деньги — и отскакивает назад, открывается дверь и раздается ласковый голос Викентия Ивановича: «Мариночка, дружочек, не оставляйте, бога ради, сумку, когда уходите!»

И я пячусь раком назад в темноту. И слышу: «Это вовсе не моя сумка». «Ах, не ваша, тогда закроем ее и уберем». Щелкает замок сумки, и Викентий Иванович открывает ящик своего стола. А Марина говорит громко, нагло: «Опять зта идиотская разболтанность! Оставляют сумку в пустой комнате, да еще и раскрытую!» Резкий стук каблуков, хлопает дверь.

Почему я отложила только половину денег? Какая глупость! А нахальство, а наглость... Ужас!

Тихонько-тихонько, покряхтывая, вываливаюсь я боком из-под стола. Взглянув краем глаза — мне и шею свело,— вижу: Викентий Иванович стоит спиной — и начинаю понемножку подниматься. Руки-ноги затекли. Встаю на колени, потом, держась за край стола, постепенно распрямляюсь.

— Голубушка Софья Васильевна,— слышу я,—что с вами, вам плохо?

— Нет-нет, не беспокойтесь, у меня радикулит,— нашлась я.

— Вам помочь? — Викентий Иванович берет меня под руку и доводит до стула.— А я так задумался, что не слышал, как вы вошли. Представьте, кто-то опять забыл свою сумку на столе! Хорошо, что Мариночка зашла и увидела. Мы ее спрятали.

— Очень хорошо, прекрасно, просто великолепно,— бурчу я.

Викентий Иванович удивляется.

— Вы, кажется, сердитесь? Но ведь вы сами говорили, что не следует оставлять сумки, особенно в дни зарплаты...

— Да, да. Вот что, Викентий Иванович, я хочу выйти на пенсию,— говорю я почти со слезой и сама удивляюсь: что это я говорю и кому говорю?!

— На пенсию? Вы? Ну что вы, голубушка, вы еще полны сил. И как же я без вас? Нет, зто просто невозможно...

Действительно, ему без меня будет трудно.

К счастью, тут появляетесь вы, Женя, и успеваете загородить меня от Викентия Ивановича, ибо по моему лицу текут слезы, а в прическе у меня наверняка паутина, которую накопила там, под крышкой стола, Степанида».

Вот что рассказала мне, а потом еще раз другому человеку Софья Васильевна. И, слушая ее, я подумала: «Не пресная она, совсем не пресная».

— Неужели не она? — Брови мои поднялись, я остолбенела и уставилась на Викентия Ивановича.

Софья Васильевна махнула рукой перед моим носом.

— Боже мой, Женя, что вы так смотрите?... Придите в себя!

Софья Васильевна достала свою сумку из стола Викентия Ивановича, и мы пошли.

— Это была Марина.— Она всхлипнула. Достала сигареты и закурила.

Закурила и я: может, и правда успокаивает?

— Эксперимент не удался,— сказала Софья Васильевна уже спокойно.

Я возразила: мы теперь знаем, кто ворует, мы и хотели узнать.

— Да, да, да.— Софья Васильевна кивала головой, и я видела, что результат ее предприятия не принес ей никакого удовлетворения.

— Мы с вами думали о другой, но разве было бы лучше подозревать и дальше ни в чем не повинного человека? — спрашивала я. И с глубоким вздохом отвечала себе тайно: «Лучше бы это была Мила».

— Но как понимать теперь... начало? Вы помните первый случай и как плакала тогда Марина?

— Помню. Вероятно, она хорошая актриса. Судя по самой последней сцене, сыгранной с Викентием Ивановичем при вас, просто талантливая актриса.

И мы стали вспоминать и навспоминали целую кучу хорошо разыгранных сцен — негодования, ужаса, изумления и тихой, горькой печали.

А рассказы Марины? Знаменитое покушение на ее жизнь, бурные романы, приключения с поклонниками, которые клали к ее ногам сердца, костюмы джерси, браслеты, серьги, сапожки и босоножки...

Да, да, да. Мы обе кивали грустно, потому что Марина исчезала, догорала, как бенгальский огонь: еще вспыхивали последние искры, но в наших руках уже чадила серным дымом темная головешка.

Мы вернулись в отдел, зная, что предстоит нелегкий разговор — как, когда, с кем, мы не решали. Знали одно: разговор неизбежен.

Когда мы пришли, все были там, кроме Викентия Ивановича — его вызвали наверх — и кроме Марины. Не успели мы с Софьей Васильевной сесть, как Марина влетела в комнату. Разговор не начался, он вспыхнул и заполыхал, как огонь по сухим листьям — во все стороны сразу.

— Вот ваши деньги! — Марина бросила на стол Софье Васильевне несколько свернутых купюр. Она шла в наступление — неожиданно, напористо, нагло.— Мы, кажется, решили не оставлять сумки на столах. А вы бросили свою сумку, да еще открытую. Хорошо, что мы с Викентием Ивановичем вовремя зашли в комнату. Все ж я решила, что немного попугать вас будет не вредно...

Ее слушали очень внимательно.

— Лжете вы всё,— ответила Софья Васильевна, медленно пересчитывая деньги; я видела, как дрожали у нее руки.— Может, кого-нибудь вам и удастся обмануть, но вы-то прекрасно знаете, что я вас видела. Мы с вами были вдвоем, когда вы залезли в мою сумку. И если бы Викентий Иванович не вошел следом, дело приняло бы совсем другой оборот... Товарищи, я хочу объяснить.— Софья Васильевна поднялась.— Я спряталась и видела из своего укрытия, как Марина залезла в мою сумку. Это ложь, что сумка была открыта! Я хотела узнать, кто ворует, и теперь знаю. В сумке я оставила половину денег, а половину спрятала в столе. Кто желает, может убедиться: здесь, в телефонной книжке, в правом кармашке, лежат тридцать рублей. Марина рассказывает вам бессовестные небылицы. Надо набраться наглости... Надо потерять последний стыд, чтобы... Гадость! Вот гадость!

Софья Васильевна выкрикнула последние слова и тут же упала на стул: силы ее кончились. Она дышала прерывисто, видно, боролась со слезами.

Валюша кинулась к аптечке.

— Не надо капель. Ничего. Сейчас. Пройдет. Я не хочу. Говорите. Скажи ты, Женя. Ты знаешь.

Видно, она боялась, что ее слезы оборвут наш разговор.

Я поняла хитрый расчет Марины: она знала, что мы не будем обращаться к Викентию Ивановичу за уточнениями и разъяснениями, которые могли бы разбить выдуманную ею версию.

Надо было говорить, надо было начать, но я не знала, с чего начать, что говорить. Если сказать, как я вошла и увидела Софью Васильевну в пыли и паутине, непременно кто-нибудь представит ее, полную и коротенькую, вылезающей из-под стола на четвереньках, и засмеется.

И я сказала то, о чем совершенно не думала и что не собиралась делать. Говорю и слышу в своем голосе интонации безбрового детектива Семенова:

— Я должна позвонить следователю, который в курсе всех бывших у нас происшествий, и проконсультироваться. Поскольку вор нами выявлен, пусть дальнейшее решает угрозыск.

Тут вдруг вступает Валюша.

— Женя, а ты можешь быть уверена совсем-совсем, на все сто процентов, что тут нет все-таки недоразумения? Вдруг Софья Васильевна не поняла Марину, вернее, неправильно истолковала ее действия? Как же тогда...

Тогда я рассказала все по порядку, что знала от Софьи Васильевны и что застала сама. Сказала, что понимаю, какое надежное прикрытие для Марины создал приход Викентия Ивановича.

— Лжешь! Лжешь! — Марина вскочила.— Ты говоришь с чужих слов, а это беллетристика, и ничего больше. Ты даже забыла, что меня обокрали первую. Ты прекрасно знаешь, с какого времени начались кражи. Не с моего прихода в отдел. Нет! С приходом совсем другого человека. Ты знаешь какого. И ты и Софья Васильевна подозревали... Вы обе думали на нее, я знаю. Не отпирайся. А сейчас ты вдруг привязалась ко мне. Ты просто завидуешь мне и злишься. Да-да-да, потому что ты никому не нравишься, а я нравлюсь, потому что ты некрасивая, а я красивая, потому что у тебя никого нет, а у меня есть!

— Ну, пошли женские истерики,— сказал Валька.— Замолчи! Давайте кончать. Женя права: пусть этим займется следователь. Звони, Женя, давай. Вот прямо сейчас, не стесняйся.

И Валя подвинул ко мне телефон. Наступила полная тишина. Я заметила, что Мила смотрит на меня пристально. С интересом смотрит. Я набрала номер и попросила Семенова. «Семенов слушает!» — выкрикнул он громко, на всю нашу комнату. Я попросила его прийти тотчас, не откладывая.

— Ну хорошо, для вас. Я это делаю только для вас! — прогудел Семенов.

Не успела я положить трубку, как заговорила Мила. Сейчас я увидела совсем не ту худышку-замухрышку, которая пришла к нам десять месяцев назад. И не только отросшие и закурчавившиеся волосы изменили ее внешность, но и совсем новое — спокойное, гордое — выражение лица, посветлевшего и даже похорошевшего за одну минуту.

— Мне хотелось сказать вам на прощание — потому что наконец я могу уйти отсюда... Хотелось, чтобы вы все знали: я чувствовала, все время чувствовала, что вы подозреваете меня. Я заметила: каждый раз перед тем, как случалась кража, выходило так, что я оставалась одна в комнате. Я стала из комнаты выходить. Но что это меняло? Никто не видел, как я выходила, куда бы я ни пошла — в институте меня не знали, а когда я возвращалась, почти всегда в комнате уже кто-нибудь был. Так вот, я заставала в комнате кого угодно, но не Марину. Она появлялась потом, после меня. А к вам на работу я пришла потому... В общем, у меня была черепная травма, а моя основная работа считается трудной. Я работаю с токами высокого напряже-

ния. Врачи не разрешили мне такую нагрузку. Пока не разрешили. Лида Веселкина позвала меня сюда на время ее отпуска, на свое место: «У нас тихо, спокойно, будешь карточки писать, иногда почертишь немного,— ты же умеешь. А работать легко, и молодежь у нас славная...» Я пошла и вот попала... Но я не могла уйти. Поймите это! Кражи прекратились бы. И для вас я навсегда осталась бы воровкой. Вы говорили бы потом: «Когда у нас работала эта воровка Мила...» Ужасно... Мне было очень трудно. Но я терпела. Я не знала, как быть. Я догадывалась, что это Марина. Но не могла доказать. Хотела поговорить... вот с Женей. Но она смотрела на меня всегда так неприветливо. Никто из вас не общался со мной. Мне казалось, что вы меня не любите. Не знаю почему, но это было так... Два месяца я пролежала в больнице... Меня ударили по голове... Впрочем, я совсем не собираюсь рассказывать о себе...

Не знаю, как другие, а я, слушая Милу, чувствовала себя все больше и больше виноватой. Я подозревала ее, действительно. А почему? Потому что у нее волосы были острижены под машинку? Потому что у нее длинный нос? (Кстати, теперь, когда отросли волосы, он кажется короче.) Потому что пропажи начались с ее приходом к нам? Да что говорить: плохо я разбираюсь в людях.

Вот Марина. Ведь она мне нравилась. А как быстро она стала чужой. Даже как-то слишком быстро и слишком легко. Настоящего огорчения я не испытывала. Почему? Не было и настоящего возмущения. Оно начало расти здесь, сейчас, когда я поняла, что Марина не только воровала, но и подстраивала все так, чтобы подозревали Милу. Подумать только: она «работала» над этим, строила стратегические планы!..

Возмущение мое дошло до высшей точки. Это уже была злость, бешеная злость. Как только Мила замолчала, я вскочила и, ничего не говоря, подошла к Марине. Не знаю, что увидела она на моем лице. Я еще ничего не сделала, не знаю даже, что я хотела сделать. Марина вдруг пронзительно завизжала. Валя бросился ко мне и схватил за руки...

В этот момент дверь открылась и вошел милиционер. Я не сразу поняла, что это Семенов в форме.

— Проводите общее собрание? — спросил Семенов с легкой насмешкой в голосе.— Разрешите?

Он сел и тотчас вскочил. Рыжие глаза его засияли, стали золотыми, и, протягивая руку, он пошел к Миле.

— Товарищ... Товарищ Люда! Рад вас видеть живой-здоровой. Как вы сейчас?

— Спасибо. Все в порядке. Видите — починили.

— На суде вас не было.

— Тогда я еще не вставала.

— Вы в курсе? Одному пять, другому три.

— Спасибо, я знаю. Мне все сообщили.

Мы слушали этот странный диалог с раскрытыми ртами. Семенов заметил наше удивление.

— Вы даже не знаете, товарищи, какая девушка находится среди вас...— начал Семенов.

— Я очень прошу, не надо ничего про меня...— прервала его Мила.

— Хорошо, я не буду рассказывать. Я просто хотел сказать, что вы очень храбрая девушка!

Мила поднялась, будто хотела уйти, но тут же села.

— Все, все...— успокоил Семенов Милу.— Продолжайте, не буду вам мешать, буду слушать.

И он пододвинул свой стул.

Но у нас все было сказано, говорить дальше на тему, что воровать, лгать, клеветать — грех, было уж ни к чему. Я потянула Семенова за рукав и спросила тихо:

— Мы уже знаем, кто. Что нам теперь делать?

— А свидетели есть — два человека? — громко спросил Семенов.— Только один? Я же вам говорил: надо двоих.

Все напряженно молчали. Марина сидела в картинной позе, опираясь лбом на кончики пальцев. Лицо ее выражало обиду и презрение.

Итоги подвела на правах старшей Софья Васильевна.

— Надеюсь, вы понимаете,— она обращалась к Марине,— что работать с вами нам будет неприятно?

— Так же, как и мне с вами,— отрезала та.

Разговор был окончен. Давно кончился и рабочий день. Мы с Валей и Валюшей вышли первыми. Софья Васильевна еще говорила с Милой и Семеновым. Марина шумно швыряла в корзинку бумаги из ящиков своего стола.

Мы шли и молчали. Что-то мешало мне, томило, тянуло назад.

— Что же случилось с Милой?.. За что ее и кто? — спросил Валя.

Я уже знала все из полуминутного разговора с Семеновым. Ночью Мила бросилась на помощь женщине, у которой двое парней рвали из рук сумку. Хозяйка сумки кричала, и Мила вцепилась в одного из жуликов. Их успели задержать. По словам Семенова, «крайняя смелость ее поступков и полная неосторожность привели к удару тяжелым предметом». Кажется, Семенов и вел это дело.

Вот все, что я узнала и могла повторить. Я говорила и чувствовала, что не говорить мне надо, а что-то сделать.

— Интересно, что будет с Мариной? — спросила Валюша и посмотрела на меня.

— Ничуть не интересно. Ничего интересного с ней не может быть.

— Поступит на новую работу. Начнет все сначала,— предположил Валя.

— Купит новый шиньон,— добавила я.— Сменит поклонников.

Мы опять замолчали. То, что томило меня, определилось. Как же я могла уйти, ничего не сказав Миле?

— Прощайте, я иду обратно.

— В институт? — удивилась Валюша.— Зачем?

— Я хочу сказать Миле... Я должна извиниться перед ней.

— Ты думаешь, ей это нужно? — спросил Валя.

— Ей, может, и нет, а мне — очень.

И я побежала назад: если успею, захвачу ее, а нет — догоню на пути домой.

●



Аскад МУХТАР

Девятая палата

РАССКАЗ

Авторизованный перевод Б. БАЛТЕРА.

Рисунок А. ГОЛОВЧЕНКО.

*Жизнь человека мерят
не годами, а делами.*

Новая больница в городке строителей была расположена очень удачно — на солнечной стороне, у подножия гор. Роща тополей отделяла больницу от больших дорог. В летние дни потоки горного воздуха вливались в широко открытые окна.

Сосед Бахрамова по палате, Хаджа-бува, несмотря на тяжелое состояние, был болтлив и назойлив. Покряхивая и постанывая, он непрерывно говорил.

— Да, уважаемый, слабы нынешние. До шестидесяти лет не доживут, а уже стонут: «Сердце, ох сердце...» А вам, дорогой, сколько лет?

— Шестьдесят семь,— ответил Бахрамов.

— Вот видите... А нам в этом году, когда созрел тутовник, исполнилось без двух восемьдесят... И ничего, слава богу, на сердце не жалуемся...

«Храбришься»,— подумал Бахрамов. Он-то видел, что дела у старика плохи. Вчера, когда приходил парикмахер, он даже не смог подняться. Бахрамов выглядел бодрее и лучше, хотя и лежал на спине и ему не разрешали шевелиться.

Вошла сестра — рослая смуглая девушка с продолговатым лицом. Звали ее Мамура.

— Надо лежать неподвижно. Не забыли? — спросила она, поправляя подушку.— Вот так, и голову не очень-то поворачивайте.

— Знаю, доченька, знаю. Тысячу раз это слышу. Но сколько еще так лежать? Никто не говорит...

— Скажем, когда придет время.

По ее глазам Бахрамов видел, что она и сама не знает, сколько ему еще лежать — то ли неделю, то ли месяц. Но на то она и сестра, чтобы успокаивать больных. Правда, за эту палату Мамура не очень беспокоилась: степенные, повидавшие жизнь старики лежат себе, ни на что особенно не жалуясь.

Сестра дала обоим лекарства и вышла. Бахрамов тут же повернул голову. Зеленый склон, поросший травой, подступал к стене под окном. Крупная хохлатка вела по лугу выводок цыплят. Желтые пушистые шарики катились вниз по склону, путаясь в траве, спотыкаясь и падая. У Бахрамова даже повлажнели глаза — такими беспомощными казались ему эти живые существа, доверчиво и радостно бегущие на материнский зов. Бахрамов поднял глаза к небу — он боялся увидеть в нем коршуна или ястреба, но небо было ясное и чистое, просто невозможно предположить, что в этой спокойной синеве может таиться зло.

Вот уже три недели, как Бахрамов неподвижно лежит на спине. Сначала болели поясница и плечи, а теперь тело стало как камень. Бахрамову все давно надоело: и эта светлая палата, и его сосед, и собственная плоть, за которой ухаживали чужие руки,— и он, стыдясь своей беспомощности, покорно подчинялся санитаркам и сестрам. А за окном была жизнь. Он изучил ее до мельчайших подробностей. Это было нетрудно, потому что все ограничивалось видимым в окно пространством. Только небо было безбрежным. Порою, когда он, погруженный в думы, неподвижно лежал, забыв о времени, устремив глаза в прозрачную высь, болтливость соседа становилась особенно невыносимой. В такие минуты Бахрамов старался не слушать его.

— Вот еще один день прошел,— сказал старик, будто радуясь тому, как быстро летит время.— Вон наш благочестивый сосед уже молится... Глядите!..

А чего смотреть? Бахрамов, не глядя, знал, что на краю луга стоит двор с тенистым садом, окружен-

ный колючей изгородью. Хозяин двора, в белых штанах, похожих на аккуратно подрезанные кальсоны, в белой рубашке до колен, с вырезом вокруг шеи, пять раз в день возносил молитвы богу в восточном углу сада.

Бахрамову нравилось, что Хаджа-бува откровенно посмеивался над богобоязненным человеком. Старик, которому было под восемьдесят, меньше всего думал о боге и с удовольствием нарушал запрет корана, уплетая без разбора все больничные блюда.

— Много надежд возлагает на тот мир, если так исправно молится. Мне бы хотелось подольше задержаться на этом,— продолжал Хаджа-бува.

Бахрамов улыбнулся. Жизнелюбие соседа было неиссякаемым.

— Да, надежда,— сказал Бахрамов, продолжая глядеть в небо.— Чего только не делает человек ради этой надежды!.. Я читал в одной книге, что в Индии старики мечтают умереть на берегу Ганга. Отойти в тот мир возле священной реки — значит прямехонько попасть в рай. Больные и голодные, они неделями лежат возле воды, день и ночь моля бога послать им смерть... Вот какой может быть надежда, Хаджа-бува. Одна, окрыляя, помогает жить, другая гонит навстречу смерти.

— Я не признаю никаких надежд. Миска жирного плова или шашлык из молодого барашка лучше всякой надежды. Я хочу жить, дорогой. И если уж судьба даровала мне столько лет жизни, что̀ ей стоит продлить их еще?

Бахрамов снова улыбнулся.

— Кем вы работали? — спросил он.

— Какая нынче работа, дорогой? — уклончиво ответил старик.— Мы были на многих работах, чем только не занимались... Теперь пришло время пожить. На это и надеюсь.— Бахрамов молчал, и старик, переждав, спросил: — А на что вы надеетесь, уважаемый? Похоже, что вы со мной не согласны?

— Почему? Я не против жизни. Что может быть лучше? Но человек не вечен, и, когда наступает предел, на что же надеяться?

Старик даже приподнялся. Он огладил бороду и с удивлением уставился на соседа.

— По-вашему, вон тот прав? — Старик показал высохшим пальцем в окно.

— Нет.— Бахрамов улыбнулся, прикрыв глаза.— Моя надежда — в будущем... Не в том, а в этом мире. Умру я, останутся другие.

Старик опустился на подушку, покряхтел и, когда боль успокоилась, сказал:

— Как-то все у вас по-чудно̀му получается: вы умрете, а надежда на будущее останется? В будущем нас с вами не будет, что же там делать нашим надеждам? Это самообман, дорогой.

Улыбка медленно сошла с лица Бахрамова.

— У вас есть дети, Хаджа-бува? — спросил он.

— Эге-е... Вон вы о чем. Есть, конечно. А у вас?

Бахрамов тяжело поднял ослабевшую руку, показал два пальца.

— Были... двое,— сказал Бахрамов.— Война... Жена тоже умерла. И сам вот...

Хаджа-бува устроился поудобней. Взяв с тумбочки мухобойку, долго караулил надоедливо жужжащую муху и, только убив ее, снова заговорил:

— Моих сыновей война пощадила. Все они отделились, живут сами по себе, своими надеждами. При мне остался внук. Да и он, скажу я вам, отрезанный ломоть — упрямый и непутевый...

— Как же так получилось?

— Держал мальчишку при себе, думал, будет опора в старости. Эргашем его зовут. Хотел сделать из него человека, отправил учиться. Не вышло! Пыхтел, кряхтел в городе, провалился на экзамене и вернулся. Пошел работать на плотину. Говорит, поработаю годик, потом снова поеду учиться. Куда там! Если попал на стройку и хорошо работаешь, разве отпустят? Закрутят, завертят. Гнет там спину со своими дружками, а толку?

— Сами говорите — хорошо работает, какой же еще нужен толк?

— А мне от этого какая польза? Нет у меня на него никакой надежды. Потерял Эргаша.— Старик помолчал, что-то соображая, потом сказал: — Нет, не понимаю, дорогой. Детей у вас нет, а думаете о будущем?

Бахрамов не ответил. Он уже некоторое время прислушивался к пронзительному женскому голосу за окном.

— Алишер! Алишер! — звала женщина.

Бахрамов, улыбаясь, поглядывал в окно, ожидая появления Алишера. Он знал, что обычно в это время молодая женщина, невестка богобоязненного человека, разыскивает сына. Ее резвый карапуз без штанов, в красных ботиночках вечно гонялся за всякой живностью, будь то цыпленок, воробей или бабочка. При этом его качало на слабых еще ножках. Он спотыкался в высокой траве, падал, но тут же вскакивал и снова бежал.

— Вы мне не ответили, дорогой,— напомнил Хаджа-бува.

— Не ответил? А что же отвечать? Если у меня не осталось детей, то они есть у вас, у других.

На лугу показался Алишер. На этот раз он гнался за отбившимся цыпленком, растопырив ручонки, а наперерез непокорному сыну бежала молодая женщина. Алишер увидел ее и пустился наутек, как шар, катясь по траве. Женщина подхватила его на руки, и тут же все вокруг огласилось протестующим плачем.

— Пока такой чертенок вырастет, мать прежде времени состарится. Вот и все ее будущее,— проворчал Хаджа-бува.

Бахрамов до самых сумерек не отрывал глаз от окна. Он не отвечал соседу — просто не хотелось разговаривать. Голова была ясная, он лежал, наслаждаясь покоем, впервые за много дней не испытывая тяжести в груди.

Незаметно для себя Бахрамов заснул, даже не выпив снотворного. Ночная сестра постояла над ним, прислушиваясь к его спокойному дыханию, и тихо вышла из палаты.

Проснувшись утром, Бахрамов подумал, что давно уже его сон не был таким освежающе легким и что, пожалуй, есть надежда на выздоровление. Врач на обходе подтвердил, что если и дальше так пойдет, то через несколько дней ему разрешат поворачиваться на бок.

В этот же день состояние Хаджи-бувы ухудшилось. К вечеру он уже не разговаривал, а лежал с обострившимся лицом и стонал, изредка повторяя:

— Умираю, сосед, умираю...

Мамура привела дежурного врача. Он осмотрел старика и велел сделать укол. Хаджа-бува даже не дрогнул. Доктор подождал действия укола, снова выслушал старика и распорядился сделать внутривенное вливание глюкозы. Когда врач ушел, санитарка, помогавшая Мамуре, сказала:

— Зачем мучить человека? Дали бы умереть спокойно...

— Не то говорите,— сказал Бахрамов.

— Это почему же не то? Мучают зря человека. А зачем? Все равно...— Санитарка махнула рукой.

Снова пришли врачи. Теперь их было двое. Бахрамову дали снотворное, и он в полудреме слышал, как всю ночь хлопотали вокруг старика. На рассвете Хаджа-бува попросил:

— Вызовите моих... Хочу проститься.

Больше Бахрамов ничего не слышал, забывшись тяжелым сном.

Утром, открыв глаза, Бахрамов увидел у кровати соседа молодого парня. Он догадался, что это Эргаш. У парня было загорелое лицо, широкие плечи и сильные руки. Он поправил на старике одеяло; заметив, что Бахрамов проснулся, сказал:

— Здравствуйте... Вот ведь беда... Такой здоровый был старик, никогда не болел...

— Спит? — спросил Бахрамов.

— Вроде заснул,— ответил парень.

— Отпросились с работы?



— Ночью не у кого было отпрашиваться. Товарищи сообщат прорабу.

Старик открыл глаза, и обрадованный парень стал выкладывать на тумбочку кульки черешни, алычи.

— Вот, товарищи с рынка принесли, свежие... что ж ты, дед, так оплошал...— сказал парень, ласково поглаживая желтую морщинистую руку деда.

Старик ощупал пальцами черешню, но есть не стал, лежал молча, прикрыв глаза.

Эргаш стал приходить рано утром перед работой. Кормил старика домашними завтраками — где их доставал холостой парень, живущий в общежитии, старик не спрашивал. После работы Эргаш тоже приходил и просиживал до позднего вечера, пока дед не засыпал. Часто, когда Хаджа-бува дремал, Эргаш доставал из кармана куртки клеенчатую тетрадь и решал какие-то уравнения.

Так прошла неделя. Старик быстро поправлялся. Он заметно пополнел. Ему разрешили вставать, и он подолгу бродил в коридорах больницы, но к приходу внука обязательно укладывался в постель. Старик очень много ел. Быстро управившись с больничными блюдами, он брался за лепешки, курицу, колбасу, которые приносил Эргаш.

Однажды, когда Эргаш задержался на работе, Хаджа-бува сказал:

— Где его носит, стервеца? Одни девчонки на уме...

— Вы напрасно его ругаете, сосед. У вас очень хороший внук. Заботливый, умный.

Теперь Бахрамов острее чувствовал свое одиночество. Старик заходил в палату только поесть. Все его рассуждения о жизни свелись к тому, сколько денег он потребует от каждого из сыновей на свое содержание.

— Еще поживем, дорогой,— говорил он и отправлялся бродить по больнице.

Бахрамов радовался, когда сосед уходил. Он мог без помех предаваться воспоминаниям о давно погибших сыновьях и недавно умершей жене, о своей жизни, пролетевшей так быстро.

К вечеру небо заволокло тучами, но дождя не было, и в палате стало душно, как бывает перед грозой. Дежурная сестра закрывала окно, и ветер рвал из рук рамы. Деревья шумели, точно морские волны, где-то в коридоре хлопали створки еще не закрытых окон, послышался звон разбитого стекла.

Бахрамов не спал, чувствуя тяжесть в груди от недостатка воздуха.

Наконец настало утро, и, когда Мамура открыла окно, палата мгновенно наполнилась свежим запахом недавно прошедшего дождя. Небо снова было чистым, там и сям валялись на лугу поваленные бурей деревья. Все казалось умытым теплым дождем. Грудь Бахрамова наполнилась целительным запахом влажных трав, сверкавших под теплым утренним солнцем. Он с улыбкой следил за Алишером, который с радостным смехом бегал по мокрому лугу. Бахрамов подумал, что если бы ему удалось коснуться босыми ногами нагретой солнцем земли, почувствовать щекотное прикосновение мокрых трав — его худосочное тело мигом наполнилось бы жизнью и силой, исходившей от всей этой земной благодати. Он вытер повлажневшие глаза и снова стал смотреть в окно.

Алишер остановился как зачарованный. Бахрамов проследил направление его взгляда и увидел ого-

ленный провод, оборванный ветром и прикрытый сломанной веткой урюка с зелеными плодами.

— Хаджа-бува! Хаджа-бува! Посмотрите, скорее! — крикнул Бахрамов.

Сосед ел дыню, смачно втягивая сочную мякоть.

— Куда смотреть, зачем?

— Мальчик идет к проводу! Уходи! Вернись, Алишер! Сосед, смотрите, погибнет ребенок... Уходи! Алишер, мама зовет, вернись!

Алишер делал вид, что ничего не слышит. Осторожно переступая толстыми ножками, он подкрадывался к ветке урюка.

— Сосед, Хаджа-бува, дорогой, бегите, вылезьте в окно! Мальчик коснется провода! Эй, кто тут есть?! Спасите ребенка! — напрягая голос, кричал Бахрамов. Хаджа-бува подошел к окну.

— Не трогай урючины! Остановись, слышишь?

Мальчик остановился, соображая, что от него хочет этот незнакомый старик. Хаджа-бува погрозил ему пальцем, после чего вернулся на кровать, а мальчик, вновь подкрадываясь к урючине, с опаской поглядывал на окно.

— Хаджа-бува! Алишер! Уходи! Не смей подходить! — снова закричал Бахрамов, страдая от собственного бессилия. Жилы на его шее вздулись.

Хаджа-бува, обзывая мальчика отребьем, маму его блудницей, а деда благочестивой собакой, уселся на кровать и стал обматывать ногу портянкой.

— Хаджа-бува! Скорее, скорее же!

Продолжая сыпать проклятья, Хаджа-бува вынул из шкафа сапоги и, обуваясь, начал счищать прилипшую к подошве старую грязь. Бахрамов отшвырнул одеяло. Опущенные с кровати ноги налились кровью, и, когда он шатаясь добрался до окна, пальцы босых ног кололо, словно иглами.

Хаджа-бува оглянулся, услышав голос Бахрамова уже за окном.

— Алишер! Стой! Стой, говорю! — Бахрамов, босой, в кальсонах, как-то странно бежал по лугу, точно по раскаленным углям, наперерез ребенку.

— Эй, сосед, что вы делаете? Вам же нельзя подниматься! — закричал Хаджа-бува.

Бахрамов перехватил Алишера у самого провода. Мальчик плакал и вырывался, и Бахрамов чувствовал, что у него не хватает сил его удержать. По лугу бежала мать Алишера. Что было дальше, Бахрамов помнил смутно: бешено колотилось сердце, он стоял, опираясь локтями на подоконник, не в силах влезть в палату. Мать Алишера уносила плачущего сына. Хаджа-бува говорил:

— Захватите ветку с урюком, сосед. Зачем добру пропадать?..

Бахрамов пришел в себя, лежа на кровати. Влезть в окно ему помог Хаджа-бува.

— Где вы, сосед? — позвал Бахрамов. Перед его глазами плыли темные круги.— Дайте мне нитроглицерин... Стеклянную трубочку... Откройте...

Бахрамов положил под язык крохотную таблетку. Через мгновение он почувствовал привычную ломоту в висках. Сжимающая тяжесть в груди ослабела. Он глубоко вздохнул, и тут же вернулась давящая боль. Он снова положил под язык таблетку.

Хаджа-бува с любопытством поглядывал на соседа.

— Вам не разрешали шевелиться, а вы прыгнули в окно. Нехорошо, дорогой.

— Теперь ничего не изменишь. Прошу вас никому не говорить... Обещайте...

— Ладно, не скажу... Но не надо делать того, что не велел врач. Посмотрите на себя...

В палату, разнося лекарства, вошла Мамура. Пока принимали лекарства, Хаджа-бува молчал. Но как только Мамура собралась уходить, он сказал:

— Доченька, не уходи... Побудь немного с нами...

Удивленная Мамура посмотрела сначала на него, потом на Бахрамова и только теперь заметила необычайную бледность его лица.

Бахрамов лежал с закрытыми глазами, но по наступившему молчанию понял: Мамура что-то заподозрила. И сказал:

— В самом деле, доченька, побудь с нами, стариками. Молодые подождут. Да и какие здесь молодые? Всем нам одна кличка — «больные». — Бахрамов говорил не только для того, чтобы усыпить бдительность Мамуры. У него неожиданно появилась потребность высказаться. — Человек, доченька, порой очень легкомысленно тратит отпущенные ему годы. Прожив свое, старимся, теряем силы, но, к сожалению, не становимся мудрее. А потом наступает миг, когда вдруг постигаешь смысл всего сущего; прожитые страсти, горе и радость, желания и разочарования сливаются воедино. И тогда ищешь поступка, который помог бы излить собранное в тебе за долгие годы, в последнем усилии ощутить радость избавления от всех ошибок, от всех несуразностей прожитой жизни. И уже нет тебя, а есть вся вселенная, и нечто чернее ночи и ярче солнца застилает взор, и из глаз льются благодатные слезы... Если бы человек мог заранее знать о неотвратимости прозрения! Понимаешь, доченька, человек бы понимал: все, что дает ему жизнь,— непреходяще, все остается, и нет мелочей, которые бы не составляли единого целого с настоящим, прошлым и будущим. Жизнь каждого человека стала бы такой же безграничной, как вселенная.

Бахрамов замолчал, чувствуя, что говорить уже нет сил. Мамура смотрела на него и не узнавала. Она видела просветлевшее лицо, порозовевшие губы с легкой синевой в уголках, и поразилась красоте этого лица, и не могла понять, как это не замечала ее раньше? Неожиданно ее испугала мысль: «Почему он так говорит?»

— Теперь иди, доченька, я посплю.

— Вы себя плохо чувствуете? — спросила Мамура.

— Все хорошо, доченька, все хорошо...

Взволнованная Мамура побежала за врачом.

В коридоре она увидела молодую женщину с мальчиком. Женщина держала в руках букет цветов.

— Наверное, здесь,— сказала она, подходя к двери.

— Что вам надо? — строго спросила Мамура.

— Одного человека. Он спас моего сына,— женщина боялась, что сестра не пустит ее в палату, и открыла дверь.— Ну да, вот он! — указала она на Бахрамова.

Мамура вошла с ней в палату.

— Бахрамов-ака, вы еще не спите? Вам принесли цветы.

— От Алишера,— тихо подсказала женщина.

Мамура подошла к кровати и вдруг, закрыв лицо руками, отшатнулась, выбежала из палаты. В коридоре слышен был ее крик:

— Доктор, скорее в девятую палату!..

Хаджа-бува взял руку соседа, сказал:

— Кажется, опоздали... Он мертв...

К вечеру по лугу, как всегда, шла хохлатка, ведя домой цыплят. Алишер, спотыкаясь в траве, старался поймать отставшего цыпленка.

Ташкент.



Герои «Пушки» встречаются в «Юности»

«Юности» скоро двадцать лет, и все эти годы в редакцию приходили самые разные люди — писатели, читатели, журналисты, артисты, художники. Даже Тур Хейердал и Дэвид Рокфеллер были нашими гостями. Но сегодня вы прочитаете о совершенно необычной встрече. К нам пришли живые герои повести Дмитрия Холендро «Пушка», которая была опубликована в «Юности» в 1972 году.

Прошло два года, но об этой повести до сих пор продолжают идти письма. Сначала писали молодые ребята, теперь же больше фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны. В письмах много теплых слов о «Пушке», о ее героях, вопросы о том, что произошло с ними в дальнейшем. В общем, обычная редакционная корреспонденция. И вдруг пришло три письма от тех, кто служил вместе с автором повести Дмитрием Михайловичем Холендро в одном орудийном расчете. Писали трое из тех, кто 22 июня 1941 года в Западной Украине принял на себя первый удар фашистов, а потом с боями отходил к Днепру,— те самые люди, которых описал автор «Пушки».

Есть в повести страницы, где ее герои мечтают о том, как после войны вернутся домой и обязательно встретятся в Москве. И вот встреча состоялась. Анатолий Никифорович Кедик, Ефим Александрович Якубович, Кирилл Антонович Лысенко и Дмитрий Михайлович Холендро собрались в Москве по приглашению редакции «Юности». Конечно, никто из них не мог предвидеть, что их встреча произойдет не сразу после войны, а через долгие тридцать с лишним лет. Какая это была сердечная, волнующая минута, когда в редакцию один за другим вошли эти немолодые, но еще бравые и крепкие люди! Они бросились друг к другу, обнимаясь и толкаясь, как мальчишки.

Мы публикуем письма бывших пушкарей и стенографическую запись их рассказов. Здесь же автор «Пушки» рассказывает, как родилась его повесть.

Е. Якубович, А. Кедик, К. Лысенко и автор повести «Пушка» Д. Холендро в редакции журнала «Юность».

Фото С. ВАСИНА.

Дорогой Дмитрий! Полностью и от души разделяю каждое слово повести «Пушка», опубликованной в журнале «Юность» за 1972 год, в №№ 3—5. Очень много прошло времени, казалось, многое забыто, но, судя по повести, нет! Я считаю «Пушку» памятником тем минувшим дням. Когда я прочитал повесть, я был рад, просто рад. Она показалась мне родной. Я бы сказал, что в повести на 95% есть то, что мы пережили. Я прочитал ее несколько раз, и восстановилась в памяти вся наша служба!

Самое главное, что написана она, эта повесть, о том, как мы, простые солдаты, переносили все трудности первого года войны. И перенесли! Я делился впечатлениями со своими товарищами. Они тоже воевали и согласны, что получилось большое полотно о тех трудностях, которые пережила наша страна. В душе какая-то гордость и радость, что служба в армии, тяжелое время начала Великой Отечественной войны, участниками которой мы были, не остались без следа. Я рад, что Вам для всех нас, воевавших, удалось это сделать.

Сообщу о себе. Я уроженец и житель Белгородской области, Новооскольского района, Оскольского с/с. Я служил ездовым корня, а сейчас работаю председателем правления колхоза «Путь Ильича». Мы сейчас ведем битву за урожай, дожди очень мешают, но взять его — это наша задача. Всесоюзные соцобязательства по животноводству наш колхоз выполнил.

Прошу извинить, если что не так изложил, ведь я все же крестьянин.

С глубоким уважением

К. ЛЫСЕНКО

с. Оскольское

✪

Дорогой Дима! Как-то я заглянул в папку, где хранятся мои армейские реликвии, в том числе старые фронтовые фотографии. Незаметно прошел вечер, и только голос жены Тани, что пора, мол, спать, вернул меня к действительности.

Теперь у меня есть нечто большее — твоя повесть «Пушка». Спасибо, что вернул меня в дни нашей молодости. О повести можно говорить много. Мне лично приятно, что написана она правдиво, почти так, как это все было.

Мне близка повесть тем, что ты нарисовал портрет нашего поколения. Хотя и были мы желторотыми и не умели так критически рассматривать жизнь, как сейчас, но обладали необыкновенной чистотой. Взамен студенческих нарядов нам дали шинели, и как будто исчезли индивидуальные грани между солдатами. Но какие мы все были разные! Люди деревенского склада, студенты из Москвы, рабочие... Мы разные были по уровню развития, по интересам, и в то же время в выполнении своего гражданского долга мы были одним целым. Шинель роднила самых разных людей.

Я ведь прошел в 41-м году через свой родной город — вы не все знали об этом. Это был город Тульчин, где когда-то жил Пестель. И через этот город я прошел, зная, что в нем остаются мать и брат. Я ушел со своими товарищами воевать, зная, что это мой долг.

Ты показал главное: в нашей трудной жизни у людей внешне самых разных жила под шинелью хорошая, очень добрая душа.

А. КЕДИК

Виииица

✪

Дорогой Дмитрий Михайлович! Прошу принять мои сердечные поздравления с Днем Победы! От всей души желаю Вам и всем Вашим близким долгих лет жизни, радостей и счастья.

Вы не слышали обо мне больше тридцати лет, не знали даже, что я жив. Тем более меня взволновала Ваша повесть. Мы должны встретиться, о многом поговорить...

Остаюсь Вашим искренним доброжелателем — в прошлом Ваш однополчанин, товарищ по «Пушке», а ныне инвалид Отечественной войны II группы, капитан медицинской службы запаса

Е. ЯКУБОВИЧ

г. Москва

✪

Эти письма пришли с повседневной, обычной почтой, среди других читательских писем, и вместе с тем... они и читательские и нет. Они необычные.

Повесть «Пушка», появившись на журнальных страницах, вызвала немало откликов. Матери и сестры стали присылать фотографии юных артиллеристов, погибших или пропавших без вести в сорок первом... Из Ярославля: «Очевидно, повесть «Пушка» автобиографична, в ней описываются места действительной службы в Западной Украине до 41-го года. Мой брат тоже служил в тех местах, и война тоже застала его на даче «Розлуч». Посмотрите, пожалуйста, на фотографию, внимательней, пожалуйста, посмотрите. Не встречали ли Вы его? Как хочется о нем что-то узнать!» Из Краснодара: «Если позволите, я немного напишу о муже, может, Вы встречались в полку?»

«Пушка» — повесть, не документ, но да, она автобиографична. Работая над ней, я вспоминал многих живых и павших товарищей, друзей тех лет...

Читателя всегда интересуют отношения литературы и действительности. «Пушка» заняла в моей работе особое место. Пережитое тогда, в 41-м, по весомости фактов и силе чувств богаче любой фантазии. Память ожила, оказалась перенасыщенной тем, что пишущие именуют творческим материалом. Конечно, требовался отбор. Требовался и домысел, без которого невозможно организовать литературное произведение.

Я должен сразу сказать, что не было в жизни точно такого орудийного расчета — по именам, по характерам,— который описан в «Пушке».

Но было утро, когда по внезапному звонку из штаба дивизии взрезали пакет с красной полосой, когда боевая тревога собрала наш артиллерийский полк под знамя, когда появились в небе фашистские самолеты. Мы стояли у самой границы, у демаркационной линии, пересекавшей Карпаты и разделявшей нас с фашистскими войсками. Первые бомбы, первые могилы... А еще вчера, в тиши казарменной ночи, мы шептались, приглашая друг друга в родные места, раскиданные по всей стране. Война началась за месяц до окончания нашей службы...

Были тяжкий марш через Карпаты, первые оставленные города, на улицах которых хрустело под орудийными колесами стекло, вылетевшее из окон при бомбежках, и первые подбитые прямой навод-

жизни он Ефим. Изменил кое-что в его судьбе, как того требовала работа. Только погибшим товарищам я сохранил в повести подлинные фамилии. Сохранил их в дань памяти. И было легче вспоминать, как человек ходил, как он говорил и даже о чем он думал, потому что мы часто делились своими мыслями. Под своими подлинными фамилиями ожили в «Пушке» те, кого мы по дороге отступления зарыли в землю, желтеющую спелыми, неубранными хлебами, кого потеряли на первых километрах войны.

Фима Якубович пропал без вести в уманском окружении, мы считали его погибшим. И поскольку самой неожиданной явилась встреча с ним, мы просим его первым рассказать о себе



Д. ХОЛЕНДРО (1941 г.).

кой танки с крестами на бронированных боках, бои, переправы, бои...

Были живые люди, юноши, недавние рабочие, колхозники, студенты, которые, прорываясь сквозь кольца вражеских окружений, впрягаясь в лямки, меняя убитых коней на трактора из попадавшихся в пути МТС, тянули свои тяжелые пушки к Днепру и переправляли через Днепр, чтобы драться дальше...

Это были самые первые шаги к победе, хотя дороги, по которым мы шли, вели на восток, а не на запад. Командиры и бойцы, седеющие и молодые (многим не исполнилось еще и двадцати), с разным прошлым, с разными мечтами о будущем, выполняли свой долг, не щадя ни крови, ни жизни. Всех объединяло чувство ответственности за родную землю, за каждый ее пригорок, каждое деревце... Это чувство надо было проявить не в словах, а на деле...

Работая над повестью, я оглядывался на многих.

И вот на письмах знакомые имена: Анатолий Кедик, Кирилл Лысенко, Ефим Якубович. Пушкари, мои пушкари!

Я снова и снова перечитывал письма из Винницы, из деревни Оскольское, из Москвы. Конечно, мы должны встретиться!

И мы встретились. Мы сидим в Москве, в редакции «Юности», смотрим друг на друга, снова кажемся себе молодыми, хотя у всех морщины на лицах и волосы у кого белые, а у кого заметно поредели. Мы вспоминаем ребят, узнаваемых под вымышленными именами персонажей «Пушки». И себя вспоминаем, себя той поры... Нельзя сказать с категорической определенностью, кто из пушкарей, собравшихся сегодня за одним столом, кем «выведен» в повести. И пушкари молчат об этом, не это для них главное. Но я могу теперь признаться, что бесспорно оглядывался на Толю Кедика, когда писал командира орудия сержанта Белку, на Кирилла Лысенко, когда выстраивался образ ездового Сапрыкина, а Якубович... ему оставлена в повести его фамилия.

Кто читал повесть, помнит, должно быть, Веню Якубовича, доброго и внутренне мягкого юношу, помнит, как он боялся коней, впервые столкнувшись с ними на военной службе. Я изменил его имя, в

РАССКАЗЫВАЕТ ЕФИМ ЯКУБОВИЧ — МОСКВИЧ, РОДИВШИЙСЯ В 1920 ГОДУ

— Я начну с того места, где мы расстались. Вы помните, что наша армия прикрывала отход других частей и, значит, несла на себе основную нагрузку. Под Уманью мы попали в котел. Начали выходить мелкими группами... Сейчас все ясно, известно, а тогда я был рядовой, плохо ориентировался в обстановке, все мы знали только приблизительное направление, куда должны были идти...

Было очень жаркое лето, и мы шли, пробираясь по хлебам, иногда ползком, к реке Синюхе, за которой, как мы думали, были наши, свои. Когда мы наконец вышли к реке, то оказались перед стеной огня. Фашисты вели артиллерийский обстрел реки, и вся она была залита кровью. Буквально. И все же люди бросались в реку — кто на снопах, кто на каких-то подручных средствах, а кто просто вплавь. Река довольно большая, и почти все шли ко дну. Дима написал в повести, как я боялся лошадей, случалось, даже плакал во время их уборки — от обиды на свою неумелость. Это правда. Но я еще и плавать не умел. Совсем.

Я с одним пехотинцем укрылся за копной. Пули били по этой копне, но, как говорится, бог миловал. Это было уже к вечеру, мы решили дождаться темноты и как-то отсюда выходить. У нас были очень скудные запасы еды, а в населенные пункты мы заходить не рисковали, чтобы не нарваться на фашистов. Так двигались два дня... Вернее, днем лежали в пшенице, накрывшись плащ-палаткой, а как темнело, шли на восток.

Из пшеницы видели, как по дороге на мотоциклах проезжали гитлеровцы, вся окрестная местность уже была занята ими. На третий день, когда мы лежали в пшенице, нас заметили. Гитлеровцы приказали местным жителям убрать хлеб, но сначала надо было убрать из спелых хлебов трупы, которых было много. И крестьяне увидели, что кто-то лежит, и приняли нас за трупы, но мы услышали украинскую речь, скинули с себя плащ-палатку... Люди оказались свои, хорошие, накормили нас, показали небольшое село, где немцев не было.

Мы узнали, что фронт ушел уже далеко, к Днепру... К селу прошли по кукурузе и подсолнуху... Нас сочувственно приняли, переодели в домотканые рубашки, брюки, картузы, дали нам еды на дорогу, и мы пошли догонять наши части.

Шли по направлению к Днепру, все время, конечно, подвергаясь опасности быть разоблаченными. У нас не было никаких документов. Головы под картузами стриженые. Были разные случаи. Всего не расскажешь, вы утомитесь... Где-то мы работали,

как крестьяне, где-то нас подвозили на подводах... Через месяц мы подошли к Днепру.

И узнали, что враг уже форсировал Днепр. Через него перетягивались фашистская техника, тылы. У нас созрел план — ночью забраться в какой-нибудь фургон, там были большие фургоны, за каждой машиной — несколько прицепов, пусть немцы сами перевезут нас на ту сторону. А там фронт уже близко...

Но здесь нас постигла неудача. Задержали полицаи, потребовали документы и сдали нас гитлеровцам. Мы попали в какой-то временный лагерь, на скотном дворе. На другой день всех погнали к станции Павлыш. Здесь, в лагере, было около 4 000 человек. Никаких помещений, люди, как скот, размещались на земле, получали в день полбанки вареного проса и полбанки воды. Банка маленькая, консервная, вода грязная...

Со станции Павлыш фашисты отправляли пленных в свой тыл. Нашу группу погрузили в вагон, в котором раньше возили каменный уголь. Довезли до Кировограда, оттуда погнали этапом на Умань. Распределили всех на шесть партий, в первых трех — русские, в четвертой и пятой — люди других национальностей, в шестой — евреи. Я скрыл свою фамилию и национальность, шел с русскими, меня прятали от глаз патрульных, мне помогали. На ночь нас загоняли на участок поля, вокруг — патрульные и собаки, не убежишь. Еды никакой не давали, мы ели зерна из колосьев, расшелушивая их в ладонях. Поили нас, как скот, просто загоняли всех по колено в пруд. Представьте себе, какую воду пила шестая партия...

Уманский лагерь размещался на территории кирпичного завода. Он был организован по всем правилам лагерей уничтожения. Никакой, конечно, санитарии, в низких бараках — полно людей, засыпаешь с живыми соседями, обменявшись двумя-тремя словами, а утром рядом с тобой, под тобой или на тебе — кто-то мертвый. Умирали от ран, от истощения, от болезней...

Из способных двигаться отбирали пленных на строительные работы. Я попал в Винницкую область, нас послали на ремонт дорог. Шел я через силу, весь в нарывах, у меня развился страшный фурункулез, живого места на теле не было, белье прилипало, деревенело. Пока удавалось, пока хватало сил, я старался скрывать это, а потом пришел полицай, положил на дохленькую подводу и повез... Я думал, что в последний раз вижу землю, небо, деревья, слышу, как скрипят, натыкаясь на кочки, тележные колеса...

Мы въехали в село и остановились у внушительного дома. Здесь оказалась больница. Не знаю, кто был этот полицай, но он спас мне жизнь.

И в больнице мне повезло, я попал в руки людей с советской душой, меня оперировали под общим наркозом. Фурункулез не прошел, но перелом к лучшему наметился, и я решил бежать.

Главный врач сельской больницы Григорий Можеровский и медицинская сестра Бронислава Окс знали о моих планах и старались всячески мне помочь. Прежде всего снабдили меня элементарной, по мере возможности приличной одеждой. Правда, обувь оказалась не по размеру, мала, но и за то спасибо.

В больницу, на койку рядом со мной, поместили одного полицая, такого громилу, который все время хвастался, сколько он убил комиссаров и евреев. У него была бумажка, что-то вроде вида на жительство, там не было написано, что он полицай, но говорилось, что он имеет право ездить по всей Украине. Он хвастался этой бумажкой с немецкой печатью, никому не давая в руки, а ложась спать, прятал ее под матрац. Я подумал, что если завладею этим «документом», то с ним могу уйти. Куда? В голове было только одно село, где нас накормили и переодели в первый раз: Новая Тышковка. Больше я ничего не знал.



Е. ЯКУБОВИЧ (1940 г.).

Зато я до мельчайших деталей знал, где лежит этот «документ». В большой палате, человек на тридцать или больше, трудно было действовать скрытно. Кто-то стонет, кто-то не спит, кто-то зовет сестру... Среди ночи, намеченной для побега, я забрался под кровать этого полицая, лежал на спине и ждал, пока он повернется. Он то храпел, то переставал. Время, как мне казалось, то тянулось страшно медленно, то бежало так же страшно быстро. Наконец полицай вдруг перевернулся на бок, продолжая храпеть. Я сунул руку под матрац и достал бумажку. Никогда не держал ее в руках, но, казалось, так знал, что мог в темноте прочесть все написанное на ней.

Оделся, попрощался с дежурной сестрой, которая знала о моем замысле, вышел из больницы и пошел. Не зная дороги — шел-то не дорогой, а полем, — я кружил. В рассветном сумраке стали видны окрестности, я наконец сориентировался и с невероятной энергией зашагал от села, чтобы уйти, спрятаться, пока не проснулся полицай, не хватился своей бумажки, пока не организовалась погоня.

Где-то посреди поля я зарылся в скирду и заснул. Проснулся от боли. Хотел двинуться дальше, но не смог, — на ногах совершенно не было кожи, одно кровавое обнаженное мясо. Что же делать? Надо было идти, и я пошел, сцепив зубы. У меня была надежда, что в Новой Тышковке меня вспомнят, устроят. Имени своего я тогда не назвал, а теперь в кармане была бумага, дающая мне право на жительство. Теперь я был Иван Шубин.

Шел и думал, что в селе одни женщины и дети, кому-то пригодится работник, а я буду хорошо помогать по-хозяйству, пока не смогу двигаться дальше, к фронту, и все больше понимал, что никакого работника из меня не получится. Я был весь в крови, в десятках фурункулов. Время военное, все терпели лишения, кому нужно принимать человека, чужого и больного?



К. ЛЫСЕНКО
(1940 г.).

Но нашлись в Новой Тышковке хозяева, которые меня поняли и приняли — тоже мыкнули горя. Это были Татьяна Захаровна и Иван Кузьмич Мариничи. Иван Кузьмич угонял на восток колхозное стадо, но у Днепра фашисты перехватили его, с трудом он вернулся домой. Посмотрел мою бумагу и сказал:

— Оставайся у нас, Ваня, живи.

Он позвал местного фельдшера, Ивана Алексеевича Стромило. Тот долго лечил меня самодельными мазями. Я стал поправляться, еще раз убедившись, что и в лихую годину всегда находятся на нашей земле люди, которые относятся друг к другу по-человечески. Забегая вперед, скажу, что Мариничи приезжали ко мне в Москву, на мою свадьбу. Сейчас их уже нет в живых, сначала пришла печальная весть о кончине Татьяны Захаровны, а на похороны Ивана Кузьмича я сам ездил в Новую Тышковку несколько лет назад. Умер и старый фельдшер.

Ну, вот... Жил я у Мариничей одной мыслью — при первой возможности уйти за фронт, мы с Иваном Кузьмичом не раз говорили об этом, но фронт был далеко. Осложнения? Конечно, были. Например, на каждое село фашисты давали разверстку — сколько человек послать в Германию, на работы. Кого послать в первую очередь? Не родного, конечно, не брата, не свата, снарядили по первой же разверстке незнакомого Ваньку Шубина. У меня еще был в разгаре фурункулез, я пришел на комиссию и только снял рубашку, как немецкий врач заорал: «Вег!» Им требовались здоровые рабы. Так что болезнь меня не только мучила — на этот раз она выручила.

И вот пришла весть, от которой, можете представить себе, как радостно забилось сердце,— наши форсировали Днепр! Фашисты свирепствовали. Мариничи сделали для меня убежище, вырыли яму во дворе, над ней высокой кучей сложили кизяк, забросали навозом. Лаз был сделан в этой куче. Сам хозяин ушел скрываться в лес от фашистов, а Татьяна Захаровна опекала меня и кормила.

Настал день, когда в Новую Тышковку вошли наши передовые части. Я оказался в кругу своих. Прошел необходимую проверку и был направлен в запасной полк. Меня снова послали в артиллерийское подразделение, в топографическую разведку. Это было похоже на второе рождение. Я написал письма родным, что жив. Надо ли говорить, как я рвался в дело, как мне хотелось расплатиться за все, что я видел и сам перенес? С топографической разведкой артиллерийской части я прошел Украину, Бессарабию, Румынию, Венгрию и Чехословакию. Был тяжело ранен, а затем меня демобилизовали.

Остается добавить, что после войны окончил стоматологический институт, клиническую ординатуру по ортопедической стоматологии и работаю в Москве. То, что я сейчас сижу с друзьями, среди которых началась моя военная жизнь, моя служба, война, ее незабываемые для всех нас первые месяцы,— не знаю, как это назвать, это счастье, простите меня за громкое слово.

РАССКАЗЫВАЕТ КИРИЛЛ ЛЫСЕНКО — УРОЖЕНЕЦ СЕЛА ОСКОЛЬСКОЕ, 1919 ГОДА РОЖДЕНИЯ

— Ну, во-первых, я очень рад нашей встрече. Просто хочется еще раз всех обнять, потрогать, чтобы проверить, не сон ли это, что вот опять мы все вместе. Причиной послужила повесть «Пушка». Я не владею литературным языком и не могу так выразить, как хотелось бы, свою радость.

Меня призвали в армию в 1939 году. Это совпало с развязыванием второй мировой войны. Я учился, но пришлось сменить тетради и ручку на оружие. Стал артиллеристом. Я приехал в свой полк на две недели раньше, чем мои дорогие товарищи, и встречал их уже в красноармейской форме. Стал ездовым корня, я ведь был с самого детства знаком с лошадьми, вернее, как в армии говорили, с конями. Жил на берегу речки, где мы, мальчишки, купали коней, село у нас было тихое, правильно об этом написал Дмитрий Михайлович.

Все совпадает — и то, как нас учили летом и зимой, и то, как мы приезжали с учений и замерзшими руками чистили свои пушки и коней. Очень высокая была требовательность, и правильно, — нас готовили к возможной войне. В 1940 году, когда потребовалось, мы сумели сделать быстрый марш-бросок и предупредить фашистское вторжение в Бессарабию и Северную Буковину, преодолели и карпатские вершины и бурные реки Белый и Черный Черемош. Там на скале написаны фамилии русских воинов, которые участвовали еще в походе Суворова. Благодаря нашим быстрым действиям, хоть у нас были тяжелые пушки, вернее, гаубицы, мы их пушками называли иногда для ласки,— все обошлось в 1940 году без выстрелов, мирно. Мы помогли населению Бессарабии и Северной Буковины воссоединиться со своими родными народами, не попасть под фашистское иго.

Перед самым фашистским нападением на СССР у нас, помню, часто были боевые тревоги. Впряжем коней, выедем на позиции. Отбой. Днем и ночью. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года я был в наряде по штабу полка. Вышел на рассвете — шум в небе, самолеты летят. Вспышки зениток. Я — в штаб, оказался у телефона и первым услышал приказ — вскрыть секретный пакет с красной лентой. Сейчас же позвонил по 15-му номеру — до сих пор помню номер телефона — командиру полка. Он приказал объявить боевую тревогу. Сыграли боевую тревогу. Это

уже была не учебная, а настоящая! Всему личному составу выдали новые сапоги, новое обмундирование, каски, все оружие, патроны.

Конечно, была проявлена и беспечность. Мы снаряжались и не успели рассредоточиться, когда на нас посыпались первые бомбы. Было убито много товарищей, которых мы знали и любили. В повести «Пушка» упоминается заместитель командира полка по хозяйственной части, только вы, Дмитрий Михайлович, не назвали его фамилию. Это был интендант 2-го ранга Шпаков. Он был уже пожилой и говорит мне, истекая кровью: «Деточка, накладывай шину». А потом просит: «Заматывай, заматывай, я сейчас нужен, я жить должен». Вот этот эпизод мне запомнился.

Фашисты создали бронированный кулак, им удалось быстро двинуться на Львов, на Тернополь, мы шли почти что по тылам, но сохраняли боевой порядок. Были бандеровцы, которые пытались нас обстреливать с высот, с колоколен костелов, в повести это есть. Но потом меньше беспокоили, поняли, что идет организованная часть и она даст отпор. У нас были хорошие, храбрые командиры. Я помню командира дивизиона старшего лейтенанта Мелешко, он сам заменил раненого наводчика и расстреливал в упор фашистские танки.

Зениток с нами не было, но мы стреляли по самолетам из карабинов и один даже сбили. Летчик выпрыгнул с парашютом, мы его поймали. Это был наш первый пленный, позже-то их много было, не сосчитаешь. А тогда была трудная обстановка, но мы действовали в силу своей подготовки, в духе высокого патриотизма, не поддавались на провокации, на призывы из немецких листовок, которыми нас забрасывали. Мы использовали каждую возможность для отпора врагу.

18 июля был большой бой под Винницей. Мы не смогли удержать нашу линию укрепления, противник ее прорвал. Стали отходить на Умань. Она горела, дымилась от бомб. Там были наши госпитали, и мы видели, как в огне расползались раненые. Мы их подбирали. Кого на пушку посадишь, кому подставишь плечо. Возле Циммермановки, под Уманью, произошло большое сражение. Могу сказать, что на своем участке мы его выиграли, немцы бежали. Были первые трофеи, танки, автомашины. Но через три дня мы узнали, что зажаты в кольцо. Гитлеровцы поставили рупоры, громкоговорители, их за десять километров было слышно. В них несли всякую небылицу почем зря: что сопротивление бесполезно, сдавайте оружие, что Москва взята, все проиграно.

В Умани был убит комиссар нашей дивизии. Но помню, начальник штаба дивизии — он был с нами — полковник Иван Осипович Боровский, участник гражданской войны, сказал: не верьте фашистским словам, все это провокация, продержимся до ночи и пробьемся к своим. Каждому приказал вооружиться гранатами. Мы знали друг друга в лицо, знали характеры своих товарищей, даже адреса, обменивались ими, думая о близких. Создалось подразделение, человек из полутораста артиллеристов. Несколько ночей шли с боями и вырвались из окружения к своим. Как мы были рады!

За Днепром с конями дело кончилось, новые пушки были на тракторной тяге. Я стал старшиной пулеметной роты. Был ранен. Но скоро вернулся в строй. Сила наша укреплялась. Подошел эшелон танков КВ. Несколько ночей не прекращались танковые бои.

Я участвовал в боях у станции Синельниково и под Ворошиловградом. Там мы увидели первые «катюши». Гитлеровцы шли нагло, без всякого рассредоточения. «Катюши» дали залп. И мы увидели перековерканную немецкую технику, все погоревшее. Фашистские солдаты, которые уцелели, сидели отупевшие. Мы ликовали.



А. КЕДИК (1941 г.).

Конечно, общая обстановка была еще тяжелая, мы отступали. Но наносили большие потери врагу.

Позднее часть, в которой я служил, перешла в армию к генералу Павлу Ивановичу Батову. Недавно мы с ним встречались как ветераны сражения на Курской дуге, сфотографировались на память. Наша часть сражалась на Курской дуге. Это было страшное сражение, но мы его выиграли. У гитлеровцев, которые в 41-м хвалились, что Москву взяли, оказалась кишка тонка, извините меня за простое выражение. В нашем полку поймали, между прочим, вражеского сапера, от которого узнали о подготовленном фашистском наступлении. Но наступать начали мы. Наш маршрут был — Осиповичи, Барановичи, Брест. Мы освобождали Брестскую крепость. Потом Данциг (Гданьск), оттуда — на Штеттин, а от него уже до Ростока в Восточной Померании. И там закончились наши боевые действия, потому что была наша полная победа.

Я был еще раз ранен на этой войне, контужен, но сейчас чувствую себя, можно сказать, здоровым, много работаю, болеть, честно говоря, некогда.

Мне хочется вспомнить наших замечательных командиров. Вот у нас был старшина Примак, сверхсрочник, гроза был, а бойцов любил больше себя. В «Пушке» он описан. Помню командира батареи капитана Евстафьева. Он был красивый, преданный и сдержанный. Налетят бомбардировщики, а он следит, чтобы все бойцы укрылись. А сам погиб — бомба разорвалась почти рядом. Вот так было.

Биография моя для нашего поколения типичная. Наша молодость прошла на фронтах Великой Отечественной войны.

После демобилизации я вернулся в свое родное село, поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт, получил диплом ученого-агронома и

был направлен на работу опять же в родное село, в свой колхоз «Путь Ильича», а с 1950 года и по сегодняшний день возглавляю это хозяйство. Выбрали меня председателем. Женился после победы. У меня четверо детей. Дочь Валя окончила Белгородский педагогический институт, работает учительницей, сын Александр — лаборант в техникуме механизации сельского хозяйства, студент 2-го курса Воронежского сельхозинститута, того же, что и я окончил, хочет стать сельскохозяйственным инженером, сын Виктор — механик, сейчас служит в армии, сержанта ему присвоили, младший сын Иван учится на третьем курсе Новооскольского совхозного техникума. Супруга Анастасия Афанасьевна — в школе, учительница. Так вот всю жизнь живу и работаю в родной деревне. Все знакомо, все привычно. Вот теперь только после «Пушки» новость — нет-нет, а и родной сын иногда назовет Сапрыкой...

РАССКАЗЫВАЕТ АНАТОЛИЙ КЕДИК — 1921 ГОДА РОЖДЕНИЯ

— Мои товарищи многое вспомнили о первых днях войны, не буду повторяться. Себя представлю, наверное, это полагается в редакции. Родословная у нас не ведется, но, по рассказам матери, дед мой был крепостным. Большая у нас была крестьянская семья. Я в ней первый получил высшее образование. Это уж, конечно, после войны, а до войны я успел стать студентом института инженеров транспорта, меня не покидала мечта учиться. Все похоже у нас с моими друзьями. Поступил в институт нелегко — долго готовился, а призвали в армию — стал артиллеристом.

И вот читаю «Пушку» и детально вспоминаю нашу молодость. Мы целыми днями были в походах, чистили коней, но приходят часы досуга — и мы мечтали. Помню, Дима как-то сказал мне: «Знаешь, Толя, отслужим и поедем вместе к нам, в Москву, будем учиться. Приедем на вокзал, сядем в такси...» Я знал, что есть такая автомашина, которая возит пассажиров, но никогда не видел ее. Я и поезд первый раз увидел, когда поехал поступать в институт инженеров транспорта.

Но учиться нам не пришлось, началась война. Перед самой войной я был назначен командиром орудия, появились в моих петлицах два треугольничка, стал сержантом.

После Днепра сражался в Донбассе, на Брянском фронте, на Курской дуге. Между прочим, недавно, когда отмечалось тридцатилетие этой исторической битвы, мы встретились там с Кириллом Лысенко, увидели друг друга среди ветеранов. Заговорили о повести «Пушка» и решили написать ее автору, нашему давнему товарищу и однополчанину.

Во время встречи ветеранов на Курской дуге мы с Кириллом Лысенко отыскали один памятный дуб. Возле этого дуба сражался наш товарищ, артиллерист Иван Борисюк. Дуб стоит весь иссеченный, побитый осколками, живой свидетель Курской баталии. Иван Борисюк был старшиной, а потом командовал взводом противотанковых пушек. Его взвод подбил 11 танков врага, в том числе 5 «тигров», новых танков, которых мы еще не знали, не видели. Перед началом боя фашисты протянули на канате деревянный танк. Иван Борисюк улыбнулся и сказал: «Не троньте его, пусть ползет. Они хотят узнать, чем мы располагаем, где стоят наши пушки».

Иван Борисюк нашел у «тигров» слабое, уязвимое место, показал, как их бить. Его представили к званию Героя Советского Союза, но Указ о присвоении ему этого высокого звания пришел, когда он уже погиб. Это случилось за Беловежской пущей, у села Гайловка. Он был тогда начальником артиллерии полка.

Кирилл Лысенко. Можно, я добавлю? Мы с Иваном Борисюком были товарищи, спали рядом, когда были старшинами. Погиб он от снаряда, разорвавшегося почти под его конем. Стали хоронить — фотографии нет. Тогда его товарищ Коля Кисляков, с которым они вместе прибыли из запасного полка, нарисовал по памяти его портрет.

Анатолий Кедик. С работниками райкома партии мы прибили дощечку об Иване Борисюке на памятном дубе. Я сфотографировал этот дуб и решил отвезти фотографию семье Ивана, помня, что у него есть сын. Поехал со своим сыном, которому сейчас столько лет, сколько было мне, когда началась война...

На Курской дуге я был контужен. Не стану рассказывать об этой битве, о ней много написано, она многие красивые шевелюры сделала седыми. Потом был снова Днепр, но уже — с востока на запад, потом Висла и, наконец, победа. Войну я закончил помощником начальника штаба полка, в звании майора...

Лучшее, что я имею в жизни,— это воспоминания о моих товарищах. Я им очень многим обязан. Если я приобрел какие-то хорошие человеческие качества, то это от них.

Во время войны я был, кроме контузии, дважды ранен. Видел много страданий. И после войны решил стать врачом, избрал одну из самых нелегких в медицине профессий. Я занимаюсь лечением калек и убежден в том, что нет калек, которых нельзя было бы лечить, которым нельзя помочь. Вот уже больше пятнадцати лет живу в Виннице, преподаю в медицинском институте. В этом году подготовил кандидатскую диссертацию.

✪

Друзья рассказали о себе, осталось и мне рассказать о том, что было со мной после того, как мы расстались. За Днепром меня вдруг вызвали в политотдел дивизии, сказали, что пошлют работать в газету. Я испугался, хотел удрать, вернуться в родной полк, остатки которого переправились через Днепр. Но старший батальонный комиссар Караев — помню его фамилию — выслушал меня и подписал приказ... о новом месте службы. В уманском окружении погибла вся редакция армейской газеты «Звезда Советов», она срочно формировалась заново. Без всякой уверенности в своих журналистских способностях я стал при помощи одного немолодого наборщика изучать корректорские знаки, чтобы в случае чего пригодиться хоть корректором. Было неудобно на войне заниматься пробой литературных сил...

Так началась моя журналистская дорога. Я работал в газете «Звезда Советов» 12-й армии, в газете «Вперед» 24-й армии, в газете Северной группы войск Закфронта, которая остановила врага на Тереке, затем, в пору перелома в ходе военных действий и наступления, в газете Северо-Кавказского фронта и Отдельной Приморской армии «Вперед за Родину». Писал для «Комсомольской правды» о героях нашего фронта, о высадке Крымского освободительного десанта, о боях за Керчь.

Всю войну я носил в кармане гимнастерки справку о том, что могу без экзаменов вернуться в институт. Когда она истрепалась, я наклеил ее на другую бумагу, а потом — на картон. Очень берег, но

воспользоваться ею не пришлось, она и сейчас лежит в моем столе.

Через десять лет после войны я закончил Высшие литературные курсы для членов Союза писателей СССР. Уже были изданы мои первые книги. А к военной теме все не прикасался: она казалась святой и непосильной, не терпящей ни одного неточного слова. И вот — «Пушка».

Должен заметить, что из нашей батареи еще несколько человек стали писателями, и в этом нет ничего удивительного, потому что добрая половина ее была сформирована из студентов Московского института истории, философии и литературы и других институтов. Вот наши батарейцы-писатели: Иван Мележ, белорусский прозаик, недавно получивший Ленинскую премию за «Полесскую хронику», Иван Карабутенко, ставший прекрасным переводчиком украинской прозы на русский язык, Яков Костюковский, хорошо известный читателям и зрителям по своим сатирическим стихотворениям и сценариям кинокомедий «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»...

В армейских и фронтовых редакциях я познакомился и работал вместе с Борисом Горбатовым, Петром Павленко, Эффенди Капиевым, Виктором Ардовым, Ильей Сельвинским, Дмитрием Прикордонным и не могу не вспомнить их добрым словом.

А первым моим литературным редактором и наставником на войне был Леопольд Железнов, в ту пору — заместитель редактора газеты «Звезда Советов» (он тоже присутствовал на нашей встрече в «Юности»). Помню, как в одном из сел за Днепром я устроился под деревом и стучал одним пальцем по клавишам пишущей машинки, когда за плечами вырос высокий незнакомый человек со «шпалой» в петлицах и спросил, над чем я тружусь. Это были стихи. Железнов прочитал, поговорил со мной, попросил не краснеть, а поправить какие-то строки и послал стихи в набор. Так я появился на страницах фронтовой печати...

«Пушка» вернула мне друзей тех лет. Конечно, не для того она писалась, но из-за одного этого я благодарен той минуте, когда отважился взяться за военную повесть.

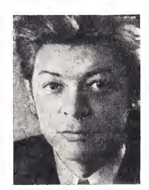
Я увидел, какими хорошими, настоящими, надежными остались дорогие мне люди. У председателя колхоза Кирилла Лысенко — два ордена Трудового Красного Знамени за успехи на оскольской ниве. Анатолий Кедик — это я узнал уже после нашей встречи — недавно защитил кандидатскую диссертацию. Ефим Якубович — стоматолог высшей категории. За всеми этими внешними признаками успехов — трудолюбие, воля и та стойкая и добрая душа, которая дороже золота.

Хотя все мы уже немолодые — у Кирилла Антоновича Лысенко три внука, у Анатолия Никифоровича Кедика — дочь Лариса, студентка Московского медицинского института, сын Саша, студент Винницкого медицинского института, и внук, у Ефима Александровича Якубовича — сын Саша, поступивший на художественное отделение Московского полиграфического института, то самое, которое окончила и моя дочь Наталья, да, хотя мы уже немолодые — это была встреча с молодостью. И спасибо редакции «Юности», организовавшей ее. Мы уже не потеряем друг друга...

Дмитрий ХОЛЕНДРО

Михаил Яшин





Рижское взморье

На море посмотреть — и возвратиться
в детство!
От радости запрыгать, завертеться,
И не хватает слов,
И не хватает глаз,
Как будто видишь море в первый раз!

Морское волшебство:
то горы, то долина,
То лес из мачт причудливо и длинно.
То будто солнце, то луна.
А иногда и просто — глубина.

Умыться морем!
Смыть с себя всю ложь,
Которую — никак ты не поймешь,
Когда! Зачем! — ты принял на себя,
Наверно, не от злобы, а любя.

И засверкают чистые мечты,
Не тронутые временем почти.
Но явь сопротивляется отважно...
Кто победит, теперь уже неважно.

Парусник

Москва. Никитские ворота.
Апрель. Ручьи, ручьи, ручьи —
Звенит весенняя работа.
Попробуй-ка перекричи!
А я под этот шум и гам
Душой в поток апрельский влился
И по московским ручейкам
В морское плаванье пустился.
Все небо в белых парусах,
И парусами море пенится
И отражается в глазах.
А солнце — ветряная мельница —
Лучами машет в небесах.
Всему и всем наперекор
Вперед мой парусник несется,
Как ураган, как метеор,
Без размышлений прямо в солнце.
Кораблик мой по морю кружится.
А вдруг мы с ним над Атлантидою!..
И сам себе я так завидую!
Пускаю щепочки по лужице.

О доброте

Пишу вам в первый раз, и пишу потому, что не могу да и не хочу остаться в стороне от злободневного вопроса, что волнует не только меня. О чем я хочу написать? О доброте! Да, о том, чего нам подчас не хватает, о чем часто судят неверно, а иногда с пренебрежением. Некоторые, наверное, улыбнутся и подумают о том, что этот вопрос не стоит внимания. Да и потом, о какой доброте идет речь? О жалости? Нет, только не о ней! Жалость противна, унизительна, ведь пожалеть — не значит помочь. Гуманность, доброта, за которой стоит настоящая помощь, поддержка необходимы нам.

В хорошее, благодатное время мы живем: есть все необходимое для содержательной жизни, каждый имеет возможность заниматься любимым делом. А вот доброта, человечность в отношениях друг с другом часто уходят от нас, вернее, мы уходим от них. Одни почему-то стесняются доброты, другие считают ее даже ненужной в наше время.

Хотелось бы, чтобы тема добра и человечности не сходила со страниц книг и экранов кино, чтобы все поняли великое значение доброты.

Нельзя оставить без внимания и животных, как часть природы, как естественных друзей человека. По этому поводу мне вспомнился один случай. Иду как-то по улице и вдруг вижу: у стены многоэтажного дома приютился маленький серый котенок. И таким беззащитным, таким жалким показался мне этот комочек живой души! А потом я увидела, что у этого существа, побывавшего в злых руках, подпалены усы.

Если это сделал мальчишка, то каким жестоким взрослым он может стать в будущем! Не знаю, было ли этому «экспериментатору» известно, что после этого котенок уже не будет иметь такого прекрасного обоняния, какое он получил от своих родителей. Что же, видно, негодяю было приятно мучить котенка и абсолютно все равно, что будет с его жертвой?

Откуда такие берутся?

Нужно, вероятно, на каждом перекрестке кричать таким: «Не губи созданное природой!»

Почаще будем напоминать друг другу о своих человеческих обязанностях по отношению к окружающему нас, и тогда не будет жестокости по отношению к слабым и трусости перед сильными.

Людмила КУДАШЕВА

г. Оренбург, школа № 64.

ПИСЬМО МАЯ

Дорогая Людмила! Я не знаю, в каком классе и как ты учишься, но, думается, знаю, каким человеком ты можешь вырасти.

Да, ты права, подчас нам всем не хватает доброты, дружеской поддержки, оказанной вовремя, просто теплого слова, способного ободрить и поддержать, умного и хорошего совета.

Доброта, на мой взгляд, должна быть не абстрактной, не лениво или сахарно-лимонадной, а подлинной, осознанной. Добрый человек — это сильный человек.

Вот ты пишешь, что как-то на улице ты увидела бездомного, брошенного котенка и у него усы, подпаленные чьей-то злой рукой.

Ты не пишешь, взяла ли ты этого котенка домой, согрела ли его, постаралась ли пристроить в надежные руки.

Может быть, ты это все и сделала, тогда твоя доброта, твоя участливость и отзывчивость оказались действенными, тогда ты сумела принести реальную пользу, тогда о тебе можно сказать, что ты не отмахнулась, не пролила дешевую слезу, а помогла по-настоящему, без жалостных слов и вздохов.

Не требует доказательств аксиома: есть люди добрые, есть злые, и есть еще одна категория, весьма, к сожалению, распространенная, — это люди равнодушные. И я их считаю иной раз даже хуже тех, кто является откровенно злым.

Признаться, больше всего я боюсь равнодушных. Они не откликнутся на добро, но и не помешают злу. Им все едино, все равно, лишь бы их не трогали в уютном мирке собственного, старательно хранимого благополучия и законченного эгоизма.

Нам всем случалось встречаться с различными людьми, и с добрыми и со злыми. Ты не находишь, что о добрых мы вспоминаем куда чаще, чем о злых? Или это присуще памяти человеческой — хранить в своих запасниках больше хорошего, чем плохого? Но, как бы там ни было, мы с благодарностью храним в душе и в памяти все то доброе, светлое, истинно, непритворно дружеское, что когда-нибудь вплотную повстречалось нам.

Сильный и добрый человек никогда не обидит слабого, не причинит бесцельного зла, не поранит резким, грубым словом — ведь словом можно не только поранить, а иной раз даже убить.

Сильному человеку не дано быть равнодушным. Его душа открыта добру и справедливости, и он самой жизнью призван защищать и охранять слабых, нуждающихся в его участии и помощи. Он призван защищать их по праву сильного. По праву доброго, для кого нет чужого горя, посторонней беды, кто до конца, стойко и самозабвенно будет бороться за доброту и справедливость.

Вот все, что я хотела написать. Как было бы хорошо, если бы мы с тобой получили в ответ на свои письма рассказы об активной доброте и о взаимной помощи и поддержке людей.

Твоя тезка Людмила УВАРОВА



В. ДОЛГУШИН. Баркасы уходят в море.

По залам выставки молодых художников Сибири. Омск, 1974.

А. ГОЛУБЕЦКИЙ.
Портрет
Дояра.



Л. ПОЧЕКУТОВА.
Зимний день.



А. ЛЫЖИН.
Фехтовальщики.



В. СИДОРЕНКО. Сибирские пельмени (дерево).



Владимир
ОГНЕВ

ПИСЬМА А. Т. ТВАРДОВСКОГО

«Юность» публикует в этом номере некоторые письма А. Т. Твардовского к начинающим писателям.

Собственно говоря, «начинающий писатель» — категория весьма и весьма условная. Так именуются чаще люди, которые сами считают себя писателями, пробуют, надеются, как правило, связывая с писательством собственные, увы, нередко ошибочные, представления о деле литератора.

Писатель всегда «начинает». И в этом смысле правомерно и понятие «начинающего». Однако для того, чтобы начать, надо иметь дарование. Можно назвать буквально единичные случаи, когда по первым опытам «начинающего» современники проглядели бы талант. Талант всегда находит себе место. Поддержать талант — всегда радостно. И Твардовский мог быть заботливым, бережным наставником, терпеливым воспитателем.

Да вот незадача! Всегда ли мы уделяем внимание тем, кто заслуживает заботы? Не случается ли порой, что подлинный талант-то и обходят своею поддержкой литературные няни, а о людях средних способностей, но поднаторевших в демагогических формулах, пекутся денно и нощно, даже когда те вполне утвердятся в положении «профессионалов»... Это по-настоящему беспокоит.

И «горьковские» традиции помнить надо тоже не суетно, как говорится, к делу.

Часто же под заботой о начинающих понимается совсем не забота о литературе — идет планомерный штурм Олимпа полчищами людей, и приблизительно не имеющих ничего общего с редким дарованием художника. Недостаточная требовательность издателей и редакторов периодических изданий способствует распространению и в печатном виде этой «приблизительно-художественной» продукции... И вот обнадеженный «начинающий» начинает требовать равных прав печатания с той, в самом деле трудно отличающейся от собственных его опытов «литературой», которой почему-то было оказано внимание до него. Этот процесс лавинообразен и, главное, ничего общего не имеет с заботой о будущем литературы, о пополнении ее новыми именами, молодыми силами.

Сама по себе тяга людей к творчеству в условиях демократических основ нашего общества, повышения культуры — явление отрадное. Но тенденция эта плодотворна только тогда, когда не творчество подравнивается под уровень возможностей того или иного желающего писать, а люди, претендующие на высокое звание литератора, подымаются до уровня искусства, которое, как-никак, существует уже века и века.

Публикуя строгие и прямые ответы мастера, большого художника А. Т. Твардовского на письма и рукописи начинающих, редакция понимает, что далеко не всем читателям они придутся по душе. Найдутся и такие люди, кто посчитает письма Твардовского резкими, категоричными. Что ж, тут тоже дело в позиции... Быть приятным, нравиться — легче, нежели говорить правду, как бы горька она ни была. Умолчать спокойнее, нежели высказаться без обиняков. Иные думают, что прямота в разговоре о литературе должна смягчаться соображениями о чувствах того, кого критикуют. Но не проще ли, не честнее так поставить вопрос: а кто защитит «чувства»... литературы? Чувства читателей? И если навязывающий (по наивности ли, по расчету ли на легкую жизнь, или по невежественному самомнению) свои сочинения большому читателю страны не хочет внять голосу предостережений и убеждений, ему следует, я думаю, говорить **в о в р е м я** прямые и недвусмысленные слова. Как это делал А. Т. Твардовский. Для этого надо просто очень любить литературу, понимать ответственность нашу перед отечественной традицией, перед памятью Пушкина, Герцена, Толстого, Достоевского, Чехова... Рядом с их именами, не правда ли, труднее быть «добрым» и «щедрым» в раздаче лавровых венков?

Воспитание патриотизма неотделимо от уважения **к п о д л и н н ы м** национальным ценностям.

«Прошу простить мне резкость, но, обращаясь ко мне, Вы не должны рассчитывать на фальшивую мягкость»,— пишет Твардовский, а в другом ответе говорит: «К плохим стихам я не только могу быть равнодушным, но и просто нетерпимым, потому, что, на мой взгляд, плохие стихи — это то же, что плохие, скверно сшитые сапоги, плохо выпеченный хлеб, тупой нож и т. д.— с той еще разницей, что шить сапоги, выпекать хлеб и т. д. можно научить любого, а писать хорошие стихи научить нельзя — этому можно только научиться».

Отношение Твардовского к таким вещам, как нравственные критерии пишущего, было недвусмысленным. «Вы сообщаете,— пишет он одному из своих корреспондентов,— что Вас издательство заставило «приписать» эту концовку. Но разве меня, читателя, это может заставить изменить свою оценку? Наоборот, такая «жертва» ради того, чтобы только напечататься, не в Вашу пользу».

Если бы художник, к которому обращаются за помощью, мог ответить на вопрос, который часто ставят перед ним, «писатель я или не писатель», говорит далее Твардовский, «слишком все было бы легко». Тут «предъявлять счет некому». Нельзя и надеяться на «легкую жизнь». Надо самому пройти этот путь, быть готовым и к горечи сомнений, недовольства собой, риска, «личного риска», как подчеркивает Твардовский.

В переписке поэта с читателями, которые не только предлагают для отзыва свои сочинения, но и высказывают попутные соображения о литературе, Твардовский не уклонялся от таких же прямых и твердых оценок произведений, о которых шла речь. В том числе и собственных стихов. Крайне важны его рассуждения по поводу жизни и смерти, внезапно перекликающиеся с крылатыми словами Н. Островского: «В том-то и сласть и ценность ее (жизни.— Вл. О.), что она одна у каждого и нельзя ее прожить как-нибудь, спустя рукава,— пишет Твардовский.— Осознание этого — начало того процесса духовного роста, который формирует зрелого человека...» Речь в этом ответе на письмо Ивана Ш. идет, вероятно, о стихотворении, которое помнят все, кто читал Твардовского:

Не знаю, как бы я любил
Весь этот мир, бегущий мимо,
Когда б не убыль прежних сил,
Не счет годов необратимый.

Не знаю, как горел бы жар
Моей привязанности кровной,
Когда бы я не подлежал,
Как все, отставке безусловной.

Тогда откуда бы взялась
В душе, вовек не омраченной,
Та жизни выстраданной сласть,
Та вера, воля, страсть и власть,
Что стоит мук и смерти черной.

И, как бы «пересказывая» эти строки прозою, говорит поэт в письме: «Разве можно ценить жизнь, любить ее и делать ее, как подобает разумному существу,— во благо, а не во вред тебе подобным,— не зная, не имея мужественного и здравого сознания ее преходящести, временности? В том-то и сласть и ценность ее...»

А. Твардовский терпеть не мог пустых, общих фраз. Когда его адресат высказался как-то насчет стихов, «которые звали бы человека на большие дела», Твардовский весьма иронически и с достоинством отвечал: «...Не мне, конечно, судить о том, насколько отчетливо в этом направлении звучит моя поэзия. Во всяком случае, я бы не назвал ее зовущей на малые дела. Иной вопрос: насколько зовуще она зовет».

«Насколько зовуще...» Насколько художественно то, что выходит из-под пера поэта, писателя. Насколько влиятельно слово художника. Насколько оно «проникает» в сердце, сознание читателя. Вот в чем забота истинного писателя-гражданина. Пожалуй, никто другой не высказал столько едких и метких определений для всяческих «певцов-творцов», «отражателей», а попросту говоря, спекулянтов и шабашников от любой идеи, которых здоровый дух, честный гражданский взгляд па вещи за версту отличат от настоящего писателя.

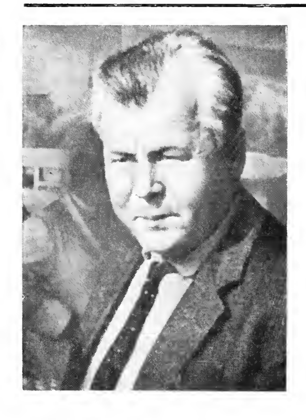
Нравственный опыт Твардовского пригодится сегодня и в спорах о духовности, которые ведет молодежь. «Терпеть не могу этаких упражнений в стихотворном нытье...» — нелицеприятно говорит Твардовский в одном из писем. «Мне чужд и отвратителен... чтобы не сказать более... мотив «Христа», к которому у нас прибегают обычно от глубокого равнодушия к людям, и низкого эгоизма». Лучше не скажешь!

Твардовский не отделял понятий красоты и правды. Когда один из начинающих гордо похвалялся в письме Твардовскому, что ставил задачей своей «показать не ужас и страдание, а красоту и несгибаемость наших людей», поэт заметил: «Разве можно отрывать одно от другого? И что за «несгибаемость», когда нет «страданий»,— несгибаемость — перед чем?» Бесконфликтность всегда хочет рядиться в тогу оптимизма. Но есть оптимизм исторический, есть воля людей к построению справедливого общества, есть героическое искусство и есть спекулятивное устранение... правды ради внешнего подобия «правильности»! Это разные вещи, и молодые писатели должны отличать эти принципиально противоположные по идее два пути: творческий, мужественный, реалистический путь — и путь спекулятивный, приспособленческий.

Вот почему, кстати, Твардовский и отвечал одному начинающему, что «фантастические поэмы» о техническом оснащении сельского хозяйства нас, прямо скажу, не интересуют», «реальность современного научно-технического прогресса в сельском хозяйстве интересует нас куда больше». Он прочно стоял на земле сам и хотел, чтобы искусство не отрывалось от живых нужд времени, живых нужд людей. А все, что так или иначе уводило от жизни, встречало его решительное несогласие. Фантастика — закономерный жанр литературы, но когда то, что можно сделать сегодня, откладывается на далекое, едва ли не фантастическое будущее, Твардовский протестует. И правильно.

Еще один нравственный урок Твардовского. Он сам подходил к действительности непредвзято, не с заранее подготовленным конспектом-планом выводов о ней и не терпел в других волюнтаризма в облегченной подгонке сложной практики к удобным формулам. Когда некая С — ва, взявшая темой дипломной работы «Дом у дороги», выясняла у автора вопросы стиля, метода и т. п., Твардовский назвал такой подход к делу «не всегда продуктивным». «Кроме того,— продолжал он,— мне кажется, что в поставленных Вами вопросах уже содержатся ответы на них, сложившиеся у Вас,— Вы лишь хотели бы получить от меня подтверждение». Творческую работу Твардовский уважал — вот в чем дело. Он был сторонником простого принципа: умеешь — делай, а чужим умом прожить — своего не нажить. Молодой читатель понимает, что принцип этот распространить можно и должно на все участки нашей жизни и работы. Если профессор милостиво ставит свою фамилию перед фамилией своего ученика на его диссертации, он пользуется чужим трудом, в такой же мере, как критик, для облегчения своего умственного напряжения не занимающийся в своих статьях анализом художественного произведения, а лишь паразитирующий на материале статей своего товарища, критика же... Много тут есть примеров, да и этих достаточно.

Публикуя в этом номере письма А. Т. Твардовского к начинающим, мы хотим подчеркнуть глубоко нравственный характер позиции одного из крупнейших деятелей нашей советской культуры. Он по-настоящему воспитывал молодых. Молодых — не только писателей — граждан.



А. ТВАРДОВСКИЙ

«...НЕ ЖЕЛАЮ ВАМ ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ...»

19 января 1954 года

Уважаемый Григорий Наумович!

Я с большим интересом прочел Ваше «Письмо читателя». Задержка с ответом объясняется тем, что я находился в длительном отпуску, в частности, был в санатории, куда мне почту не пересылали, т. к. я страдал переутомлением, бессонницей — всем тем, что сопутствует работе, связанной с чтением «штабелей» рукописей. Словом, я прошу меня извинить за то, что так не скоро отвечаю на Ваше «Письмо», в которое Вы вложили немало труда и доброго чувства.

Я не знаю еще, насколько реальна возможность использования «Письма» в печати, но должен сказать, что в нем есть прямо-таки отличные строки, строфы и целые места. Правда, оно содержит в себе много длиннот, многословия, порой не очень внятного нагнетания слов, как бы некоего «бормотания», что объясняется, на мой взгляд, общим характером импровизированности Вашей стихотворной речи. Импровизатор, будь он хоть бог, вынужден пользоваться «служебными» строчками, чтобы подойти к тем, которые составляют ударную силу его импровизации. Пусть Вас не пугает это слово, я не имею в виду, что Вы просто-напросто сели и накатали эту вещь, но, посудите сами: объем ее едва ли меньше моих «Далей», а срок исполнения, с моей точки зрения, уж очень скорый.

Я думаю, что сократив (резко!) и отжав, как говорится, вещь, сняв с нее налет «импровизации», т. е. серьезно и много поработав над нею, ее можно было бы превратить в горячий и сильный фельетон, в лучшем смысле этого слова. Конечно, речь не о том, чтобы лишить ее лиричности, патетики, т. е. как бы «нефельетонных», в узком смысле, сторон. Вопрос: должна ли она, хотя бы и в таком, мыслимом мною виде, появиться именно на страницах «Н. М.» или еще где, напр., в «Лит. газете»?

Есть и другие трудности с ней, — я имею в виду места слишком автобиографические, по-видимому. Но все дело в «доведении» до некоего уровня совершенства. Тогда все становится победительнее и «проходимее». Нельзя острое только задеть кой-как, а уж надо справиться с задачей до конца. Все это, конечно, я говорю в самых общих чертах и смыслах.

Я передал «Письмо» моим товарищам по редколлегии. Это необходимо хотя бы потому, что оно содержит в себе упрек в адрес автора-редактора. Очень хочу, чтобы у нас с Вами что-нибудь получилось реальное в смысле опубликования вещи в доработанном виде. Что будет из замечаний т. т. — сообщим дополнительно.

Жму Вашу руку

А. Твардовский

17 января 1955 года

Ивану Ш.

То, что названное стихотворение навело Вас на мысль, присущую всякому сознательному человеку с известного возраста, мысль о смерти, о неизбежности личного конца, о великом и вечном законе природы, — это, по-моему, никакой не пессимизм. Разве можно ценить жизнь, любить ее и делать ее, как подобает разумному существу, — во благо, а не во вред тебе подобным, — не зная, не имея мужественного и здравого сознания ее преходящести, временности? В том-то и сласть и ценность ее, что она одна у каждого и нельзя ее прожить как-нибудь спустя рукава. Осознание этого — начало того процесса духовного роста, который формирует зрелого человека, и осознание этого пришло бы к Вам и без моего стихотворения, — классическая поэзия вся проникнута этим мотивом, решением, так сказать, этого вопроса всякий раз по-своему. А что касается стихов, «которые звали бы человека на большие дела», то не мне, конечно, судить о том, насколько отчетливо в этом направлении звучит моя поэзия. Во всяком случае, я бы не назвал ее зовущей на малые дела. Иной вопрос: насколько зовуще она зовет.

Желаю Вам всего доброго.

А. Твардовский

22 апреля 1959 года.

Н — у В. А.

Прочел Ваше пространное письмо и почти все стихи, — почти — потому что читать их мне было скучно и нудно. Я лично (а Вы обращаетесь ко мне именно лично, не к главному редактору, как Вы оговорили свое обращение) терпеть не могу этаких

упражнений в стихотворном нытье, за которым и подлинной боли не угадывается, а только — интеллигентная привычка, начитанность в стихах, — не самых лучших, вплоть до Северянина, — самолюбование, недостойное серьезного человека.

Вы спрашиваете: «Может быть, я шел не туда?» По-моему, именно так: не туда и никуда.

Это бы еще все ничего, простилось бы по молодости, но такие вещи, как стихи о солдатах («Сто сорок будущих убийц») я даже отказываюсь понимать. Мне чужд и отвратителен этот дух «неубийства», чтобы не сказать более, как и мотив «Христа», к которому у нас прибегают обычно от глубокого равнодушия к людям и низкого эгоизма. А «Скрипач» — это старая-престарая сентиментальная мазня, цена 15 коп.

А после этого — вдруг — сахаринистые «Апельсины» — и др. «Сибирские стихи». Крайне нехороши Ваши жалобы на «прозябание» в К. и противопоставление его «большой земле», куда Вам хотелось бы «пробиться».

Не касаюсь Ваших признаний относительно Вашей переводческой деятельности и особых приемов продвижения своих стихов на радио под именем известных поэтов.

Рукопись возвращаю.

А. Твардовский

7 февраля 1959 года.
Дорогой тов. Щ!

Стихам Вашим нельзя отказать в известной литературной грамотности и даже отдельных строчечных удачах. Но в них неприметно, покамест, главного: действительной, настоятельной необходимости их появления на свет. Они от любви к стихам, к процессу их сочинения, а не от любви или нелюбви к чему-нибудь в жизни. Нужно себя проверять: действительно мне так неотложно хочется написать задуманное стихотворение или можно и не писать?

Много еще и просто неловкостей, неточности выражения, случайных или особо «красивых» слов и оборотов. Обратите внимание на мои пометки на рукописи.

А. Твардовский

9 ноября 1960 года.
Дорогой тов. Л — в!

Мне очень жаль, но я могу только подтвердить мой прежний отзыв о Ваших стихах. Вы напрасно думаете, что я «не способен быть таким сухим и равнодушным к любым стихам, какими бы недостатками они ни изобиловали». К плохим стихам я не только могу быть равнодушным, но и просто нетерпимым, потому что, на мой взгляд, плохие стихи это то же, что плохие, скверно сшитые сапоги, плохо выпеченный хлеб, тупой нож и т. д. — с той еще разницей, что шить сапоги, выпекать хлеб и т. д. можно научить любого, а писать хорошие стихи научить нельзя — этому можно только научиться.

Вы негодуете на редакции, присылающие Вам отрицательные ответы и не дающие, мол, конкретного совета, как дальше работать над стихами и совершенствовать их. Но, дорогой тов. Л., в этом лишь сказывается наивность Ваших представлений об этом трудном деле. Не письма из редакций, не консультанты и даже не «знаменитые мастера» учат мастерству и поэзии, а великое множество книг, долгие годы труда — и то при наличии особых данных от природы.

Вы пишете сравнительно грамотные в литературно-техническом смысле стихи, имеете понятия о стихотворном ритме, рифме и т. п. Но таких стихов пишется страшно много, и авторы их, подобно Вам, недоумевают: в чем дело, почему не печатают (а их, к сожалению, иногда и печатают).

Писать стихи — занятие невозбранное никому, но немедленно связывать с этим занятием надежды и претензии на печатание, на заработок, на известность — дело опасное, способное принести большие огорчения, разочарования и даже озлобление.

Вы просите меня «сделать обстоятельный разбор хотя бы одного первого стиха» (нужно было сказать «стихотворения», стих — это одна строчка). В стихотворении речь идет о возвращении с охоты.

С ружьем и сумою, от дичи тяжелой... Строчка эта написалась как сама хотела, а не как Вы хотели бы ее написать. Посмотрите, какие неловкие, случайные, неподвластные Вам слова в ней. У охотника не бывает «сумы», у него — ягдташ или что угодно еще, но не «сума» — «с сумой за плечами» ходят нищие или бродяги («По диким степям Забайкалья»). «От дичи тяжелой» — Вы хотите сказать, что сума от дичи тяжела, а читается, что дичь тяжелая...

Должен ли я строку за строкой разбирать все стихотворение? Нет. Если Вы поймете несостоятельность одной этой строки, то Вы уже многое поймете, а нет, так Вам ничто не поможет.

Возьмем сразу главную, центральную строфу стихотворения.

И радость мою не смущает ненастье,
И рад я охотничьей страдной поре,
Ведь это простое рабочее счастье
Немеркнущим светом взошло в Октябре.

Поверьте мне, если сами этого не способны почувствовать, что «рабочее счастье» и «Октябрь» приторочены здесь к настроению охотничьей радости очень неловко, фальшиво, и, таким образом, «содержание» получается жалкое, несостоявшееся.

Но все это мог бы Вам сказать любой интеллигентный, начитанный человек, даже не имеющий к литературе прямого отношения. Занозив палец, Вы рветесь непременно к «профессору», тогда как с этой бедой легко может справиться любая медсестра, а «профессор» к тому же далеко не всегда имеет возможность принять Вас по такому делу.

Отвечаю Вам так подробно только потому, что Вы усомнились в моей оценке Ваших стихов и нашли мое первое письмо «загадочным». Ничего загадочного, тов. Л. Литература — дело непростое.

Стихи в соответствии с Вашей просьбой возвращаю.

А. Твардовский

21 ноября 1960 года.
Э. Г.

Давно собираюсь откликнуться на Ваше хорошее взволнованное и раздумчивое письмо, но я очень завален делами, рукописями и почтой, так что не обижайтесь и на краткость этого моего ответа.

То обстоятельство, что я, как Вы отметили, по возрасту гожусь Вам в отцы, позволяет мне говорить с Вами в несколько поучающем тоне, хотя, по правде, в таких делах или вопросах, как душевные смятения, поиски и мучения молодости, поучения мало чего стоят.

Одно я Вам хочу сказать: то, что Вы в свои 19 лет — «душа думающая и взыскующая града» — это очень хорошо и, не дай бог, не спешите стать довольной, успокоенной, все понимающей и уравновешенной «средней» душой.

Я не скажу Вам, что завидую Вашей молодости и Вашим трудностям внешнего и внутреннего бытия,—

это было бы лицемерием,— моя молодость была очень трудной, и я знаю, что иные трудности способны и молодость отравить во многом. Но я не желаю Вам легкой жизни, не говорю, что все переживаемое Вами — пустяки, все, мол, обойдется, а там пойдет все хорошо и гладко. Нет, дальше будет все труднее по-своему, как по-своему мне сейчас много труднее, чем в моей трудной молодости. Но человек затем и человек, чтобы находить в себе силы одолевать трудности и обретать в этом, может быть, главную радость жизни.

Ничего Вам не советую. Делайте все, что делаете: работайте, учитесь, читайте, размышляйте, пишите Ваш дневник и все прочее. И будьте веселой, не чурайтесь юмора,— в нем столько спасительной силы. Не отчаивайтесь от неудач, от приступов уныния и неверия в свои силы (без них не живут настоящие люди!), но приучайтесь от всего лечиться делом, каким бы то ни было, но делом, хотя бы чтением, хотя бы работой по дому, да ведь у Вас есть дело, которого оставлять нельзя: Ваша производственная и общественная работа, подготовка к экзаменам в университет и изучение языков.

Наставления мои приобретают характер тех общих фраз, которых Вы, может быть, менее всего ждали бы от меня, но прошу мне поверить, что я не «отписываюсь» от Вашего письма, а отношусь к Вам сердечно и серьезно и очень хочу, чтобы Вам было хорошо.

Будьте же здоровы и счастливы — счастливы тем, что юность Ваша по-серьезному ставит Вам свои трудные вопросы, — значит считает Вас способной отвечать на них, как говорится, с достоинством и честью.

Еще несколько слов.

Вы пишете о своих планах или намерениях написать вдруг книгу о своем поколении, о себе, написать «просто», без выдумки и «прикрас», «как в жизни». Скажу Вам по секрету, что мы все в 19 лет были готовы написать такую книгу «просто», «как в жизни», и нам казалось, что для этого нам только недостает времени. И только с годами мы понимали, что от этих пленительных замыслов до их осуществления 100 тысяч верст труднейшего пути. Нужен жизненный опыт, знания, мастерство, нужно много чего, о чем Вам толковать еще рановато. Попробуйте написать не книгу, не роман или повесть, а всего лишь картинку, очерк окружающей Вас жизни, людей, обстановки, и Вы увидите, как это страшно трудно, как на бумаге получается вовсе не «просто» и не «как в жизни». Словом, с этим я бы не советовал Вам торопиться. Налягте на более реальные задачи, которые стоят перед Вами, а там видно будет.

Желаю Вам всего доброго.

А. Твардовский

28 февраля 1963 года.

Уважаемый товарищ Ж-ва!

Пьесу Вашу прочел, хотя с первых ее страниц мне было ясно, что для «Нового мира» она не годится. Уже сама формулировка задачи, которую Вы ставили перед собой «показать не ужас и страданье, а красоту и несгибаемость наших людей», не обещала ничего доброго. Разве можно отрывать одно от другого? И что это за «несгибаемость», когда нет «страданий», несгибаемость — перед чем?

Но дело, конечно, не в намерениях автора, а в осуществлении их, в том, что и как написано. Скажу прямо — это все очень слабо в литературном отношении. Касаться этой поистине кровавой темы, материала, относящегося к годам беззакония, «ужаса и страданий», касаться этого в плане разрешения банально-мелодраматических любовно-семейных коллизий — дело напрасное. Чем в сущности заняты Вы? Сведением и перераспределением между собой любовных пар ко всеобщему благополучию: эта с этим, тот с той, а такой-то пусть лучше вернется к жене. У меня, читателя (зрителя), от такой подмены «ужаса и страданий» «красотой и несгибаемостью» является только чувство какой-то неловкости за автора, хотя, может быть, он в жизни, на собственном опыте испытал, что такое «ужас и страдания».

А чего стоят такие, например, приемы, как опознавание отцом своей дочери через расшифровку монограммы на перстне, подаренном ей матерью?

Прошу простить мне резкость, но обращаясь ко мне, Вы не должны рассчитывать на фальшивую мягкость. Не имею физической возможности давать более подробный разбор пьесы, но это мог бы сделать не только я.

Желаю Вам всего доброго.

А. Твардовский

21 марта 1963 года.

Уважаемая Е-я Е-на!

Прочел Ваши рассказы — рукопись, которую Вы направили мне после отклонения ее в «Новом мире», прочел и книжечку «Рассказы», и сопроводительное Ваше письмо. Трудно спорить с тем, что письмо-рецензия редактора отдела прозы «Нового мира» слишком лаконична и не могла Вас удовлетворить. Но трудно спорить и с тем, что рассказы слабенькие (среди них действительно несколько лучше других «Обида», но и он скомкан Вами, не доведен до художественного обобщения,— просто жалостный рассказ про хорошую старушку и дурную ее невестку). А ведь в этом суть,— с рецензией дело легче поправить, чем с рассказом.

Не понравился мне и тон Вашего письма. Как бы ни была тяжела Ваша жизненная судьба (а таких судеб немало в литературе), Вы не вправе относить Ваши литературные неудачи за счет Вашей биографии. Не нужно думать, что причина отклонения Ваших рассказов в чем-то ином, чем качество самих рассказов.

Лучший из рассказов книжечки «Родные места», но он опять-таки очень ослаблен фальшивой, слащавой концовкой. Вы сообщаете, что Вас издательство заставило «приписать» эту концовку. Но разве меня, читателя, это может заставить изменить свою оценку? Наоборот, такая «жертва» ради того, чтобы только напечататься, не в Вашу пользу.

Нехорошо в письме и то, что Вы как бы обвиняете кого-то, кто завербовал или заманил Вас в литературу, посулив здесь легкую жизнь, а теперь не выполняет своих обещаний. Никто не заманивал, а жизнь в литературе трудная, полная личного риска, полная неизбежных сомнений в своих силах, частого недовольства своей работой и судьбой и очень редких радостей. И предъявлять счет некому. И ставить вопрос: «писатель я или не писатель?», как это делаете Вы в своем письме,— некому — этот вопрос решает только сам писатель, а иначе слишком все было бы легко.

И, наконец, нельзя, ставя этот вопрос кому бы то ни было, обусловливать ответ на него угрозой: «Тогда я увижу, что мне делать, жить или не жить».

Подумайте, Е-я Е-на, в какое положение ставите Вы меня, задавая мне этот вопрос с таким условием?

Вот все, что могу сказать Вам по поводу Ваших рассказов и письма.

Рукопись и книжку возвращаю.

Опасаюсь пожелать Вам «всяческих успехов», ибо Вы тогда можете и меня обвинить в «духовной тупости». Разрешите пожелать Вам просто всего доброго.

А. Твардовский

28 октября 1963 года.

Дорогой М-й С-ч!

Должен Вас огорчить: Ваша повесть «Проклятие» мне весьма и весьма не понравилась. Я с трудом долистал до конца историю литературно-амурных похождений Вашего «героя», пошловатого, малограмотного и развязного «молодого писателя», записки и письма которого Вы с такой тщательностью воспроизводите на страницах Вашей рукописи. Кстати, «прием» опубликования якобы случайно попавших в руки автора чужих дневников и писем — до невозможности примитивный и не позволяющий ни на одну минуту забыть, что это только литературный прием.

И скажу прямо, что я не сочувствую ни попыткам дебютировать в литературе с темой литературного неудачничества (неужели ничего другого у Вас нет, о чем бы Вы хотели рассказать читателю при первой большой встрече с ним?), ни главной идее Вашей повести, если это можно назвать идеей — о том, что, мол, у нас в литературе «не пробиться без знакомства и взятки», и о том, что девушки у вас бывают — такие с виду ангелы, а на поверку препорочнейшие создания.

Не говорю уже о языке, о стиле — это бог весть что, тут и дешевейшая литературщина, и претенциозность крайняя, и обыкновенная малограмотность.

Я не вижу возможностей исправления или, как говорят, «доведения» этой Вашей повести. Оторвитесь от нее, задумайтесь по-серьезному.

Рукопись Вы можете получить у секретаря редакции.

А. Твардовский

21 февраля 1964 года.

Уважаемый М. А.!

Вы пишете мне на домашний адрес, но предлагаете мне «прочесть это письмо в рабочее время в редакции». Оставляю в стороне известную бесцеремонность таких наставлений, но вызывать Вас для объяснений по поводу отвергнутых редакцией и уже взятых Вами обратно материалов не вижу необходимости. «Фантастические поэмы» о техническом оснащении сельского хозяйства нас, скажу прямо, не интересуют. Достаточно хотя бы беглого ознакомления с материалами декабрьского и нынешнего, февральского, пленумов ЦК КПСС, чтобы увидеть, что реальность здесь превосходит всякую «фантастику», и вот эта реальность современного научно-технического прогресса в сельском хозяйстве интересует нас куда больше.

А. Твардовский

1 февраля 1965 года.

Дорогая В-я!

Поэма «Х. В.» мне решительным образом не понравилась,— начиная с темы и кончая стихом, языком, стилем.

По-моему, это неудача: тема взята в упрощенно-газетной постановке,—интерес к изложению потухает с первых страниц. Стих — жидкий, многословный. Примерно такого же мнения А. Г. и другие товарищи. Прозу — ждем. И стихи, конечно, если будет что новое.

Прошу не сетовать на краткость,— не имею физической возможности быть более подробным. Да и вряд ли это необходимо в данном случае.

А. Твардовский

28 марта 1966 года.

Уважаемый тов. Б-р!

Ваше гуманитарное образование, о котором Вы сообщаете в сопроводительном к своим стихам письме, покамест что как бы мешает Вам в этих стихах проявиться самостоятельно. Уж очень нетрудное дело выказать в стихах известную начитанность, осведомленность в фактах отечественной и мировой истории или литературы, способность к имитации, например, поэтической речи М. Цветаевой и т. п.

Меня лично такие стихи (а Вы их прислали мне на домашний адрес) оставляют совершенно равнодушным, безотносительно к их более или менее совершенной «технической» отделанности.

А. Твардовский

Дорогой тов. С-ва!

Мне очень приятно, что Вы избрали темой своей дипломной работы «Дом у дороги». Эта моя поэма куда меньше других пользуется вниманием критиков, исследователей и диссертантов.

И должен сказать (не обижайтесь, не Вам первой говорю это), что такой легкий способ «выявления» особенностей содержания и стиля произведения, как обращение за справкой к автору его, на самом деле далеко не всегда продуктивен: автор менее других объективный судья и истолкователь своих вещей.

Кроме того, мне кажется, что в поставленных Вами вопросах уже содержатся ответы на них, сложившиеся у Вас,— Вы лишь хотели бы получить от меня подтверждение.

Словом, как бы Вам ни справиться самой с Вашей работой, это будет лучше во всех смыслах, чем справиться с помощью «самого автора».

Желаю Вам успеха.

Фото посылаю.

А. Твардовский

9 июня 1966 года.

Уважаемый А-р А-ч!

Должен Вас огорчить: мне совсем не понравилась Ваша «выдуманная история об отце». Я большой противник сентиментальной жалостливой прозы, как, впрочем, и стихов. И противник краснословья, стремления выразиться «похудожественнее» во что бы то ни стало, а также, простите, авторского самолюбования. А это у Вас наличествует,— я подчеркивал, отмечал, но, конечно, не все, однако, обратите внимание на мои пометки <...> Гвоздь в том у Вас, что «ох, как трудно было отцу раскулачивать» соседа, перед которым у него были некоторые обязательства соседского порядка.

Не имею права сомневаться в фактической достоверности того, что Вы рассказываете, но рассказываете Вы так, что ни во что не верится.

Очень портит дело—с самого начала и до конца—«новаторская» манера повествования не в первом или третьем, а во втором лице, сообщающая вещи фальшивую лирико-патетическую тональность в стиле юбилейных адресов: «Вы родились в таком-то году в бедной крестьянской семье и прошли путь от и до»... и т. п. Часто это приводит к комическому эффекту, который вовсе не входил в Ваши расчеты. Тенденция красивости в языке то и дело позывает Вас вставлять иностранные слова (это пристрастие совсем в духе Вашего отца, любившего, как Вы сообщает, произносить вычитанные названия, имена: «Сен-Жермен», «Сирано де Бержерак» и т. п. Очень много готовых, «отработанных» до полного омертвления оборотов и выражений: сапоги — «начищен-

ные до блеска», танки — «горящие, как спичечные коробки», нервы — «напряженные до предела» и т. д. и т. п.

Словом, рукопись возвращаю.

Если можете, не обижайтесь за резкость и краткость моего ответа,— рукописей так много и посылаемых на квартиру редактора.

Желаю Вам всего доброго.

А. Твардовский

27 июля 1966 года.

Уважаемый О. М-ч!

Простите, пожалуйста, что так задержал с ответом. С рукописью Вашей ознакомился сразу же по получении, но мне не хотелось выносить ей окончательный приговор единолично. Я передал ее моему заместителю А. И. Кондратовичу, отзыв которого прилагаю.

Что касается моего личного мнения, так вот оно. В Вашем повествовании об отце есть ценные страницы, освещающие, например, такой момент подготовки Октябрьской революции, как работа «Солдатской правды» в период после февраля, армейская обстановка, настроения, брожения и т. п.

Но мне показалось, что, хотя Ваше отношение к биографии отца делает Вам честь как сыну, все же нельзя, по-моему, комментировать документы — прямые и косвенные — этой биографии так, как если бы речь шла о Марксе и Энгельсе. Это производит невыгодное впечатление, тем более, что нельзя сказать, чтобы все стороны, все факты биографии отца характеризовали бы его безупречно.

Еще раз — извините за задержку ответа.

Рукопись возвращаю.

А. Твардовский

9 марта 1967 года.

Уважаемый И-рь К-ч!

Воспоминания писать в стихах не имеет смысла: ограничения, какие ставят ритм, рифма и т. п., неизбежно поведут к искажению фактов, обеднению тех событий из жизни Ваших однополчан, которые Вы пытаетесь излагать в стихах.

К тому же, скажу прямо, стихи Ваши в литературном смысле очень беспомощны. Вообще, начинать со стихов в 48 лет — дело, пожалуй, безнадежное. Стихотворство требует многолетней выучки, труда, изучения образцов поэзии, т. е. на это нужны годы и годы юношеской восприимчивости, не говоря уже о том, что нужно кое-что врожденное.

Мой Вам совет: попытайтесь изложить Ваши воспоминания прозой,— это во всяком случае будет иметь хотя бы документально-историческую ценность. Тетрадь возвращаю.

Желаю успеха.

А. Твардовский

13 марта 1967 года.

Дорогой тов. К-н!

Писать Вы, по-видимому, будете, есть признаки того, что уже определяет манеру письма: краткость, резкость, иногда емкое сравнение, деталь. Но беда в «романтизме», «приподымании» жизни над нею самой. Почему имя героя Прон? «Романтизм». Ибо где Вы услышите в жизни в наши дни такое имя? Прону около сорока, он родился, когда произвол попа был исключен, а какие же родители могли дать такое имя в советское время? Только родители вроде Самгинских. Но из таких семей в плотники не выходили.

И далее. Всеобщее обожание Прона бабами Вы относите за счет его кудрей, глаз и т. д., тогда как идете по кровоточащему быту послевоенной «обезмужичевшей» деревни, касаетесь трагических страниц вдовства, женского одиночества, надломленных судеб. Опять же — «романтизм». «Романтизм» Ваш еще можно было бы определить как литературщину — тяжкий грех молодого писателя.

Пораздумайте, не торопитесь, поищите себя в самом себе. Попробуйте справиться с жизнью без приподымания ее и украшения «ветками рябины». Кстати, «демоническая» блудница Анка,— тоже дань литературщине.

А. Твардовский

13 апреля 1967 года.

Дорогой А-р Б-ч!

Отвечаю предельно кратко, чтобы не откладывать,— отложишь — потом не соберешься — такова моя жизнь.

1. Письмо очень хорошее, разумное и светлое — при всей резкости отдельных оценок, суждений, соображений. Жаль, что в таком письме — вдруг невыносимая гадость относительно противозачаточных средств как залога высоконравственной жизни молодых людей Вашего поколения. В одном месте Вы высказываете опасения (не совсем безосновательные) насчет возможного в будущем типа «спортивного кретиноида». Так вот для него, этого типа, только и не хватает Ваших «абсолютных противозачаточных», чтобы, не опасаясь никаких последствий, заниматься «этим делом».

Будем надеяться, что это у Вас сорвалось. Но немало неприятного и в Ваших литературных пристрастиях вроде предпочтения Лескова Л. Толстому. Все это от переизбытка юношеской образованности. Ваши завышенные оценки зарубежной русской литературы весьма простодушны и происходят, как Вы сами в другом случае справедливо говорите, более от запретности этого плода. Уж если Бунин очевидным образом увядал (молодой Бунин — это июньский луг в цветах, а поздний — сено из той травы, да еще отчасти и подмоченное и вновь просушенное), то думать, что эпигон Зайцев нечто подарил миру,— нет, увольте. Но все это, думается, взбрыкивания молодости,— пройдет.

Рассказы мне решительно не понравились: от них веет не «прохладой могил», а холодом литературщины и опять же переизбытком образованности. А жаль,— способность писать — налицо, чувство предметного мира есть, уверенность рассказчика, свобода изложения. Но жизни, той трудной, и грубой, и сложной, и единственно стоящей внимания художника, которой Вы касаетесь в письме,— в рассказах ни синь-пороха! То Набоков <...>, то «Темные аллеи», то что-то еще, но все слышанное, хоженое. Решимость писать и ради этого идти на все — хорошо, но пусть это не будет только «желанием быть испанцем», т. е. влечением к столь красивой профессии.

Если потребность писать не является из необходимости, неотложности собственного изъяснения по серьезному или так или иначе заветному поводу, то это может привести лишь к ремесленности, пусть даже высокоразвитой, изящной, оснащенной «современными» средствами выражения, но только к ней, а не к художеству, как его понимали Л. Толстой, Гете, даже Т. Манн, называвший русскую литературу с в я т о й.

Вот, примерно, все, что могу покамест сказать Вам. Будет новое — присылайте непременно. Рукописи рассказов возвращаю.

Желаю всяческих успехов и благополучия.

А. Твардовский

Фамилии, имена и отчества адресатов даются в сокращении. Купюры обозначены угловыми скобками.

Публикация М. И. ТВАРДОВСКОЙ.



Витаутас
ПЕТКЯВИЧЮС

ЛИТОВСКИЕ ЭТЮДЫ



1. ВОЗРОЖДЕННЫЕ В ДЕРЕВЕ

Деревня у древнего кургана Жвагинис. Сотни лет жили и работали здесь простые и трудолюбивые люди. Они пахали землю, растили хлеб, пасли на зеленых лугах над речушкой Жвялсой гнедых коней, звучными песиями и пестроузорными тканями радовали душу и глаз, нянчили малышей, приохочивали к крестьянской работе подростков, трудились в поте лица, на старости лет рассказывали внучатам сказки, известные от дедов и прадедов, потом ложились на вечный покой в могилы на тенистом сельском кладбище.

Так жила деревня долгие столетия, так жила бы и сегодня, и завтра, и послезавтра, еще долгие-долгие годы, и, наверно, мало кто из литовцев знал бы, что есть в этом чудесном краю Жемайтии тихая, неприметная деревушка Аблинга.

Но разразилась война.

Литовские «аку-аку» — символ бессмертия народа.
Фото Р. ДИХАВИЧЮСА.

...Еще солнце не вставало, как затрещали выстрелы, загремели разрывы снарядов и бомб. Перепуганные люди попрятались в оврагах, промытых весенними дождями на склонах кургана. Чудовищной бурей прогремела над ними линия фронта и унеслась куда-то на восток. На земле осталось лежать несколько гитлеровцев. Их уложили в бою у деревни отступавшие советские воины и кто-то из местных жителей. Таков закон войны: мужчины встали против захватчиков грудью — за землю свою, за честь и свободу. Они защищали свои дома. И отступили только под натиском несметной железной силы.

Смолкли выстрелы, затихли вдали. Люди вернулись в деревню, к повседневным своим делам.

А на следующий день, утром двадцать третьего июня, в Аблингу прибыл отряд карателей. Озверелые фашисты сгоняли ни в чем не повинных людей в деревянный барак, в котором прежде находился магазин, резали скот, громили и жгли дома, грабили и мучили, не жалея ни молодых, ни стариков, ни младенцев...

На закате всех схваченных загнали в большую яму, приказали лечь и, наиздевавшись вволю, стали расстреливать.

После этой чудовищиой зкзекуцнн от Аблингн остался лишь пепел, летящий по ветру, иесколько тяжело раненных жеищин и пятнмесячная девочка Иоаииа, которую достали из-под груды трупов, искалечеииую, с отстрелеиными фашистской пулей пальцами рук.

Так иа второй деиь войиы была уиичтожеиа первая вставшая иа пути фашистов литовская деревия и сорок ее жителей — мужчииы и женщины, подростки и дети, старики и младенцы...

А фроит уходил все дальше на восток. Потом люди узнали о других страшных, массовых злодеяниях фашистов. Их было так много, оии были такнмн вопиющими, что трагедия Аблиигн маленькой слезинкой растаяла в чудовищном потоке крови н слез. Лидице и Орадур, Пирчюпис н Хатынь, Варшава и Ковентри — зти имеиа после войны звучали и чаще н громче, чем нмя Аблинги, крохотного, тихого уголка Литвы...

И вот через тридцать одни год после трагического дия об Аблинге снова заговорнла вся Литва. По инициатнве скульптора и увлеченного краеведа Витаутаса Майораса, иа одиой нз усадеб деревии Жвагиняй была создана общая творческая мастерская народных художников. Со всей республнки сюда съехались наиболее известные и уважаемые народиые мастера, чтобы возродить из мертвых Аблннгу. А. Багдоиас, А. Мартинайтис, П. Куидротас нз Таураг, А. Пушкорюс, Ю. Паулаускас, А. Внлуцкис, отец и сын Лукаускасы нз Кретингн, Й. Гннейтис, Р. Кумшлис, А. Домаркеие, Р. Пампарас, Л. Буткус, А. Сяикус и руководивший работой В. Майорас — нз Клайпеды, И. Ужкуриис из Вильнюса, Ю. Игнотас, В. Савнцкас н Й. Паулаускас из Тельшяй, О. Бериесайте, А. Жулкус из Палаиги, П. Дажиискас из Тришкяй, Э. Шаткус из Гаргждай, Ю. Шнлеиас нз Паневежиса, Ю. Юргелис из Прекуле и еще некоторые — трндцать самых искусных резчиков по дереву. Вместе с другими прнехали кузиецы Рагаускасы, лучший и республике специалист по шрнфтам М. Шилинскас пз Тельшяй, палаигский столяр Б. Юцюс. Когда все собрались, закипела необычиая, ннкогда н ингде до той поры не вндаииая работа.

Долго Витаутас Майорас вынашнвал этот замысел, долго и кропотливо собирал материал, беседовал с оставшимнся в живых свидетелями трагедии, с жителями окрестных деревеиь, разыскивал родственников погнбших. И, иакоиец, по отдельиым фактам, по мелким деталям иосстаиовил бнографию каждого замучеииого, возраст, образ жизии, характер и пристрастия. Его товарищи, познакомившись с этим волиующим материалом, решилн, кому нз погибших каждый посвятит свою скульптуру, распределили привезенные из окрестиых лесов стволы огромных дубов н взялись за инструмент.

Долго работали иародиые мастера, воплощая в дереве память о безвинииых жертвах фашистов. Работали вдохиовеиио, иапряжеиио, самозабвенно. Миллиметр за миллиметром, стружка за стружкой, штрих за штрнхом — каждый по своему представлению воссоздавал виешность и характер погибшего три десятилетия иазад человека, пережитую в тот ужасиый деиь трагедию. А 29 июля 1972 года, сняв рабочую одежду, в строгих иыходиых костюмах оии собрались иа торжествеииую церемонию открытия мемориала. И когда предстала перед иими общая картииа, все поразились: такой волиующей н иеобычиой оказалась их работа.

Со всей Литвы съехались люди почтить память погибших н преклоиить колена перед этим памятииком, который иароду поставил сам народ. И когда со скульптур было сиято белое покрывало, взорам собравшихся предстала новая, ожившая Аблинга: суровая и обвиияющая, простая и величествеииая, могучая и бессмертная, как исполиикие дубы, что растут на родиой земле.

Оин были неразлучными приятелями: Пятрас — весельчак, душа иараспашку, Аитаиас — мечтатель н молчун. Любнли кннгн и коией, повсюду ходилп вдвоем. И нашли нх двоих, связаиных вместе и сожжениых. Такими и поднялись онн под резцом скульптора Римаса Пампараса — иеразделимые, как два дуба-близнеца, что выросли из одного корня. Скорбно и сурово смотрят оии иа сожжениое родиое село, словио спрашивая: «За что?!»

Неподалеку от них, распрямившись во весь рост, стоит еще одии аблиигский пахарь — Ляонас Даусииас. Руки его крепко сжимают рукояткн плуга. Теперь навечно будет стоять ои на родиой земле такой вот, каким представила его п создала скульптор из Клайпеды Алексаидра Домаркене.

Вблнзн, совсем по соседству, в безысходной смертельиой тоске застыла на берегу Марцеле Жебраускене. Одной рукой оиа держит девятилетнюю дочку Яиите, другой прижимает к груди шестилетнюю Алдуте... Такими их виделн в последние мннуты жизнн: полураздетая, в разорваниой сорочке жеищниа бежит по цветущему лугу, подальше, подальше от ямы, надеясь спастн детей от фашистскнх пуль. Такими онп н остались навечно, застывшие в дереве: детн, в страхе прнжавшиеся к матерн, мать, обнявшая своих детей, но так и не сумевшая нх защитить от убийц. Эта выразнтельиая, полная сдержаииой силы группа работы народиого мастера Антанаса Багдоиаса — памятинк всей погибшей семье, напоминаиие тем, кто хоть па миг забывает, что такое фашизм.

...Юозас Жебраускас, трудолюбивый сеятель, человек доброго, открытого ирава. Часто люди смеялись иад его иеобидиыми шутками, повторялн сложеные им прибаутки, вместе шли работать в поле... И стоит пахарь и сеятель иа родиой земле — олицетворение стародавией литовской легенды о том, что после смертн каждый пахарь превращается в дерево, охраняющее покой живых.

...Как и и тот деиь, веселый кузнец из Картеиай Йонас Беиюшис стоит и свадебном иаряде со своей избраиннцей — деревеиской швеей Басей Луожите. Их венчает общий веиок из руты, излюблеииого и символнческого цветка литовцев. Немиого подальше растеряиио н потрясеиио застыл опоясаииый традиционной лентой сват Казимирас Баршис. По иародиому обычаю сват всегда оправдывается перед собравшимися. И иа этот раз ои как бы оправдывается, но на лице его ие лукавство, а мука: ои зту пару не на смерть соедииил. Не иа смерть! Еще дальше горестно поник отец Баси, лучший и деревие музыкант, которому выпала жестокая судьба видеть трагедию своих детей.

Высоко подняв в руках пеструю ленту, нежно и печально смотрит вдаль молодая женщииа. Рядом с ней нз того же ствола выступает фигура ее мужа. Так таурагские мастера Андрюс Мартинайтис и Пранас Кундротас изобразили две молодые семьи Йонкусов н Мартиикусов, ждавших появления иа свет своих первеицев и ие дождавшнхся...

В который раз проходишь у подиожия холма п снова не можешь оторвать взгляда от скульптурного портрета юной Сребалюте. Резчик Шнлеиас выполнил фигуру девушки и простоиародной, немного наивиой маиере. А над ией хищная птица ужаса — фашистский орел, впившийся когтями и голову девушки. Две фигуры — пежная девушка н черный

стервятник — сливаются в целое, в проникнутый горем и болью обелиск.

И чем дальше идешь по склону кургана, мимо аблингцев, поднявшихся из земли памятниками, чем дольше смотришь на деревянные скульптуры, тем острее чувствуешь: никакому фашизму не покорить народ, не поработить, не стереть с лица земли.

Смотришь на скульптуры мемориала, и кажется, что жизнь в Аблинге не прерывалась... Окончилась война, пришли с фронта победившие врага мужчины. Пошли в поле. И снова на цветущий луг вышла семнадцатилетняя Балтонпте. Встала рядом с ней на душистом клеверном поле ее сестра. В уборах со старинным орнаментом, где буйный языческий хмель тянется к солнцу, в короне солнечных лучей. Подавшись вперед, смотрят на закат солнца и старый объездчик Пятрас Микалаускас, и Паулина Жебраускайте, и Эндрюс Балтонис, и Антанас Луожис. Но вот на солнце набегает облако, склон кургана окутывает тень, и ощущение жизни пропадает...

Можно бессчетное число раз ходить по этому кургану, смотреть и застывать в скорби, но всего, что чувствуешь, все равно не передашь и не расскажешь. Подойдет человек, положит венок, букет цветов или полевой цветок у подножия какой-нибудь из фигур, что-то произнесет. И в его сердце остается навеки острое чувство бессмертия народа, мысль о жизни, победившей небытие, воспоминание о тридцати памятниках, о пахарях, превратившихся в могучие дубы и стоящих в почетном карауле на зеленом склоне кургана.

Потекут годы, будут сменяться поколения, но всегда литовские «аку-аку» будут рассказывать тем, кто сегодня придет сюда, о нашем трудном прошлом, на смену которому пришла новая, светлая жизнь, о традициях народного искусства, которые возродила новая, социалистическая действительность; из мелких мастерских, из частных коллекций и сувенирных магазинов она вывела древнее, как наш народ, искусство деревянной резьбы на перекрестки дорог и холмы, на политые народной кровью курганы, в места жестоких боев с контрреволюционерами, захватчиками, фашистами.

2. ГОЛУБОЙ ОГОНЬ

Много туристов приезжает в Вильнюс, со многими достопримечательностями знакомят их гиды, очень интересны и содержательны экскурсии. Но мой вам совет: если есть время, по городу лучше всего бродить в одиночку, с близким другом или небольшой компанией. И ни в коем случае не в автомашине. Впрочем, это вам и не удастся: пожалуй, автомашины не везде смогут пройти в лабиринте узких улочек. Гиды шутят: мол, в старину литовцы боялись сквозняков, оттого и понастроили загогулин и закоулков. Но это всего только шутка. Во всех старых городах мира узкие и кривые улицы — такая планировка в те далекие времена имела серьезное оборонное значение.

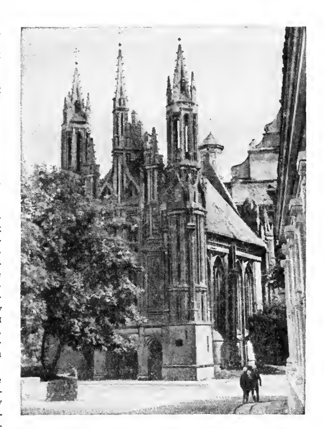
Группы туристов всегда спешат. А вы сможете идти неторопливо, останавливаться, любоваться понравившимся видом, размышлять, впитывать красоту сменяющихся с каждым шагом ансамблей. Архитектурная музыка Старого Вильнюса написана в размеренном темпе «andante»...

Если вы идете пешком, можно заглянуть в уютные деревянные кафе старого города, посидеть в тенистых скверах под вековыми липами и кленами, полюбоваться незабываемой игрой красок — багряные купы дикого винограда на сером камне университетских дворов... Наконец, вы сможете побеседовать с людьми, без которых город не город, а огромный каменный памятник прошлому, делам, мечтам и надеждам ушедших поколений...

С вечерней прохладой оседает накопившийся за день газ от автомашин... Закроешь глаза, наберешь полную грудь воздуха, прислушаешься и по звукам, по шагам прохожих можешь угадать: в какой стороне вокзал, где центр и где окраина. Пустеют магазины. Из проезжающих фургонов доносится вкусный запах свежеиспеченного хлеба. Неподалеку звякает звонок на двери дежурной аптеки, на витрине которой, сколько помню себя, плывет белый лебедь. За окнами магазинов продавцы подсчитывают выручку...

Идем ли мы по улице Гарялё, где в пейзаж старинного города каскадами вливаются новые кварталы, или мимо современного Дворца выставок, поставленного в сердце Старого Вильнюса,— нигде глаз не режет разнобой, разностильность. Все имеет свой смысл, назначение, везде соблюден хороший вкус. Архитектор В. Чеканаускас, автор проекта Дворца выставок, специально поставил здание так, чтобы оно не заслоняло старинный красивый костел в юго-западной части города.

Прошагаешь еще немного, и открываются откосы над речкой Вильняле, странные в неверном лунном свете; все вокруг будто погружено в стремительную



Каменное чудо... Костел Анны в Вильнюсе. Ему пять веков.

Фото А. КАРЗАНОВА.

журчащую воду, сверкает, мелькает, проносятся какие-то теии, то густые, сочные, то легкие, трепетные, едва заметные. И в зтой движущейся полутьме, в свете красиых и зеленых прожекторов встает кружевное чудо — костел Анны... И веришь и не веришь своим глазам. Словно искусные мастерицы сплели тончайшие изящные кружева и украсили ими улетающие высоко в небо невесомые шпили, башни и башенки. И все зто кружево создано из обычного кирпича. Арки окои, виньетки, иаличиики, коньки сводов, как тончайшая резьба по дереву... И стоит зто камениое чудо уже пять веков! Истинное чудо — оргаиная музыка!..

Но чудес не бывает. Кроме тех, что создают люди. Вся эта красота сделана руками людей. Средневековье — время качества. Каждая бадья песка, глины, каждая вязаика дров для обжигательной печи выбраны в заветных местах, каждый фигурный кирпич, каждая плитка кафеля сначала проверена, испытана и только после зтого уложеиа в ряд, в стену.

Вильияле журчит, перепрыгивая по камиям, и говорит с тобой, как горный дух в сказках. И речь ее так светла, так благородиа, так нежна, как ласка матери. Задремали деревья в старинном парке. С высоких откосов не струится ии одиа песчинка... Подножие горы Гедимииаса.

Потом снова мост, снова замок. Вот номер 13 на улице Костюшко. Небольшой двухзтажный домик. Здесь живет позт. В угловом окие под крышей часто свет горит за полночь. Мысленно представляю мансарду с огромным, приподнятым в небо окном, названную позтом «У подножия звезд», небольшой письменный стол светлого дерева, аквариум, устланный белым, как сахар, балтийским песком, пестрыми камешками и солнечными янтарками, трепещущих в алмазной воде китайских рыбок. Представляю и улыбаюсь: — Работает...

Пусть работает. Теперь не время для интервью. Если нечего сказать, ие стоит и в дверь стучать. Но все же иногда невозможно пройти мимо.

Мы с ним из одного каунасского пригорода — Шанчай. Близкие соседи по улице Латвю. Мой отец работал по железу на заводе «Металас», его — был сварщиком в автосборочных мастерских. Мы любили смотреть, как зтот усатый человек силой огня расправлялся с железом — мог разделить его на куски, мог соединить в одно целое.

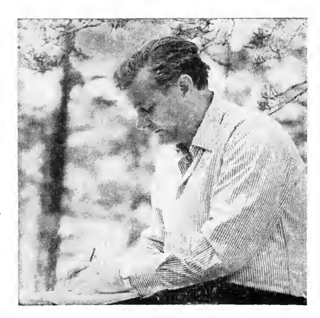
— Бегите прочь, глаза попортите...

И правда, если не отрываясь смотреть, то голубой сверкающий огонек потом долго стоит перед глазами. Даже страино бывало: придешь домой, поужинаешь, уляжешься спать, закроешь глаза, а огонек все сверкает и дрожит перед тобой...

Мие иногда кажется, что и стихи его сыиа, лауреата Ленинской премии Эдуардаса Межелайтиса,— такой же жарко пылающий, соединяющий и плавящий огонь. Если он направлен на врага — тогда берегись, если на друга — пусть радуется... И случается: прочтешь его строки, отложишь книгу, закроешь глаза, задумаешься, а стихи все ие оставляют тебя, как тот голубой огонь из детских лет...

Давно зто было, гуляли мы как-то по улицам пригорода. Он тогда носил черную, наглухо застегнутую униформу гимназиста, с высоким воротником, сшитую, как он сам говорил, навырост. Ни одному шпику и в голову не приходило, что зтот одухотворенный стройный юноша — подпольщик, тайно посещавший комсомольские собрания и решивший ритмами стихов Маяковского взорвать старый мир и построить новый, справедливый.

Помню его и секретарем нашего комсомольского ЦК. Мы любили его стихи, сами перекладывали на



Эдуардас Межелайтис.

Фото А. СУТКУСА.

музыку. После войны мы встретились впервые на VII съезде комсомола Литвы. Он шел по широкой лестнице вниз, я поднимался. Он не узнал меня и не мог узнать. Только окинул сосредоточенным, полным боли взглядом. Ему нанесли обиду, в горячке не оставив живого места в его стихах. Он был бледен, как мрамор лестницы. И никак ие мог надышаться дымом дешевой папиросы, которую держал в дрожащей руке. Его глаза поразили меня: на таком суровом, аскетическом лице с жестко сведенными бровями — и такие безоружные глаза!..

За годы его лицо сильно переменилось. Время оставило свой след — морщины и следы автокатастрофы, следы войны, неудач и бессонных ночей, следы заслуженной славы и почета. Но глаза остались прежними. Внимательные, добрые и понимающие. Иногда гневно пылающие, горящие, как то пламя, что держала рабочая рука его отца. И поэзия Межелайтиса такая же — поднимающая и возвышающая, твердо и гордо ставящая Человека на виду у всей планеты. Или безжалостно бьющая...

Нет, сейчас не стоит к нему заходить. Гулять уже поздно, а делиться впечатлениями — слишком рано.

— Пусть работает!





Формируя очередной «Круг чтения», мы не занимались организацией специальной «интернациональной» подборки. Мы просто посмотрели свой «портфель», и оказалось, что в нем лежат рецензии на книги писателей разных национальностей, на темы живой и нетленной дружбы народов. И мы решили опубликовать в этом номере часть из них: молодой башкирский прозаик воссоздает портрет С. Чекмарева, русского поэта-комсомольца, погибшего в Башкирии в годы коллективизации; украинский писатель рисует захватывающие картины истории своего свободолюбивого народа, в которой украинцам помогают люди разных наций; латышский герой-интернационалист в условиях фашистской неволи одерживает победу духа над палачами; издатель пишет мемуары о дружбе русской и грузинской культур; русский молодой поэт изучает опыт белорусского мастера М. Танка.

Нам кажется, что в такой не «организованной», а естественной перекличке голосов есть глубокий, волнующий интернациональный смысл.





УВЛЕКАТЕЛЬНО ОБ ИСТОРИИ

Книга украинского писателя Владимира Малика «Посол Урус-Шайтана» («Детская литература» 1973) написана в лучших традициях приключенческого жанра. Изданная в серии «Библиотека приключений и научной фантастики», она не лишена ни исторической подлинности, ни героического романтизма.

События, которые происходят с Арсеном Звенигорой, казаком прославленной Запорожской Сечи, остросюжетны, полны внутреннего напряжения.

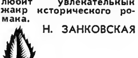
Каждый из героев — характер. Таковы Арсен Звенигора, русский Роман Воинов, турок Якуб, польский пан Мартын Спыхальский, болгарский воевода Младен... Лучшие представители всех национальностей борются против угнетения и насилия, какие бы формы они ни принимали — нашествие, крепостное право или иноземное рабство.

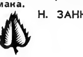
Роман ставит перед читателем важные нравственные проблемы. Самые неожиданные конфликты между людьми, их сложные взаимоотношения: общественные, бытовые, семейные — рассматриваются неоднозначно. Отец и сын совершенно неожиданно оказываются во враждебных лагерях. Как сложится их судьба? Молодой Сафар-бей полюбил прекрасную Адике, которая... Не будем, однако, раскрывать тайны, которых так много в этой книге. Предоставим это удовольствие читателю.

Стоит сказать и о познавательном значении романа. Мы узнаём о таких исторических событиях, как падение Каменец - Подольского, Чигиринских походах, мало освещенных и в исторических и в литературных трудах.

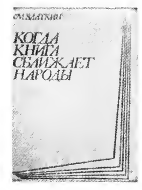
Можно с уверенностью сказать, что появление на русском языке романа Владимира Малика — это ценный подарок не только для юношества, но и для всех тех, кто любит увлекательный жанр исторического романа.

Н. ЗАНКОВСКАЯ









НОВЫЕ СТИХИ МАКСИМА ТАНКА

«Нарочанские сосны» Максима Танка («Советский писатель») — книга о родной земле поэта, которая «охорашивается» перед зеркалами лемехов, о земле, политой «чистым рабочим потом» — ради жизни, политой кровью — тоже ради жизни. Над этой землей шумят сосны, в стволах которых осколки и пули, затянутые смолой, словно памятью. Возвращаясь к родной земле, поэт возвращается к своей памяти, остается наедине с думами своей матери, с думами всех матерей, которые до сих пор ждут детей с войны и, накрывая на стол, ошибаются: вечно кладут лишнюю ложку.

Эта израненная земля восстала из пепла благодаря человеческому неутомимому труду, и образ благородной работы возникает во многих лучших стихах поэта. «Письмо сыну» — все в радостной стихии труда, даже в стихах о смерти бабки Ульяны возникает гимн рабочим рукам, которыми ей-то неловко будет «постучаться в ворота рая»; даже в природе все возникает благодаря труду: кузнечики выковывают утреннее солнце из вечерней зари. Танк призывает: «Необходимо хоть раз в году пройти босиком бороздою за плугом... Необходимо... купить малышу подарок... Может, он, получивший конечную ракету, подарит потом человечеству галактику счастья. Необходимо хоть раз в году посетить и кладбище, чтобы вновь убедиться в простейшей истине — ты, увы, не навечно прописан к этой зеленой планете...»

Так строится большинство стихов, они вмещают конкретный, зримый, памятный образ, его развитие, касаются рождения и конца и завершаются бессмертием, выраженным в доброй памяти поколений. Темы стихов касаются самого близкого, но и самого заветного: «Поэзия — это то, мимо чего мы проходим ежедневно и ежечасно и о чем ни акушеры, ни гробовщики понятия не имеют». «Судьба родины и мира выражается через судьбу певца». Отсюда ряд стихов о судьбах поэтов и поэзии, звучат имена Гомера, Еврипида, Нарекаци, Овидия, Данте, Микеланджело, Гете, Есенина, — их судьбы врываются в современность.

Строки Максима Танка, взвешенные «на весах» родных озер, созданные из «просеянной» родной земли, смыкаются с лучшими строками поэтических предтеч — среди них и Янка Купала, и родоначальник белорусского стиха Максим Богданович, и русские поэты. Говоря словами одного из них, Александра Блока, Максим Танк относится и тем, кто «любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе».

Вячеслав КУПРИЯНОВ

ПОВЕСТЬ О СЕРГЕЕ ЧЕКМАРЕВЕ

«Не забывай меня, солнце» — повесть о поэте Сергее Чекмареве («Детская литература», 1973 г.). Обращение башкирского писателя А. Абдуллина к образу Сергея Чекмарева не случайно. Последние годы своей короткой жизни С. Чекмарев прожил в одном из совхозов Башкирии, работая там зоотехником.

Бежать тебе хотелось бы
из этого села?
А мне минуты кажутся
чудесными и гордыми,
По книгам буквы
ползают,
беснуется метель,
И лошади проносятся
с опущенными
мордами,
И избы озаряются
улыбками детей...

Сергей не готовился стать профессиональным поэтом, но вся его жизнь была благодатным материалом для поэзии. Он прежде всего ставил перед собой задачу, которую можно выразить словами В. Маяковского: «Надо жизнь сначала переделать, переделав — можно воспевать».

Вот это стремление участвовать в переделке жизни составляло суть и смысл его существования и его творчества.

Человек, одержимый активностью действия, с неразделенной любовью к «обыкновенной» Тоне, которой не по росту оказалась любовь необыкновенного человека, он погиб в невыясненных обстоятельствах, может быть, от руки кулака. Его легендарная жизнь была подобна вспышке радостной молнии...

Будучи натурой цельной, Сергей не терпел полумер, фальши, был внимательным и чутким к людям. Есть в повести характерный эпизод. Сергей узнал, что гуртоправ Садрый продал совхозную корову, чтобы выручить близкого человека. Но после схватки с Садрыем он приходит к мысли, что не имеет права одним махом решать чужую судьбу. И потом, осмысливая происшедшее, в беседе с любимой женщиной Сергей сказал: «...Необходимо — прежде всего — научить себя относиться и к людям, и к животным, и к деревьям с таким пониманием... что живешь с ними одной жизнью... Словом... к старым извечным явлениям выработать совершенно новое отношение».

Книга А. Абдуллина призвана еще больше повысить интерес к этому человеку, но всему его небольшому, но самобытному наследию.

В. ШУБИН

БАЛЛАДА В ПРОЗЕ

Это очень взволнованная книга, книга о солдате, учителе, узнике, поэте — Эйжене Веверисе, и подзаголовок ее, «Патетическая баллада в прозе», как нельзя лучше передает дух и стиль этого полного высокой патетики произведения. И о Эйжене Веверисе, по-моему, нельзя писать иначе, потому что вся его жизнь — это нечеловеческое напряжение сил, ума, духа, это не затихающая ни на минуту борьба с любым проявлением мракобесия и человеконенавистничества. «Две жизни» — название книги, ее автор — Гунар Курпниек (издательство «Лиесма», Рига).

Пули свистят,
И каждая ищет
Сердце.

Эти строки из поэтического сборника Эйжена Вевериса «Пуля-сиротка» стали эпиграфом книги, написанной о нем самом.

Пожалуй, в мировой истории не найти поколения, на долю которого выпало бы столько тягот и смертей, как поколение, к которому принадлежит Эйжен Веверис. Три кровопролитнейшие войны; гражданскую и две мировых — пережил Веверис, и не просто пережил, он всегда был там, где гремят выстрелы, рвутся снаряды, всегда там, где борьба. «Теперь, когда я оглядываюсь на прожитые тобой две жизни, — пишет Курпниек, обращаясь к Веверису, — когда стопка белой бумаги становится все тоньше и тоньше, я понял, что Эйжен Веверис всегда был солдатом...

Солдатом революции... Солдатом-учителем... Солдатом Сопротивления... Солдатом-поэтом.

Это высокая честь — быть солдатом своего поколения, своего времени. Дается она не каждому и не каждым оправдывается». Веверис оправдал высокую честь. Оправдал, когда четыре раза стоял у смертного рва под дулами винтовок, когда после очередного расстрела они заталкивали его в грузовик. Оправдал, когда в самых страшных лагерях смерти: Саласпилсе, Штутгофе, Маутхаузене, где, казалось, сама мысль о том, чтобы выжить, должна была вытеснить всякое понятие о взаимовыручке и поддержке, — он не только выжил сам, но и помогал выжить другим, в Маутхаузене переводил для австрийских товарищей латышские дайны и участвовал в Сопротивлении. Эйжен Веверис оправдал высокое звание солдата своего поколения, когда уже после войны написал:

Люди!
Зажгите факел
Над всем, что свято!

Ал. АФАНАСЬЕВ

«КОГДА КНИГА СБЛИЖАЕТ НАРОДЫ»

Так назван сборник воспоминаний М. Златкина («Мерани», Тбилиси).

Если бы можно было заменить подзаголовок — «Встречи, воспоминания, размышления», — то я бы, не колеблясь, поставил одно слово — «гимн»! Гимн небывало плодотворному творческому содружеству, обогатившему грузинскую и русскую литературы, гимн всему издательскому делу, пропетый Марком Златкиным, человеком, который полвека своей жизни посвятил благородному и священному делу, делу сближения русской и грузинской культур.

...У истоков этого «великого почина» стоит имя Горького. Это по его инициативе в 1933 году в Грузию приехала бригада русских писателей в составе Тихонова, Пастернака, Павленко, Форш и др., взявшаяся за организацию и налаживание переводческого процесса. Русские поэты интересовались не только современной грузинской литературой, но хотели овладеть также культурой прошлого, донести и ее до русского читателя. Благодаря этим поэтам и работе бригады стало возможным издание на русском языке монументальной антологии грузинской поэзии, начиная с V века и до наших дней. И в центре этого важного и нужного процесса находилось издательство «Заря Востока», одним из руководителей которого в течение 50 лет был Марк Златкин.

За скромным и деловым повествованием открывается мир издательской политики и практики, творческой инициативы и каждодневных забот. «Летопись межнационального побратимства» не может не волновать. Когда видишь изданные книги Галактиона Табидзе и Михаила Джавахишвили, К. Гамсахурдиа и Г. Леонидзе, Орбелиани и Симона Чиковани, Бориса Пастернака и Николая Тихонова, Заболоцкого и Межирова, поневоле думаешь и о личном вкладе большого мастера издательского дела, автора оригинального и полезного сборника «Когда книга сближает народы».

Николай САФОНОВ



Владимир КУЗНЕЦОВ

ИДЕТ БОЛЬШАЯ РЫБА

Рисунок В. ПЕТРОВА.

На крутой зыби — маленькая, неустойчивая шлюпка, коротко привязанная к кунгасу, пляшет, как мяч, пущенный по ступенькам. Через низкие обшарпанные борта, некогда голубые, летят брызги.

— Мокнется или нет? — с интересом смотрим мы. Над нами мглистое северосахалинское небо. С вечера к причалу приезжал на лошадке дед Кочура, привез записку капитана флота: штормовое предупреждение. За бригадира сейчас Витя. Он с полчаса вертел записку, хмурился, вздыхал, но сунул ее за голенище, и все само собой решилось. Нет записки, может, и шторма не будет.

На рассвете мы вышли в море.

Витя лежит на носу кунгаса, на двух мокрых телогрейках. Ноги брошены вдоль бортов. Отсюда удобно видеть сети, всех нас и разговаривать с Лехой. По Татарскому проливу, с севера, от Петровской косы, за что она и прозывается «Петей», дует ветер. Дует с четырех утра, не переходя в шторм, но и не спадая. Витя внутренне напряжен и только поэтому охотно переругивается с Лехой.

На волне, во время переборки сетей, капроновая ячея, в которую мы вцепляемся разбухшими пальцами, напрягается, делаясь на ощупь, как струна, как лезвие. Кунгас бросает, словно телегу на ухабах. Выпустить ячею мы не имеем права. Никто никогда не выпускал. Резали пальцы до костей, было такое. Чтоб бросить, не было.

Леха стоит, балансируя в шлюпке, и гогочет.

— Эх, ты,— ласково басит Витя.— У тебя мухи на руках любовь закручивают, р-р-рыбак!

Леха самый молодой в бригаде, еще донашивает армейское «хэбэ». К губам навечно приклеена изжеванная папироса. Он стоит в шлюпке цепко и пружинисто. Бригада без Лехи — полбригады. Поровну пропахли мы рыбой и смолой, поровну работаем, но есть в Лехе азартная искренняя живинка, всегда отличающая истинного рыбака от шабашника, от бестолкового романтика, сбежавшего сюда за приключениями и теперь отбывающего срок путины ради денег на обратную дорогу. Даже на берегу Леху выделяет из десятков людей неумение праздно держать руки, разумно тратить деньги, неуклюжесть от хорошего костюма и еще добрый десяток неумений, с которыми другому сразу крышка, а Леха с ними и есть Леха. В райцентре на него заинтересованно посматривают милиционеры. В клубе «Рыбник», на улице вокруг него всегда легкое завихрение.

Он балансирует в шлюпке и видит, конечно, огромную волну, медленно бухающую над горизонтом. Он рискует сейчас, но не садится. Если б не волна, он гнался бы за нерпами. Их блестящие головки с веселыми, смышлеными глазами всегда вокруг ловушки. Исчезнет одна, тут же четыре новых. Как черные поплавки. Я думаю о Лехином будущем. Он заочник техникума. Через два года получит диплом. Его посадят на оклад, выверенный в высоких инстанциях по производственно-творческой отдаче некоего «среднего» человека. Лехе «в среднем» придется двигаться и шевелить мозгами. Нет, вряд ли Леха усидит...

Хребет волны завихряется от пены, в какое-то мгновение солнечный луч пробивает ее, но вязнет в желтовато-зеленой толще. Леха будто перед пенальти насторожился, собрался комком. Шлюпка летит вверх. Он не сел. Видны его руки, раскинутые в стороны. Он тут же проваливается, и за гребнем, за его утробным рыком, слышится довольное похрюкиванье. Волна прокатилась, оставив в сетях водоросли, обломки досок и... ботинок. Откуда он здесь?..

— Во, японцы забогатели,— приподнимается Витя,— недоношенными бросаются.

Ботинок запутался шнурком за верхний подбор ловушки, возле пенопластовой балберы.

Леха копается с уключиной, загоняя ее поглубже в гнездо. Лицо красное, сосредоточенное. Под неуклюжей робой ладное, плечистое тело. Голубоглазый, с облупившимся носом, с улыбкой, которую вряд ли забудет хоть одна девчонка. Именно такие любят до самой смерти, и их любят с твердым и суровым постоянством.

— Ты, фрукт,— кричит ему Витя,— закрывай ловушку! Пер-рр-реборка!

Мы молча досасываем окурки. Сейчас будет работа. Будет то, ради чего мы здесь. Мы — наша четверка в кунгасе. Команда застает каждого за делом. Гандарахинов — дядя Ваня, невысокий, кряжистый татарин, строгает ложку; Коля Донской лениво отчерпывает воду; я и нагловатый красивый Гаян курим.

Нужно не уважать себя, чтоб сразу кинуться к рабочему канату. Но нужно вообще не уважать себя, чтоб замешкаться с незанятыми руками. Мы тянем минуты три. Потом дядя Ваня сует нож в истертый кожаный чехол, подвешенный на животе.

— Ну, чего там?— хрипло кричит Леха.

Коля Донской отбрасывает ведро. Оно весело звякает о лапу якоря. Наш кунгас похож на телегу с высокими бортами. Невысокий Коля всегда становится на банку, изрезанную ножами. Каких тут только нет имен и изречений! Витя, сбросивший с бортов ноги, оскользнулся на огромной, как велосипедное колесо, камбале. Взяли ее на борт для бригадной кухни.

— Зараза! — ругается он и пинает рыбину, но та всем брюхом намертво присосалась к днищу.

Мы отвязываем кунгас, и он сразу начинает рыскать, корячиться, нелепо взмывая в самое небо острым носом. Торопливо выбираем слабину рабочих канатов. Посудина выравнивается. Коля уже поймал нижний подбор сети. Я свешиваюсь за борт и хватаюсь за ячею обеими руками. Наша снасть — километровое крыло от берега в море. Кончается оно квадратной ловушкой, шестьдесят на тридцать метров, с узким входом. Мы сейчас поднимаем дно ловушки. Шестьдесят метров мы мерим пальцами, вытягивая на себя сеть и пропуская ее под днище кунгаса. Мы упираемся животами в коленями в борт, и кунгас боком проходит все это шестидесятиметровое расстояние.

— А ну! — с улыбкой орет Витя. Уши кожаной ушанки, появившейся на свет, видимо, одновременно с островом Сахалином, хлопают его по щекам.

По проливу мимо нас с грациозностью одухотворенного существа проходит океанский пароходище.

— Во пишет! — говорит Гаян.

Разгибаем спины. Порыв ветра доносит музыку. У Гаяна в глазах обожание.

— Знаешь, там буфеты...— говорит он.— Никакой рыбы, точно говорю. Хочешь бутерброд или там пирожков, пожалуйста. А пиво там...— Он стонет негромко.— А рыбы никакой!

— Будет работа или нет работа? — срывается дядя Ваня и топает ногой. С днища в наши счастливые глаза летят грязные брызги.

— Да ладно,— огрызается Витя и тянет канат. По его щекам шлепают уши шапки.

— Работа — не «ладно»,— зло шипит дядя Ваня. На его багровом затылке, выстриженном шрамами чирьев, взбухают две толстых жилы.— Работа — хлеб.

Леха держит иа весу иижний подбор сети с тракторными катками вместо грузил. Любой другой утопил бы и себя н шлюпку за зтой работой. Только акробаты н звери обладают, навериое, необъяснимым умением чувствовать центр тяжести и положение своего тела в пространстве с такой точностью, как Леха. Лехину голову раза два уже накрыло гребешком волны.

— Ура крикнуть не успеешь,— покосился Гаян.

Мы тянем и тянем сеть, пропуская ее под кунгас. Обязанности распределены строго. Витя на носу, Коля с кормы. Мы с Гаяном на борту. Идет, надвигается, шипя, желтая волна. Папаха пены бесшабашио сбнта набекрень.

«Откуда ты такая?» Я крепче вцепляюсь в мокрую, вибрирующую сеть. Я держу ее голыми ладонями. Резиновые перчатки ие выдерживают больше двух дней. Ладоии чувствуют каждый узелок и ворсинку. Кунгас взлетает вверх, будто им выстрелили. Сеть скользит в горсти. Оиа мокрая, ио жжет. Я сжимаю ее сильней. От моей слабииы корма уходит вперед. Нельзя. Вцепились в сеть Коля и Гаян, сопит дядя Ваня, раскорячился н присел от иатуги Витя. Мы молчим, каждый перемогает навалившуюся тяжесть, как умеет. Волна прокатывается под куигасом. Нас окатило всех разом. Но думать об зтом некогда.

— Налегай помалу,— с улыбкой одобряет Витя. В уголках его запаленных губ слюна. Я тяну сеть. Будто тысячезубое подводное чудище повисло на ней. Мы вырываем метр за метром нз бездонной глоткн. Впереди нас в садок идет рыба. Прошлую переборку было всего десятка трн. Сейчас подцепнли изрядно. Сотни яростных хвостов рубят воду.

— Я вас научу через котел прыгать,— радуется Витя.

Балберы между ловушкой и сетью тонут от тяжести н напора испуганной рыбы. Коля перегнбается через борт, ловко вбрасывает в кунгас пару штук.

— Дурак, а пряникн ем писаные,— поясняет он.

В рыбинах кнлограмма по четыре. Тупо н остервенело они бьют хвостами, разбрызгивая воду. В куигасе уже по колено.

У кеты серебряиое устремленное туловище. Спина сииия или изумрудно-зеленая. Это благородная рыба. Питается только водорослями, плаиктоиом и рачками. Зубов почти нет. Пока мы отгоияем куигас на исходиый рубеж, дядя Ваня постарался для бригадиого стола, разделал рыб. Режет ои нх на пласт через спииу. Режет без задиров, одним движением иожа. Брызжет кровь.

— Природа дала, природа взяла,— ласково разговаривает он с рыбой.

Она еще трепещет, разваливаясь на две половины. В разрезе рыхловатая, как переспелая арбузиая мякоть, красная зернистая нкра.

В это время за кормой раздается сильный всплеск. Оборачнваемся. Как всегда, н зорче н проворнее всех оказался Витя.

— Курносая влетела,— поясняет он.

В наши сети попадается не только кета н горбуша, вперемешку с ними идет несортная селедка н камбала, сиги и хунжа. Попадаются н морские красавицы — капугн. Вес их бывает до тонны, но ее мы выпускаем: лов капуги запрещен.

— Ведь нх как грязи на банках,— возмущаются рыбаки, но запрет есть запрет. Курносой ее зовут за острый задорный нос.

Мы подгоняем кунгас и, багром подцепив сеть, тянем вверх. Вскоре показалась огромиая голова с маленькими красивыми, как малахитовые пуговицы, глазками. Они красивы, в них дремучая готовность к любой участи. Запуталась оиа иосом и обоими брюшными плавниками.

— Может, ее туда? — кивает на берег Гаян и неторопливо выпрастывает из чехла жадно устремленное лезвие. Рыба, ошарашенная диевным светом н нашей бесцеремонностью, не шевелится. Веса в ней за сотню килограммов.

— Пупок не развяжется,— сверкает белками глаз Витя.— Пусть гуляет.

Гаян прячет нож, демонстратнвно садится на банку н закидывает ногу на ногу.

С грехом пополам, чуть не перевернув кунгас, мы вместе с сетью втащнли ее на борт. Ее бело-розовое брюхо нервио вздрагивает.

— Ишь, рыло-т иагуляла! — радуется Колька.— Лежи, не шебаршись, пока начальство не увидело.

Мы тороплнво, царапая пальцы о шершавую ее кожу, распутываем сеть. Когда дело сделано и сеть опущеиа за борт, все садятся, закуривают. Сапогами Коля оперся иа ее хребет. Рыба, затаившая в своем хвосте силу, способную проломить борт, терпелнво ждет. В жаберных щелях тяжелое, удушливое сипенье. Мы подогнали кунгас к краю ловушкн.

— А ну, с улыбочкой! — орет Витя.

Медленно приподнимаем рыбнну.

— Не ходи боснком, не ходи,— пряговарнвает дядя Ваня.

Он суетится больше всех. Рыба нетороплнво и важно погрузилась в волну. Мы смотрим вслед, хотя вода и мутная. Мы думаем, наверное, про одно н то же. Метров за сто пологий склон волны прорезал грациозный, могучий хвост. Рыба нгрнво ударила, н будто молоком плеснули на зеленое — такая чнстая пена. Явственно н нежно тронуло сердце. И парни, забубенные грубияны и злословы, долго смотрят туда, где плывут разорванные пузырькн пены. Но чем дольше смотрншь, тем беспорядочней толпятся волны, и не видно ннчего, сколько ни смотри.

— Ты чего? — толкнул меня Гаян.

— Ннчего.

— Дай спички.

Я достал коробок.

На волны можно глядеть бесконечно, до серых мушек в глазах. Глядеть, ие отдавая себе отчета, почему от беспричинного волнения стесняет сердце. Цивилизация стерла с лица земли Первозданиость. Любой простор ограиичен следами первопроходцев. Море первоздаино. В миле от берега ты с глазу на глаз с тысячелетиями. И вчера и сто веков назад здесь все было так же. Волшебство времени проникает в кровь.

— На,— протягивает коробок Гаян. Он сосредоточенно раскуривает сырую «беломорину». Узкие острые губы держат ее крепко и зло. На мгновение выглянуло солнце. Щедрое золото заплясало на изломах зеленых бугров, заиграло в могучих струях, причудливо свивающихся под диищем кунгаса. Голубые лоскуты неба отразились в море, и все оно двулико заголубело ситчиком и серой сталью. С мокрых канатов срываются капли. Только что они были просто капли, а коснувшись волны — снова море. Громоздкие обобщения лезут в голову.

Леха свесился в своей шлюпчонке за борт, наблюдает, как идет в ловушку рыба.

— Кольк, а Кольк, потрепись чего-нибудь,— говорит Витя, ломая голосом тишину н дрему.

— А чего?

— Ну так.

Колька задумчиво смотрит на бычка, расплюснутого сапогом. Он смотрит целую минуту. Выражение лица, будто не слышал просьбы.

— А, Кольк,— приподнимается Витя и озабоченно оглядывает нас.

Колька делает мученическое лицо. Для человека самое ужасное в жизни, что нет, понимаете, нет мысли, которая кому-нибудь уже не приходила в голову. Нет, хоть расшибись!

— Гы-ы,— сказал Витя.— Угадай, про чего я сейчас думаю?

— Об смыться на берег... В точку?

— Не-а.— Витя озарился хитрой улыбкой, заворозился и, подтянув ноги под себя, сел.— Не-а, совсем про другое. Вот почему моя дочка на меня похожа? — Кунгас зарывается носом, и брызги косым дождем летят за Витиной спиной.— У меня тут вот,— он задрал голову и оттянул ворот свитера на шее,— видишь, родинка.

— Где? — спросил Леха и, перебирая руками по борту кунгаса, подогнал шлюпку ближе. Он черпнул немного, но маневр завершился благополучно. Витя нагнулся, чтоб видел и Леха. Один Коля взглянул мельком на родинку и снова уставился на бычка.

— И у Томси моей тут, манюсенькая только, понял? — захохотал Витя, и Леха захохотал, и лопнула, оборвалась наша напряженность. И Коля не выдержал, усмехнулся:

— Ну вас, папуасов!

— То-то,— назидательно изрек Витя.— Со мной не спорь, ученый, хрен моченый. Сам папуаса!

Посидели, покурили, и тут я почувствовал, как лопнувшая напряженность снова увязывается тугим, корявым узлом. Всегда перед штормом испытываешь неосознанное томление. Коля все смотрел на бычка. Он невысокий и жилистый парень, Коля Донской. От него с лучшим его другом Сашкой ушла прошлой весной жена. Вместе с нею он покупал другу на день рождения лучшие часы из ассортимента райторговского магазина, а значит, и всего побережья на многие километры к северу и югу. Отсчет любых событий — об удачной охоте речь или о сильной буре, он ведет от той даты. «Вот, когда она ушла» или «Перед тем, как ей уйти...»

Она уехала с другом, забрав обеих дочек, даже их фотокарточки. Увезла все барахло, фактически ограбив Кольку. Уходит человек в море — были дом, жена, дети; пришел — голые стены и страшная несмываемая правда. Он стоял в дверях и чувствовал, как к кончикам пальцев стекает холодная дрожь. В пустой квартире он нашел старое ее платье. В нем сохранился запах ее тепла, ее тела. Он повесил его на стену и высадил в цветастый ситчик весь патронташ из ружья. Ему дали пятнадцать суток и пообещали отдать под суд. С тех пор брови на Колином лице удивленно вскинуты, заметно подергивается левое веко. Он долго смотрит в сторону материка. В туманной мгле голубеют вершины двух сопок. Они невесомо и призрачно покачиваются над морем. На той стороне пролива его дочки. Он забыл про бычка и смотрит туда чересчур долго. Витя обеспокоенно ерзает. Вите держать ответ и за улов и за наши души.

— Да брось ты о ней,— говорит он.— Слышь, Никол, брось!

Колька послушно и виновато улыбается. Он старый рыбак, тонул два раза, сходился в тайге с медведем, но сейчас под ним пучина страшнее морской и когти больше звериных.

— Да я так,— бормочет он,— прорвемся.

Слышно, как гортанно и радостно взгомонились чайки. Они между берегом и нами. Перед крылом нашего ставника, на милю уходящего в море, столпилась рыба. У нее два пути: идти вдоль крыла до входа в ловушку или обходить сиасть мористей. Те, что в нашем садке, выбрали первый. Повинуясь тысячелетнему инстинкту, погнавшему их вперед, они угодили к нам.

Кета идет с севера, из Охотского моря, и с юга, мимо берегов Японии. Тысячи препятствий на ее огромном пути. Крючки и сети, ненасытные утробы морского зверя. Попадаются рыбы с выдранным боком, с японским крючком, вцепившимся в глотку. Но они плывут, каждая к своей речушке.

Три, четыре года появившаяся из икринки рыба гуляет по морским просторам. Это срок, отпущенный ей для жизни. Когда он истекает, рыбины плывут к заветной цели. Все они погибнут в одной из светлых таежных речек, где когда-то обрели жизнь, погибнут во имя нового потомства. В лохмотья раздирая о камни тяжелое, икряное брюхо, они добираются наконец до желанного рубежа. Струится, скачет по камням веселый ручей. Самка, облюбовав место, выметывает икру и вскоре погибает. Безжизненную, обезображенную великой битвой, ее скатывает течением в море. Ее долг перед природой почти выполнен. Когда из икринок проклюются мальки, тело матери станет их первой пищей. Безграничная мудрость природы предусмотрела все.

Трагедия самца дольше. Он остается на страже икринок. Часто с распоротым животом, тощий и безумный, он кидается на всех, кто осмеливается приблизиться к икринкам. Он стоит носом к течению, из последних сил работая хвостом, создавая благоприятную циркуляцию воды. Он ничего не ест. Караул бессменный, до последнего биения сердца. День, два, три, неделя. Все кончается. Но за это время в прогретой воде, в янтарных икринках произошло великое преобразование. Родилась жизнь. Вслед за своими родителями скатываются в море шустрые мальки. Даже в стакане с водой их микроскопическая жизнь хрупка и полна опасностей. Они плывут в море. Через три года они вернутся. Таков закон и смысл их существования.

Витя, развалившись на телогрейках, вздремнул. У него загорелое, до сизого оттенка задубевшее лицо. Каменное его выражение не меняет даже улыбка. Лет ему двадцать пять. У него мелкие, изумительной крепости зубы. Однажды он открыл ими консервную банку — выгрыз по кругу крышку. Лицо его спокойно, даже если при переборке порезанная, припухшая ладонь пятнает кровью вымытый до белизны сезальский канат. На его лбу, кончике носа, небритом подбородке дрожат капли. Он не замечает, дремлет. Из одной формы существования без усилия перешел в другую. Я заметил: люди, как Витя, никогда не колеблются между двумя решениями. Избрав цель, они идут только к ней. Они не путаются в вопросах: да — нет, можно — нельзя. Может быть, они упрощают жизнь? Вряд ли. Они не знают, что можно сворачивать. Не понимают этого, как гуси, прокладывающие путь к гнездовьям. Их осыпают картечью, но они летят древнейшим маршрутом, заполняя собой проломы в строю. Они лишь набирают высоту — единственное, что им можно. Свернуть нельзя.

По морю к нам приближается черная точка. Все вытянули шеи, гадают, что за зверь.

— Никакая не нерпа, а Тузик, дядь Вань, твой,— объявляет Леха.

— Точно, он, шалабудный,— щурится дядя Ваня,— он, сукин кот.

Утром мы уходили в море, и Тузик, пометавшись перед желтой гривой прибойной волны, за кунгасом не поплыл. Весь день он копил в сердце жестокую тоску. Сейчас начался отлив, и волны прилегли.

На последних метрах собака, увидев хозяина, делает рывок, сбивается с ритма, и ее морду захлестывает. Дядя Ваня отворачивается.

— Ну, давай! — дружно орем мы.— Давай!

Тузик из последних сил шевелит лапами. Мы втаскиваем его на борт. Он валится набок, впавшие бока ходят ходуном. Но глаз, заплывший кровяной пленкой смертельной усталости, следит за хозяином.

Мы сделали две переборки и уже устали говорить про сахалинских собак, их верность, выносливость и неприхотливость, один дядя Ваня все оглаживает барбоса. Голос журчит ласково:

— И хорошие из тебя перчатки выйдут,— рассуждает он, запуская пальцы в черную шерсть разомлевшего от ласки пса.— Чего смотришь? То-то.

Дядя Ваня не злой человек, он хозяин, и все в его хозяйстве должно работать до полного исчерпания всех видов пользы. Пуговица, ржавый гвоздь, обрывок веревки никогда не бывают брошены им. Любую бесхозяйственность он зовет паскудством — слово для него самое ругательное. Он произносит его сопревшим, сырым голосом, среди самой разухабистой брани оно слышнее и злее всех других. Но нужно видеть, с каким блаженством и умилением он выправляет рашпилем зазубрины старого топора, сплетает обрывки пеньковой веревки, подшивает ощерившийся ботинок. Он прищелкивает языком, сопит и покашливает. Он в эти минуты неустанный работник. В тот час, когда дядя Ваня не сможет работать, он умрет. Мы подшучиваем над ним, но мы же чувствуем некую тоску потому, что не имеем в душе того, что имеет он. Дядя Ваня и ходит странно. Вразвалку, руки прижаты вдоль туловища, ладонями вперед, будто только что он положил тяжелый груз или, наоборот, готовится взять. Голова у него растет сразу из плеч. Сейчас он сидит и мирно разговаривает с Гаяном. Только что мы сделали переборку, уже и не вспомнишь, какую по счету.

— Что такое человек, да? — разводит он руками. Гаян привалился к борту, сонно кивает.— Вот ты сидишь себе, то да сё. Хорошо ж? А еще грузчиками были, пришли на корабль, там трюмы отдраены, бимсы и уключины в стопочке. И груз уложен! Бери и неси, во как! А не дергай его, не рви жилу. И нет его, кто сделал. Нету. Но работаешь ты, а он рядом. Помогает. Это вот и есть человек. И ты тогда стараешься не швыром бросить, а уложить. Твое добро до него не дойдет, оно до другого дойдет, а другой свою работу сделает по уму, и так оно пошло. А потом и до него дойдет. Я молодой был, не верил про это.

Гаян спит. До кирпичного цвета принаждаченные ветром скулы слегка побледнели. Светлые, выгоревшие брови сошлись, между ними первая мужская складка.

— Это ничего,— делая вид, что не видит, рассуждает дядя Ваня.— Все были молодые. Мне сапог на сезон не хватало. Все, бывало, на танцы спешу, все на танцы.

Фа бананавам, лимонном Сингапуре,
Где пылачит и рыдаит окиант...

Это Леха голос подал. Он развалился в шлюпке и поет дурашливым голосом. Он походя разрушает, будто ногой пнул, суровый ореол наших мыслей и всей окружающей картины, с ветром, снова забренчавшим в канатах, волнами, круче изогнувшими хребты. И не скажешь, что не понятно Лехе чувство красоты. Но восхищение морем, из других так ловко выливающееся словами, чуждо ему наверняка. Он в море работник. И если ветер и волны, они ему помеха, как высота — монтажнику, жара — литейщику, голубые васильки во ржи — хлеборобу.

Лежите вы адна на львиной шкуре...

Петь песню до конца ему неинтересно. Он обращает свои шалые глаза на дядю Ваню.

— Слышь, дядь Вань, если я твою Клавку замуж возьму, продашь к свадьбе корову?

Шутка жестокая. Клавка, сдобная, краснощекая девица, поверила матросу с проходящего парохода. Недавно родила Клавка. Пальцы дяди Вани поглаживают рукоятку ножа. Может, и вернется матрос. У Клавки влажные зеленые глаза. Может, и вернется. Кончится навигация, и то, что сегодня — предмет ядовитых пересудов для кумушек рыбацкого поселка, преобразится в счастье новой семьи.

— Корову я продам,— тихо говорит дядя Ваня. Он улыбается одними углами губ.— Почему не продать, если сам Леха жениxается? Продам.

Леха поперхнулся и затих в шлюпке. Ни петь, ни разговаривать ему неохота. Было дело, бегал он за Клавкой, приглашал на твист в клубе «Рыбник». Но сейчас ломится полосатой грудью через меридианы и параллели Клавкин матрос. Вот только в сторону Клавки или от нее, неизвестно пока. Простому, доступному счастью предпочла Клавка свое.

— Мне дочку море подарило,— обливая холодным презрением, говорит она людям.

Выходит, умнеть нужно Лехе, чтоб не просто понять и простить, а хотя бы по-человечески отнестись к человеческой судьбе.

Неожиданно подбрасывает выше обычного. Разом все загомонили. Ветер окреп. Его порывы срывают с волн водяную пыль. Минуту назад пологие склоны были масляными и густыми, теперь и на них пляшут мелкие барашки. Море мгновенно ощерилось острыми гранями.

— Как, Витек, булькнем сегодня? — буднично зевает Колька и продолжает выкручивать портянку.

От берега спешит небольшой катерок «Мотодори», ласкательно «Дорка». За румпелем старшина Саша Комов, рядом бригадир Дюн и двое из бригады. На длинном буксире, зарываясь в волну, тащится байда: к нам идут за уловом.

— У них в башках что, масло закипело? — сплевывает Витя.— Кто в такую волну рыбу выливает!

— Ее через час волной вышибет,— подает голос Леха.— А может, через два, зря, что ль, море цедили?

— Зря, зря. Умники! — раздражается Витя.— А техника безопасности?

— Техника эта самая, она да! — соглашаемся мы.

— Нужна «техника». Но рыбу не бросишь?

Мы отвязываем кунгас, делаем последнюю переборку.

— Я эту рыбу в гробу видал, понял! — бормочет Гаян.— Я ее сто лет знать не хочу! — Чем быстрее работают его руки, тем быстрее он говорит. — Пусть хвосты ее в горле у тебя, Витя, встанут, понял?

— Ага,— с улыбкой басит Витя,— и еще разок, взяли!

Мы тянем и тянем сеть. Неважно, что поймаем сейчас. Теперь важно спасти рыбу в садке. Тяжелые валы прокатываются над балберами. Они не успевают всплывать, и через верхний подбор одна

за другой перекидываются упругие серебристые тушки. Теперь они не наши.

Когда подходим к садку, Комов одновременно подводит к противоположной его стороне байду. Пару раз «Дорка» съезжает с крутой волны и чудом не достает бортом до угловой сваи. Я даже голову в плечи втянул от предчувствия болезненного хруста дерева. Комов отработал назад вовремя. Если б ударило, может, проломило бы борт, а может, сломало бы сваю. Думать о том некогда. На каждой руке висит стопудовая тяжесть, и нужно брать ее на себя, все время на себя. Но я думаю, ослепленный брызгами, думаю: «Хорошо быть на свете мастером. Капитан ли ты, грузчик, токарь или рыбак. Быть мастером — вот это важно. Без этого жизнь, как жеваная промокашка».

Мы подвели кунгас почти вплотную к байде. В узкой щели между бортами провис садок, заполненный рыбой. Еще минуту назад мы увертывались от брызг, берегли крошечный сухой пятачок под собой на банке. Теперь мы мокрее воды. Буравит, вспенивает волну, сражаясь за жизнь, каждая из тысяч рыб. Вода клокочет. Наши сердца воссоединились в единое, огромное сердце. От напора может лопнуть сеть, и весь улов уйдет в море. Может затонуть кунгас, могут полопаться жилы на наших руках. Мы своей единой силой перемогаем слепую силу моря. Мы черпаем рыбу каплером. Четверо заводят его рога с байды, мы с Гаяном помогаем с кунгаса. Первые рыбины с тупым звуком ударились о голое днище байды, яростно и бессильно заколотились о доски, пуская из жабр густые подтеки крови. Говорят, у рыбы холодная кровь. Правильно говорят, но зря. Не надо так говорить. За первым каплером черпаем и поднимаем второй, третий.

— Ну, что, рыбьи убийцы,— кричит Комов,— есть навар!

Тяжелые валы все идут и идут на нас. Леха ничего не видит. Он отдирает самцов, мертвой, остервенелой хваткой закусивших ячею. Он успевает швырять в море камбалу, сигов и навагу, угодивших в садок.

— Кончай ерунду, кончай! — машет рукой бригадир Дюн.

Леха торопливо работает. Все эти живые, трепещущие, устремленные к жизни рыбы на приемном пункте летят с пирса в море как мусор. Может быть, спасая их, заполняет Леха грустную пустоту, образовавшуюся в нем после шутки с дядей Ваней?

Два раза кунгас черпнул. Мы с Гаяном метнулись к другому борту выравнивать крен.

— Ха,— сказал Гаян, и всей пятерней, липкой от рыбьей слизи и чешуи, утер лицо.

— Чего? — невинно интересуюсь я.

Он не слышит меня, ведро так и мелькает.

— Хуже было, понял? Точно говорю. Раз под завязку черпнули, и ничего. А еще было, перевернулись. Я за днище уцепился, как краб.— Он нервно хохотнул. Он работает, как машина. И я работаю. Парни с «Дорки» и байды ждут молча. Наконец, ведра стукнули о днище. Облегченный кунгас резво карабкается на волну.

— Чего я говорил? — бормочет Гаян. На бронзовых скулах отсветы заката.— А ты боялся.— Я молчу. Ноет спина, и противно вспоминать про свои ладони. Но в мускулах плеч и рук радостное, праздничное настроение. Я сейчас живу одними этими мускулами, и я, наверное, очень долго проживу.

Обмякший, поникший Гаян сидит на корточках, привалясь к борту. Отсюда ему не видно моря. Гаян вышел из игры. Как сказал бы Витя — сдох. Но Витя кричит про другое:

— Гамузом, взяли!

Рыбу, оставшуюся в садке, мы переваливаем в байду. Она грузно садится. Комов благополучно отводит ее. Быстро темнеет. У нас в кунгасе снова вода, но никого это не заботит.

— Центнеров под сотнягу взяли,— говорит Витя.

— Взяли, когда довезли и сдали,— поправляет Колька.

— Ну и делов, чего тут,— оглядывается Витя в сторону ушедшей «Дорки».— Комов плавал, Комов знает...

Мы разбираем весла. Мы остываем от работы, чувствуя, наконец, как вдоль спины, до самых пяток ползут холодные капли. Я вставил уключину, нащупал каблуком упор покрепче. Выгребаться по такой волне — не с пряников пыль сдувать. Но ветер помогает нам. Леха гребет рядом со мной. Его шлюпка крутится на буксирном конце.

Волны, летящие на пологий, песчаный берег, быстро истаивают. Длинные, пенистые языки, в которых перекатываются скрученные в валки водоросли, щепки и коряги, свиваются в стремительные водовороты. Нужен такой расчет, чтобы кунгас удержался на гребне как можно дольше. Его тогда вынесет за прибойную линию. Если днище коснется берега раньше, следующая волна накроет с головой и оттащит в море. Хрустнет весло. Неуправляемый кунгас поставит боком, а может, перевернет сразу, без всяких церемоний. Витя, пригнувшись, с якорем в руках стоит на носу. Одним глазом следит за морем, другим — за вырастающим берегом.

— Левым притабань! — командует он.— Полегче говорю, полегче. Та-а-ак.

Высокий, пенистый вал наваливается на корму.

— С улыбочкой,— победно вскрикивает Витя, — понеслася...

Привстав, налегаю на весло. В этом рывке я весь. Нас возносит под первые, неясные звезды. У берега волны всегда выше, под ними твердая основа. Через ручку весла чувствую живое упрямство моря. Весло согнулось в дугу. Кунгас на гребне.

— И-н-рр-рас,— выкрикивает Леха,— и-и-ррас!

Мы спиной к Вите и не видим, когда он бросает якорь. Расплющенные ухватистые лапы увязли в песке. Волна прокатилась вперед, и кунгас всем днищем ткнулся в песок. Его шпангоуты хрустнули, как старые кости. Обратный ход волны утягивает его в море. Витя изловчился, прыгнул и, встав на якорь, пропахавший борозду, собственным весом помогает ему завязнуть глубже.

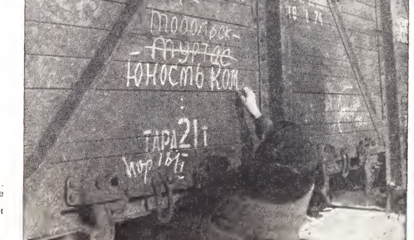
Море теперь бессильно против нас. Через нос кунгаса, чтоб не черпнуть в сапоги, прыгаем следом за Витей. Все вместе наваливаемся на якорный канат и тянем. Волны помогают нам. Мы работаем и еще не знаем, не можем знать, что к концу путины комбинат возьмет два плана. На общем собрании мы будем отбивать ладони, когда нам вручат переходящее красное знамя.

Мы ничего не знаем, мы работаем.

Сахалинская область.

ЮНОСТЬ—КОМСОМОЛЬСКАЯ





На снимках:
В СМП-522 взрослыми и солидными казались и двадцатитрехлетние (вверху).
Теперь поезда пойдут до станции Юность-комсомольская (внизу).

Фото А. КАРЗАНОВА.

Бывает, что и сейчас, надписывая на конверте адрес нашей далекой сибирской стройки, вдруг забудешься — и из-под пера выходит по-старому: Тюменская область, Уватский район, станция Туртас... «Туртас» — вот где по инерции вкрадывается ошибка. Уже не Туртасом называется станция в таежной тюменской глухомани, а Юностью-комсомольской. В начале марта — два месяца назад — я был на станции на торжествах по случаю переименования.

И раньше приходилось бывать в здешних местах. Помню самые первые денечки комсомольско-молодежного строительно-монтажного поезда № 522. Этот поезд «бросили» на 313-й километр трассы Тюмень—Сургут неподалеку от речки Туртас первого апреля 1971 года. Острот по сему поводу было отпущено немало. Самая ходовая: «А может, нет никакого СМП-522 — так, первоапрельская шутка?»

В это время 522-й уже вовсю сражался с распутицей (плюс 10 показывал термометр, жарило солнце, и все кругом поплыло), разгружал платформы с машинами, щитами, цементом и кирпичом, врубался в тайгу, расчищая место для будущего поселка. Девчонки и ребята одеты были пестро, как школьники на воскреснике. Работали неумело, но задорно, шумно.

— Неужели вы думаете с этими детишками строить станцию? — спросил тогда Николая Доровских, начальника «первоапрельского» поезда, представитель управления.

— Не просто думаем,— ответил Николай,— строим.

А мальчишки и девчонки, вчерашние десятиклассники (теперь главная ударная сила первого в стране комсомольско-молодежного СМП), собирались вечерами по балкам и палаткам, жаловались друг другу на прозаическую свою судьбу. Думали о тайге, о трудностях, об испытаниях и каждодневном риске, а тут и «железку» уже проложили, и через месяц собираются перевести из палаток в щитовые дома, и на смену кострам и печуркам начальник поезда обещает на следующей неделе завезти газовые плиты. Ну и романтика!

А вот о чем мечтали ребята — у меня сохранились выписки из комсомольской стенгазеты:

«Здесь не будет болота — сплошной асфальт и клумбы. Белые высокие дома. И я буду каждый день ходить в платье. Ко мне приедет мама».

«...откроем филиал техникума. За поселком (я уже присмотрел сухое место) будет стадион. Можно будет приглашать на футбол ребят из Тобольска».

«...построимся здесь и уедем дальше. Интересно — куда?»

Мечтать было, конечно, легче, чем строить, и испытания действительные были во сто крат серьезнее желаемых.

Случилось так, что в 50-градусный мороз лопнули трубы теплоцентрали. И тогда же — подмерзли контакты — сгорела электростанция. Сто человек спали по четыре часа одетыми, под двумя одеялами. Все остальное время суток упорно долбили каменную землю, и только на исходе десятого дня нашли место, где лопнула труба теплоцентрали.

Однажды понадобилось срочно построить небольшой мост — без этого моста строительство дороги откладывалось на неопределенные сроки, и бригада путейцев Виктора Молозина, поучившись совсем недолго, в рекордный срок — за два месяца! — построила сложнейшее инженерное сооружение. Диву дались специалисты!

В 522-м комсомольском поезде впервые на трассе каждый должен был освоить две-три рабочих специальности.

В СМП-522 впервые на стройке три молодежные бригады стали работать по методу подмосковного строителя Николая Злобина.

522-й упорно отстаивал идею строить вначале коммуникации и системы теплоцентрали и водоснабжения, а потом уже — жилые дома. И отстоял!

522-й комсомольско-молодежный поезд за год проделал такой объем работы, какой другие строительно-монтажные поезда проделывали за три года.

В 522-м взрослыми и солидными считались двадцатитрехлетние. Средний возраст — 20 лет.

На торжествах переименования Николай Доровских сказал мне:

— Постарели наши, семьями обзавелись...

Три года прошло. Разросся поселок, отступила тайга. Выросли, возмужали люди.

«Тысячи юношей и девушек по призыву партии и направлению комсомола самоотверженно трудятся на сооружении стальной магистрали,— писали строители в исполком Тюменского Совета депутатов трудящихся, ходатайствуя о переименовании станции Туртас в станцию Юность.— Их труд поистине героический. Сквозь тайгу и непроходимые болота все дальше на север уходит дорога. Преображается некогда глухой, необжитый край. Итог труда комсомольцев — новые километры пути, жилые поселки, новые мосты и станции. Одна из таких станций расположена на трехсотом километре трассы. Над ее сооружением трудится первый в стране комсомольско-молодежный поезд 522. Эту станцию по праву можно назвать детищем комсомольцев и молодежи».

Юностью-комсомольской!

А. ФРОЛОВ



Владимир КОЗЫРИН

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

О том, что в цехе моторов на некоторых участках много формализма в соцсоревновании, я знал, когда шел сюда по совету секретаря комитета ВЛКСМ автозавода имени Ленинского комсомола Евгения Городецкого.

— И учим, и советуем, и с опытом других знакомим. Но то ли из-за спешки, то ли еще по какой причине не могут они изжить казенщину,— говорил мне Женя.— А ведь там много хороших ребят.

И вот я в цехе. Знакомлюсь с невысоким худощавым пареньком.

— Вы что, проверяете у нас организацию соревнования?

— Проверять не проверяю. Хочу понять, что к чему.

— Тут поймешь! Я слышал, как вам профгрупорг говорил: друг с другом соревнуются, имеют напряженные личные обязательства, ежедневно подводятся итоги. Так вот знайте: ничего этого нет.

Я спросил его фамилию.

— Ну, Шаганов Юрий! А что?

— Так вы тоже соревнуетесь. Я видел ваше обязательство.

— Не я его писал. Отказываюсь от этого соревнования на бумаге.

Слушая Шаганова, я вдруг вспомнил разговор, почти слово в слово повторяющий сегодняшний. На московском заводе «Серп и молот» молодой сталевар Андрей Болкунов вдруг заявил на собрании в красном уголке: «Пока администрация не обеспечит всем необходимым для работы на полную мощь, не буду брать повышенных обязательств». Несколько дней в цехе шли споры, прав или не прав Андрей. Разговор был продолжен на цехкоме. Потом в кабинете директора завода Болкунова поддержали многие рабочие. Пришлось директору обращаться к самому министру черной металлургии, чтобы увеличили заводу лимиты на чугун. Министр пошел навстречу. И вот результат: Андрей Болкунов обещал дать чугуна в три раза больше, чем предусматривалось по тому обязательству, какое предлагал начальник смены. И выполнил его. И не только он, а весь завод буквально перестроился, и теперь предприятие дает сверх плана в два раза больше стали, чем это было раньше.

Вот что может сделать иногда инициатива одного человека. Об этом я думал, глядя на своего нового знакомого. А между тем Юра продолжал:

— Ходил я и в цехком, но там меня высмеяли: «Не тобой придумано, не тобой будет и отменено, шуму вокруг своего имени хочешь!» Ну я и ушел ни с чем... У нас в «общаге» и то лучше поставлено соревнование. Победишь — тебе и приз, и «молнию» выпустят, и поздравят...

После разговора с Юрой я подумал: «А как обстоят дела у его сверстников из соседнего цеха?» Спрашиваю Галю Васильеву, она станочница:

— Какое у тебя обязательство на этот год?

— А я уже и не помню. Там тетя Катя чего-то писала. Это моя наставница.

— Ну, хоть один пункт помнишь? Назови любой...

— Ну, например, не опаздывать на работу, не иметь прогулов, активно участвовать в общественной жизни...

— Не делать брака, содержать в чистоте свое рабочее место, да? — подсказал я Гале, зная по опыту, что все эти пункты, как репейные шишки, цепляются ко всем формальным обязательствам.

— Да, это у нас главное,— гордо заявила Галя, не подозревая подвоха.



— Но ведь это же обязан делать и так каждый добросовестный рабочий, а обязательство должно выходить за рамки обязанностей.

— Я не знаю. Нам этого не говорили.

— Кстати, с кем ты соревнуешься?

— Не знаю. А зачем мне это?

— Неправду говоришь, Галя,— заявила подошедшая женщина — профгрупорг.— Ты соревнуешься с Аней Никитиной.— И, улыбаясь тревожно, повернулась ко мне.— Это она просто забыла, вы уж ее простите.

Но и Аня Никитина не знала, кто ее соперник по соревнованию. И другие ребята, с кем я говорил. Снова пришлось профгрупоргу «выручать» их, разъяснять, кто с кем соревнуется. Смотрю обязательство Кости Собинова. Там значится: «Экономить электроэнергию, смазку, инструмент».

— А как это конкретно выразить? — спросил я паренька.— Ведь можно сэкономить и двадцать киловатт и сто — все будет экономия. Расчет вел, анализировал?

— Ну, какой там расчет, товарищ,— вмешивается профгрупорг.— Он же еще совсем молодой. Всего год работает.

Я долго разъяснял профгрупоргу, что соревнование для того и служит, чтобы как раз учить молодых анализировать свою работу, вести учет, биться за экономию. Привел ей примеры с участка инструментального цеха, где тоже работают совсем юные, но соревнуются по всем правилам экономики,— там их обучают этому, подсказывают. Дальше я спросил профгрупорга, почему у Кости стоит пункт об экономии смазки и металла, хотя он, сборщик, никакого отношения к смазке не имеет, металл экономить ему тоже не из чего, так как работает Костя только с готовыми металлоконструкциями.

— Ну, это так, случайно попал пункт. Другие писали, которые имеют дело с металлом и смазкой, ну, а он переписал все. Но вы зря на него напали, он хороший же паринишка.

И я опять вспомнил Юру Шаганова. Толковый из него выйдет рабочий. Вовремя он, ровесник Кости Собинова, разозлился на рутину и застой в организации соревнования у себя на участке.

К счастью, таких участков, как те, на которых работают Юра и Костя, на автозаводе имени Ленинского комсомола оказалось только два. В других цехах, где мне пришлось побывать, я видел хорошо налаженное соревнование.

Конечно, все это не пришло само собой. Было время, когда во многих цехах отдавали предпочтение «бумажному» соревнованию, но после известного постановления ЦК КПСС «Об улучшении организации и дальнейшем развитии соревнования» от 5 сентября 1971 года коммунисты и комсомольцы завода решили перестроиться.

— В соревновании, особенно среди молодежи, очень важно подобрать пару или, как говорят, нужного соперника,— сказал мне парторг одного из участков цеха инструментально-штампового производства Виктор Гаврилович Кучеба.— Важно, чтоб соперник был задорный, болеющий за дело. Он тогда не даст покоя тому, кто с ним соревнуется. Ну и, конечно, важно, очень важно подобрать молодому парню нужного наставника. Не лишь бы кого, а именно беспокойного человека. Передовика, новатора. Такой никогда не позволит, чтобы его подшефный плелся где-то в хвосте. Вы, кстати, заметьте такой факт: у всех нынешних наших передовиков и победителей соревнования, как правило, были и наставники-победители. Это они им привили дух соревнования, дух лидерства, нежелание быть в отстающих. Имен воспитателей и воспитанников, ставших гордостью завода, я много могу привести. В общем, нужны не только призывы — нужна сумма условий, чтобы соревнование пошло...

Да, я полностью согласен здесь с парторгом участка. Помню и сам, как мне помог в организации соревнования правильный подбор соперников. Это было, когда я работал мастером участка.

Найти подростку достойного соперника — это уже половина победы. Случилось так, что мне трудно было заставить по-настоящему состязаться молодого слесаря Виктора Агашина. Парень жил по принципу «моя хата с краю». Сразу же заявил мне, что не «нуждается ни в каких призах», что «соревнование — это комедия», и т. п. И вот по совету профгрупорга мы предложили Коле Самарцеву, отличному слесарю, заядлому спорщику и острому на язык парню, вызвать Виктора на соревнование. В данном случае я шел обычным путем, как делал раньше и как советовали делать опытные мастера: инертному, равнодушному человеку нашел в соперники более задиристого, энергичного. Но этот случай мне еще раз показал, что не все, даже самые умные советы годятся в таком тонком деле, как организация соревнования среди молодежи.

Опыт не удался: Агашин отстал в первый месяц, во второй. И, как я понял, ни насмешки товарищей, ни торжественные награждения его соперника на собраниях на него не действовали. Он твердил одно: «Меня это не щекочет, как работал, так и буду работать». И тогда я решил попробовать подобрать другой «ключик», за что, помню, меня вначале даже поругали: я предложил в соперники Агашину токаря моего участка Нину Сургацкую. Они были ровесники. И кроме того, Виктор искал «ключик» к сердцу Нины.

В комитете комсомола мы поговорили с Ниной, и она согласилась вызвать на соревнование Виктора. Правда, у них были разные профессии, но выход из этого я нашел быстро: в планово-диспетчерском отделе попросил каждому вывести выработку в нормочасах, остальное сделать было не трудно.

Парня словно подменили! Во-первых, само такое соревнование понравилось Виктору уже потому, что у него теперь была причина подойти и поговорить после рабочего дня с Ниной. Раньше он при ней «тушевался», аж стеснялся говорить. А во-вторых, в нем заговорило мужское самолюбие: как это так — уступить девчонке!

Виктор победил в соревновании и, как сказал мне позже, «вырос в своих глазах и в глазах Нины». Конечно, как и полагается порядочному мужчине, он помог и Нине.

В дальнейшем эта «пара» была самой результативной. Состязание шло между ними все три года очень успешно. В 1966 году соперники... пошли в загс. Пусть нынешний бригадир «Ростсельмаша» Виктор Петрович Агашин и профгрупорг механосборочного участка Нина Агашина не обижаются, что я взял их в пример.

...Согласен я с Виктором Гавриловичем Кучебой и в том, что к молодым рабочим необходимо прикреплять только передовиков и новаторов. Бытующая у нас кое-где привычка давать новичку наставника по принципу: «норму перевыполняет, не пьет, нарушений нет — годится» — мешает нам в соревновании, потому что такой рабочий (мы его называем «середняк») мало дает молодежи. Хуже того, такие, бывает, еще и учат молодых: «Не высовывайся, не рвись вперед, а то расценки срежут». А это уже явный минус. Такой рабочий не будет стремиться победить,

вечно будет держаться традиционпой «золотой серединки», н его потом будет очень трудно «разжечь».

Согласеи я и с тем, что мне сказал Кучеба иа прощаиие,— иужио иам больше писать о наставниках. В самом деле, мы все зиаем треиера гимнастки Людмилы Турищевой — Михаила Воронииа. А вот кто был иаставником у прославлеииой труженицы Галины Арефьевой, у Анатолия Злобина? Ведь все нх победы пришли в результате хорошо налаженного соревиоваиия, а к этому нх приучили в прошлом наставники.

Уходил я в тот раз из «иннструменталки» с хорошим настроением. Видел я обязательства ребят. Видел, как подводили итоги, как экономически грамотио «придирались» друг к другу Саша Новиков и Серожа Чижов. Видел, как их «производственный арбитр», комсорг участка фрезеровщик Володя Паиюшкии, доказывал Чижову, что ои «проиграл» в этом месяце из-за своей халатиости, получив по культуре производства четверку, а у Новикова была пятерка.

— Да, ио зато я теорию лучше его зиаю! — горячился Сергей.

Недавио я узнал, что Сергей все-таки победил Сашу. Но все равио оии оба в выигрыше: у того и у другого выросли зиаиия, мастерство, культура производства н, коиечио же, заработки. Так что в накладе не остался никто.

«Вот бы куда Юрку направить из моторного! — подумал я.— Размахиулся бы парень. Тут бы он и поддержку нашел. Надо встретиться с ним еще раз».

В тот деиь я решил навестить прославлениую иа АЗЛК комсомольско-молодежную бригаду Николая Горбачева. О «горбачевцах» и их соперниках — о бригаде Петра Шишкииа — сейчас пишут в газетах. Было время, бригада ходила в отстающих, имя бригадира часто склоиялось в приказах по цеху сборки-2 за задержку паиелей. Их иехватка сдерживала завод в целом. И вот в прошлом году встретились два бригадира и решили соревиоваться по-настоящему: заключили договор, взяли иапряжеииейшие обязательства. И началась борьба. Сначала шли вроде иа равных, потом вперед вырвался Ннколай Горбачев со своими хлопцами. Октябрь и ноябрь прошлого года Горбачев ие уступал Петру, ио потом «шишкинцы» все-таки «одолели» соперииков и два месяца подряд шли впереди. Результаты сказались быстро: благодаря хорошо иалаженному соревиоваиию цех вышел вперед, тем самым позволив заводу значительно перевыполнить плаи. Не случайно бригадиров потом пригласил к себе генеральный директор завода В. П. Коломииков и вместе с руководителями парткома н завкома ВЛКСМ спрашивал совета, как дальше распространить их опыт.

Когда я пришел иа участок заливки, где трудится бригада Горбачева, я увидел свежие плакаты, доски с подведеинем итогов. Яркая «молиия» извещала о том, что победа за прошлый деиь — за бригадой Петра Шишкииа. Как раз у «горбачевцев» шло собрание. Сам бригадир совсем не похож на передовика с плаката: иосит бороду, сутулится и вообще вполне земной, обычный.

— Хлопцы, нас обошли,— говорил бригадир.— Какие есть предложения? Сегодия мы должны сделать ие меиьше 320 паиелей.

Решили ускорить подготовку машииы к заливке, быстрее делать обрезку, ответственную операцию. В обедеииый перерыв я разговорился с Николаем.

Бригадир рассказал, как важио подводить ежедневный итог и узнать, кто па сколько отстал, чтоб собраться потом с силами и наверстать упущенное, как важно, чтоб каждый мог экономически грамотно обосновать свое обязательство и проверить обязательство соперника.

Рассказал о случае, когда в соревиоваиии двух бригад в цехе произошел казус. Одна бригада взяла довольно-таки аккуратненькое, легковесиое обязательство с расчетом, чтобы перевыполнить его иа больший процент; а другая взвалила на себя напряженное, трудное, пустив в дело все резервы. И, конечно, у нее процент перевыполнения получился меньше, чем у «хитрецов». А все это результат неумения экономически грамотно анализировать обязательства. Поэтому первое условие в соревиоваиии между участками — научиться расчетливо, по-хозяйски мыслить.

Я рассказал Николаю Горбачеву о Юре Шаганове.

— Правильно поступил пацан! И если он отважился вынести сор из избы, так только для того, чтобы чище в самой «избе» было. Побольше б иам таких. Соревноваться — это значит творить, ломать старое, отжившее, добиваться наибольшего в производительности, в экономии. Передайте Юре, я полностью иа его стороне.

Я еще много ходил по цехам, говорил с молодыми рабочими — победителями в соревновании. Сейчас иа всем автозаводе состязательный настрой: в этом году здесь будут отмечать две знаменательные даты — 50-летие автомобильной промышленности СССР н выпуск двухмиллионного «Москвича». Лучшим бригадам — победителям в социалистическом соревновании — в августе будет предоставлено почетное право собрать юбилейный автомобиль.

А с Юрой мы встретились иедели через три.

— Ну, как иа участке дела?

— Сейчас — во! — гордо выставил Шаганов большой палец и оживился.— К иам сам Городецкий, комсомольский секретарь завода, приходил. Собрание иа участке было, в партком людей вызвали, целую неделю тут все рылись в обязательствах, пересматривали. Пацаны из «инструменталки» приходили, рассказывали, как соревнуются. У меня сейчас обязательство — сила! На пять процентов решил я повысить производительность труда. А в наставники мне дали лучшего рабочего в цехе — быстрее всех собирает мотор. Я с одной гайкой вожусь, а он уже три в это время успевает поставить. Но я уже научился у него кое-чему. Вызвал я иа соревнование Витьку Кулешова. Товарищ мой. Ну, пока. Я еще не обедал, а мне иадо сегодня подиажать, а то Витек времени не упустит.— Юрка махнул рукой иа прощание...

Возвращаясь в тот деиь с автозавода, я думал о поступке Юры. Да, вопреки воле цехового начальства он «вынес сор из избы». Но ведь это только иа пользу пошло. И как хотелось бы, чтобы все остальные наши ребята и девчата, увидевшие у себя иа участках формализм и бездушие в организации соревнования, не мирились с этим. И чтоб не просто критиковали кого-то, а и сами делом помогали соревнованию стать таким, каким оно должно быть. Как это сделали Андрей Болкунов с завода «Серп и молот» и Юра Шаганов с автозавода имени Ленинского комсомола.





Олег
МОРЖАВИН

ТРОЕ

Рисунки О. КОКИНА.

Мне рассказывали, что еще недавно его серые, прищуренные глаза смотрели на всех с холодком, «сверху вниз», будто одному ему было известно, как нужно жить. В лице чувствовалась уверенность, руки, когда он начинал говорить, словно сабли, рубили воздух, а фразы, длинные и утвердительные, заканчивались восклицательными знаками. И был он энергичным, собранным, как пружина, в любую минуту готовая распрямиться.

А сейчас он похож на выпавшего из гнезда грачонка: какой-то сжавшийся, нахохлившийся. Лицо, худое, с резкими чертами, неспокойно: боль сменяется гневом, гнев — отчаянием, а в речи все чаще появляется раньше совсем несвойственная ему вопросительная интонация. И он снова и снова в разговоре со мной повторяет: почему так вышло? Чего он не понял? Может, часто бывал слишком жестким к другим и нетребовательным к себе? Может, зря брался за все сразу? Хотел объять необъятное? Но чаще других звучат эти непонятные для меня слова: «Ведь нужен я им был, нужен, а они...»

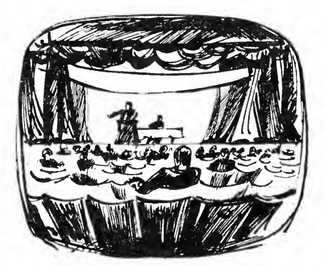
История, так повлиявшая на Андрея Тымченко, с первого взгляда была довольно банальной. Пришел работать на завод, увидел, что в производстве много недостатков, а устраняются они плохо. Ему показалось, что в комсомольской организации скука, никаких вроде серьезных дел нет, ребята словно спят. Начал Андрей «наседать» на комитет: действуйте поэнергичнее! Сам стал всякие мероприятия организовывать. Но, как говорят, не нашел общего языка с ребятами: поссорился с одним, с другим, с третьим. В результате и дело с места не сдвинулось и с людьми Андрей в пух и прах разругался. В конце концов пришлось уйти с завода. Все это случилось за каких-нибудь пять-шесть месяцев...

Был Андрей Тымченко человеком жизнерадостным, редко когда унывал, но если уж случалось такое, на листке красного блокнота, который всегда был у него под рукой, начинал какие-то непонятные для всех рисунки набрасывать. Домики с соломенными крышами, человечки с веселыми рожицами, обнявшиеся в хороводе, будто братья... Вроде воспоминания о детстве, о родных Хмелях — маленьком поселке в алтайской степи. Конечно, и в Хмелях люди не только хороводы водили, но у Андрея в памяти осталась от детства именно такая идиллическая картина: солнце, счастье, все друг с другом в обнимку. В детстве, наверное, многим так видится мир...

Повзрослев, Андрей, естественно, стал смотреть на происходящее вокруг иначе, многое научился замечать. Наверное, поэтому о более поздних моментах своей жизни у него не осталось таких радужных воспоминаний. Ни об интернате, куда он после шестого класса попал, ни об институте, где потом учился. Все там оказалось гораздо сложнее.

Еще в интернате его избрали в комитет комсомола. С тех пор он всегда какие-нибудь должности занимал, выполнял общественные поручения: был комсоргом, дружинником, заместителем командира стройотряда. И еще тогда в интернате на семинарах комсомольского актива Андрей старательно записывал в блокнот: «Не мириться с недостатками»; «Увидел, что плохо, сразу вмешайся, мобилизуй комсомольцев, чтобы все на лад пошло»; «Главное — дело, конкретное дело на конкретном участке». И ставил обычно в конце каждой записи несколько восклицательных знаков (полюбил он их в то время!).

В интернате Андрей вместе с другими старательно выискивал по закоулкам ржавые железки, патрулировал вечерами с красной повязкой по городу, ездил



во время страды убирать урожай. И все делал с улыбкой, задорно подмигивая ребятам. Его лицо, молодое, веселое, в такие минуты было, как говорится, открыто всем ветрам: работай, радуйся! Но когда кто-нибудь вздыхал, начинал «проявлять слабость» или возмущаться: мол, устал, надоело,— Андрей сразу менялся. Губы в узенькую твердую полоску вытягивались, а прищуренные глаза, как иголки, впивались в «нытика»: «Значит, на дело, на людей наплевать, лишь бы себе потеплее?!» Неуютно как-то ребятам под этим взглядом становилось...

И в институте учился Андрей не как многие другие, шаляй-валяй. На лекциях слушает, записывает, после них — сразу в библиотеку. Решил: за пять лет учебы как можно больше узнать, больше понять. Читал сверх программы, выступал на научных студенческих конференциях. Да еще на жизнь подрабатывать успевал: родители жили неважно, помогать сыну у них возможности не было.

Во всем Андрей был вот таким. Если «для дела» надо, мог без колебаний пойти на любые лишения, на самые серьезные конфликты, мог заставить себя работать по 18 часов в сутки. И в личных делах он свой характер тоже проявлял примерно так же. Побывал как-то дома на каникулах. Познакомился с симпатичной девушкой Светой. Влюбился. И почти каждую субботу после лекций он теперь торопился на вокзал, выбирал подходящий «товарняк» и забирался на крышу вагона. Уж очень хотел ЕЕ видеть, не мог не видеть — хоть час, два... А денег на билеты не было, тем более что и дорога неблизкая — 300 километров туда, 300 обратно! Поезд набирал скорость, Андрей поднимался во весь рост и начинал петь во все горло о солнце, о любви...

Света однажды робко сказала, что, наверное, им не стоит торопиться с женитьбой: «финансы поют романсы», жить негде, трудности, неурядицы. Но Андрей, сразу посерьезнев, отрезал: «Надо быть сильнее трудностей...»

Вскоре они поженились, должен был родиться ребенок. Света уговаривала: ничего, как-нибудь, только учись. А Андрей решил: нет, негоже так, надо переводиться на заочное, идти работать, искать комнатушку... Главное, не пасовать!

Занял у ребят денег и перво-наперво пошел по «частному сектору» комнату искать. Дело это было трудное: никто семейных, да еще с грудным ребенком, брать не хотел. Месяц ходил от дома к дому, от забора к забору. Осунулся, кожа да кости остались, но глаза блестели по-прежнему.

Нашел, наконец, маленькую комнатушку в старом, покосившемся домике у одной древней старушки. Комнатка была так себе: низенький потолок, ободранные стены, старая кровать, два скрипучих стула. Притащил Андрей молоток, гвозди, фанеру — все починил, соорудил полки для книг, кроватку для сына. На стену фотографии повесил: школа, родные Хмели, а на самом видном месте — стройотряд Андрея на целине. Бодрые, энергичные ребята с лопатами на плечах шагают рыть котлован для нового дома. И среди них он, Андрей, заместитель командира отряда: веселое лицо, твердые губы, во всем — сила, решимость...

Устроились с квартирой — начал работу искать. Решил идти по специальности, заниматься АСУ («теорию с практикой соединять»). Кое-кто из знакомых посоветовал заглянуть на завод железобетонных конструкций, там вроде автоматику ставить собирались. Пошел туда... В отделе кадров сказали, что работы по специальности Андрея еще нет, но, видимо, в скором времени будет, а пока можно оформиться электриком, тоже практика неплохая. И начал Андрей работать...

Завод вроде оказался как завод: план выполнялся, коллектив считался неплохим. Но вот пошел на комсомольское собрание. В зале всего человек шесть-семь. Подождали остальных, не дождались да разошлись. Андрей — к ребятам: «Как тут у вас, что хорошего, что плохого в производстве, в общественных делах?» Отвечали ему уклончиво: «Так себе...»

Андрей дома у многих побывал, в рабочее общежитие сходил. Оказалось, что полно всяких непорядков. Собрания часто срываются, секторы не работают, задолженность по взносам большая. Как же так? Но Андрея успокаивали: со временем все, мол, наладится.

Не мог Андрей так спокойно относиться к этим фактам. Безобразия творятся, а комитет бездействует, комсомольцы будто спят. И все ему, как и раньше, сразу понятным показалось: встряхнуть надо молодежь, сплотить ее, направить на решение конкретных вопросов. Тогда люди и расти начнут и друг к другу потянутся. Действовать надо! Действовать!

На следующем комсомольском собрании сразу же руку поднял: прошу слова! И зашагал резкими, уверенными шагами к небольшой трибуне. Прежде чем заговорить, взглянул в зал: все какие-то хмурые, каждый о своем, поди, думает, а на оратора — ноль внимания. Андрей внутренне подобрался, брови к переносице, будто только что с плаката сошел. «Жить так дальше, я думаю, нельзя. Позор!»

И все в зале, обвешанном яркими лозунгами о плане, о НОТе, приумолкли и повернулись к Андрею. Давно уже здесь таких «штучек» не видывали. А Андрей уже воздух вовсю ладонями рубил. И трибуна под ним то и дело поскрипывала, видно, здорово уже рассохлась...

— Толково, по-настоящему наладить работу секторов, «прожектора», начать экономический всеобуч, просветительский лекторий!

Сам Андрей от своих слов загорался все сильнее: «Ребята, да мы же вместе...»

Кое-кто уже хмыкать в кулак начал, но секретарь Виктор Горшков постучал карандашом по графину: «Зачем же шуметь, Андрей неплохие вещи говорит и горячится по-хорошему, к сердцу все принимая...»

Сходил Тымченко с трибуны весь какой-то взбудораженный: не могли его не понять, он душу в свои слова вложил... И сразу же после собрания подошел к секретарю комитета Виктору Горшкову: «Ну что, Витя, за дело?!»

Виктор, стройный, неторопливый юноша с тонким, как на иконе, лицом, взглянул на Андрея как-то

очень спокойно, «без огонька», ясными голубыми глазами и мягко улыбнулся: «Да что ты, Андрюша, так торопишься, жизнь впереди большая, все успеется. Побереги себя... Человек не машина, запчастей к нему нет, не отремонтируешь...» И неторопливо достал из кармана небольшой светлый блокнотик с цветами на обложке: «Хочешь, для памяти набросаем твои предложения, а потом встретимся, подумаем, обсудим и что-нибудь самое нужное оставим. Живем ведь на земле, а не в заоблачном царстве. Надо, Андрюша, хочешь или нет, а к жизни примериваться».

Андрею эти речи сразу не понравились. Не укладывались «философствования» Горшкова в представления Андрея. Комсомольский вожак должен коллектив своим примером вдохновлять, а тут — никакого вдохновения у Горшкова!

А Горшков реакцию Андрея, видно, сразу почувствовал. В тот день так и разошлись, ни о чем не договорившись...

Но вскоре Андрей снова пришел к секретарю. Был обеденный перерыв, и Виктор уже сидел внизу, у своего башенного крана на досках, разложив узелок с нехитрой снедью. Андрей сразу, с места в карьер,— напоминать про секторы, экономический всеобуч, лектории. Горшков неторопливо жевал, так что скулы под тонкой кожей ходили, будто старался вкус еды лучше ощутить, и смотрел куда-то в сторону. На еще голые с зимы деревья, на проталины. А потом сказал, не поворачивая головы: «Совсем уж весна пришла, март, воздух свежий, не надышишься. Живем ведь, живем! Вон погляди, из цехов все высыпали — весна! А ты — секторы, лекторин...» Тут уж Андрей не сдержался, бросил, криво усмехнувшись: «Значит, природой наслаждаться предлагаешь?» А Горшков недоеденный хлеб в газету бережно завернул и только после этого взял у Андрея листок с планами мероприятий.

Взглянул мельком и сказал, что, на его взгляд, стоящих предложений здесь от силы два-три. Скажем, оборудовать баскетбольную площадку, сделать игрушки для детсада. А с лекциями и семинарами пока можно подождать...

Андрей сразу занервничал, воздух ладонью рубанул: «Это же главное: рост сознания, воспитание коллективизма! Тот же «прожектор». Выходит, он на заводе в год раз по обещанию. Почему не спросить с ответственного Руслана Зайцева? Мало ли что: работа, семья. У всех работа и семья. Наказать Зайцева! Чтоб все видели — бездельникам спуску нет!»

Горшков на Андрея теперь уже без улыбки посмотрел: «Нельзя так, Андрюша, у ребят ведь и вправду работа тяжелая, и у многих, у того же Зайцева, детишки только родились. Им бы помочь, а не наказывать...» А у Андрея лицо совсем ледяным стало: «Да так всех оправдать можно!» Но Горшков сказал: «Нет...» И зашагал к крану.

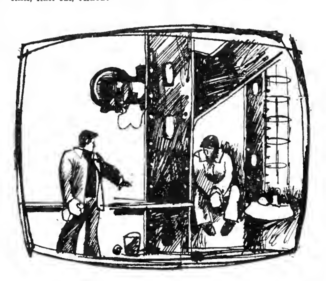
Смотрел Андрей вслед Горшкову, смотрел и сделал свой вывод. Что получается? Вроде Виктор Горшков отношения не хочет портить ни с Андреем, ни с ребятами. И вообще, судя по всему, главное для него одно: жить спокойно, без конфликтов. Даже те дела, которые делал комсорг, как казалось Андрею, не требовали особой траты сил и нервов. Молодежный оркестр Горшков на заводе организовал — давно уже были желающие играть, да и завком в конце концов помог. Заводской стадион ребята начали строить, прошло уже несколько комсомольских субботников. Но и здесь вроде все само получалось. Однажды шум поднялся: даже мяч погонять негде. Оставалось только эту инициативу узаконить, поддержать, дать ей «ход».

Вот и выходит: приспосабливается комсорг, идет на поводу у обстоятельств. А таких людей Андрей не терпел. Такие, по его мнению, самыми опасными были, таким общественные дела — до лампочки. И чем больше Андрей думал об этом, тем больше проникался неприязнью к Горшкову. Но не в привычке Андрея было сразу отступать. А все между тем шло по-прежнему. Горшков его с улыбкой отбривал: «На земле живем, земными и надо быть...»

В конце концов Андрею эта игра в кошки-мышки надоела. Хватит! Догнал однажды Горшкова после работы и пошел рядом с ним. Виктор его сразу спросил с обычным участием: «Ну как, Андрюша, дела? На очередь встал жилплощадь получать? С женой и сынишкой без угла — не дай бог!..» А Андрей заговорил, не скрывая неприязни: «Ты, Витя, мне зубы не заговаривай. Не хочешь работать. Ясно!»

Горшков его слушал молча, без обычной улыбки. И как-то сразу на его лице морщинки четче обозначились, а уголки маленького рта книзу опустились и глаза как-то притухли. Шел Горшков, втягивая тонкую шею в воротник старенького пальто, худенький, сгорбившийся, как старичок-странник из древнего сказания: сто земель исходил, сто морей переплыл, а птицу феникс так и не нашел. И в его лице и в походке было сейчас одно — усталость. Видно, умел Виктор прятать ее глубоко в себя, а сейчас не смог, и все наружу.

— Вот что я тебе скажу,— руки у Андрея сжались в кулаки,— от таких, как ты, не польза — вред. Таких, как ты, гнать!



— Не понял ты ничего, Андрюша,— тихо, с сожалением сказал Горшков.— Зря ты, зря...

Но Андрей не слушал его. Повернулся и, не прощаясь, зашагал прочь, к автобусной остановке.

А Виктор, все так же прячась в воротник пальто, пошел к двухэтажному деревянному домику метрах в двухстах от завода. Была у него в этом домике маленькая комнатушка, 12 метров, и ждали его там жена и трехлетний сынишка. Всегда у Виктора сердце замирало, когда подходил к крыльцу и видел свет в окошке на втором этаже. Вот сейчас жена Люда в простеньком сарафане, тепло, знакомо улыбнувшись, поставит на стол тарелки, кастрюли; сынок сразу к нему потянется: «Папа!»



Все здесь, в этой комнате, было просто: железная кровать, телевизор, буфет с посудой, магнитофон с усилителями (сам сделал, по деталям собирал) и целая фонотека с пленками: веселая музыка, такая, что сердце радуется.

Самая вроде малость. Другие куда лучше живут, но, оказывается, и эта малость — огромное счастье. Виктор это сам понял, сам оценил. Многое он понимал и ценил из того, что не хотел понять и оценить этот крутой парень Тымченко. Виктор зябко поеживался, вспоминая, как уничтожающе смотрел на него Андрей, когда выкрикивал свои обидные, страшно несправедливые, как казалось Горшкову, слова: «Таких, как ты, гнать!» Его, Горшкова, гнать? От него, Горшкова, вред? Нет, ничего, ничего ровным счетом не понял ты, друг Андрюша, ничего вокруг себя не разглядел...

Четыре года назад, когда Виктор совсем еще мальчишкой был, школу только окончил, встретил румяную, задорную девчушку Люду. Полюбили друг друга, поженились. Но с родителями жить не вышло, не сладилось. И вот шел Виктор по улице, и бросилось ему в глаза объявление: «Новосибирский завод железобетонных конструкций набирает рабочих-бетонщиков, зарплата 180—200 рублей в месяц, в течение года предоставляется жилплощадь». Смотрел Виктор на объявленьице, и воображение рисовало самые радужные картины. Большой современный завод, просторные цеха, новые общежития, ребята и девушки с веселыми лицами, дружные; заводская библиотека: зеленые лампы горят, стеллажи, полные книг... Люда, когда услышала о том объявлении, сразу ойкнула: «Поехали, Витя...» Ну, и поехали.

Приехали. И сразу же начались разочарования. Заводик оказался не очень большой, на самой окраине Новосибирска.

В отделе кадров за массивным столом сидел, уткнувшись в бумаги, плотный человек в очках. Не поднимая глаз, он сказал безразличным голосом Виктору и Люде: «Давайте в комнату три. Все. Следующий». Вышли они из отдела кадров какие-то подавленные. «Ничего,— сказал наконец Виктор.— Вот сейчас в свою комнату придем, устроимся, передохнем, жизнь начнется, работа, отдых, коллектив...»

Общежитие оказалось длинным и старым. Комендантша, полная женщина с маленькими глазами, повертев круглыми пальцами направление, проворчала: «Совсем сдурели. Пихают-пихают, везде понапихано...» А потом сердито сказала: «Ладно, идите, там уж все в сборе...» Они прошли по длинному скрипучему коридору с обшарпанными, пятнистыми стенами и робко постучали в комнату под номером три. Никто не отзывался. Виктор тихонько толкнул дверь. В лицо сразу же ударил застоявшийся, прокуренный воздух. Кто-то громко храпел. Приглядевшись, они увидели маленькую, не больше девяти метров, комнатушку с четырьмя железными кроватями.

Утром Горшков пошел на завод.

Бетонный цех, где Виктору предстояло работать, считался на ЖБК основным. В огромном, с непроглядными окнами корпусе стоял пронзительный, вибрирующий гул. По всему цеху длинными рядами выстроились вибростолы — приспособления, на которые ставились формы с бетоном. Столы вибрировали, бетон в формах уплотнялся, склеивался, получалась заготовка плиты. С вибростолов заготовки отправлялись в пропарочные камеры: большие, шарообразные сооружения, наполненные горячим паром.

...Мастер, хмурый, пожилой мужчина, подвел Виктора к одному из столов. Возле него уже копошились с лопатами. Мастер объяснил: «Кладешь бетон в форму, разравниваешь, трамбуешь и подаешь форму на вибростол». И сразу предупредил: «Да на стол, когда его включат, не лазь, а то мигом виброболезнь схлопочешь, отвечай за тебя...»

Взялся Виктор за лопату, подцепил горку бетона. Ему, еще не окрепшему 18-летнему пареньку, эта первая лопата будто из чугуна сделанной показалась. Ребята из бригады молча покосились на него, но тут же и потеряли к новенькому всякий интерес.

Потянулись дни, месяцы, как две капли воды похожие друг на друга. Ранним утром, когда еще плотная, тяжелая темень стояла на улице, все жители комнаты номер три уже начинали шевелиться, собираться. Сосед Колька (он тоже в бригаде бетонщиков, где и Виктор, работал) продирал глаза, охал, клял на чем свет стоит заводик и работу. Другой их сосед, Егор Иванович, человек с морщинистым, сухим лицом, тоже с трудом выбирался из-под одеяла. И тоже сразу начинал чертыхаться и поминать недобрым словом бетонный цех. На Люду никто уже не обращал внимания: живет, ну и что, человек ведь тоже, есть, пить, спать надо, а больше, кроме как здесь, негде: все общежитие переполнено, как улей...

И Виктор тоже, кое-чего из съестного перехватив, вместе со своими соседями по комнате и общежитию в половине восьмого, хмурый, сонный, шагал на завод. А руки и после ночи никак не могли отойти: ломило.

Вечером, вернувшись в общежитие, Виктор наскоро, не чувствуя вкуса, что-то жевал, валился на кровать и сразу будто проваливался куда-то.

По выходным хотелось одного — забыть обо всем: о лопате, о бетоне, о мастере... Но забыться было не в чем. Телевизор в общежитии отсутствовал, шахматы и шашки тоже, старенький проигрыватель давно уже валялся где-то в кладовке. Погонять мяч, послушать музыку негде, спортплощадки нет, клуб открывается неизвестно кем и когда. Ехать в город, в кино — минут сорок, да и автобус ходит редко.

По выходным в комнате с утра начинался тарарам. Колька, с утра куда-то исчезавший, вламывался с «налитыми», ошалевшими глазами, будил всех, кому-то грозил кулаком, кричал, на что-то жаловался... Егор Иванович целыми днями лежал в кровати, закрывшись одеялом, и лишь время от времени высовывался, тихим голосом ругал Кольку.

Горшков, парень веселый, общительный по характеру, теперь редко улыбался, стал вроде испуган-

ным, придавленным. Здорово все это — быт, работа — его шибануло, никак в себя не мог прийти. Только время от времени Виктор свою Люду спрашивал с грустью и недоумением: «Трудно им, что ли, хоть шахматы, шашки для общежития купить, мячик футбольный, проигрыватель наладить, люди же здесь живут».

Три года пролетели как один день. А тут еще сын родился. И все они, теперь уже впятером, жили в той же комнате в общежитии: здесь же малыша купали, здесь же пеленки сушили.

Виктор и в завком, и в комитет комсомола, и к директору ходил: хоть какой-нибудь уголочек дайте. Дали. Как-то директор выслушал Виктора, улыбнулся: «Ладно, понимаю...» И вызвал помощника по быту: «Надо что-нибудь сообразить». Помощник подумал и сказал, что появилась небольшая комнатка...

Тогда вот Виктор и понял цену удачи. Мчался в общежитие к Люде, сердце колотилось так, что из груди выскакивало. Остановился на секунду: хоть немного унять волнение, поймал ртом свежий, с ароматом распустившихся листьев ветерок и только сейчас увидел, что пришла весна. Красота вокруг такая, а он три года ничего этого не замечал.

Вскоре после новоселья Виктор из бетонного цеха ушел и стал крановщиком. На очередном отчетно-выборном комсомольском собрании его избрали секретарем: парень свой, толковый. И сразу же Виктор взялся за работу. Перво-наперво надо шахматы, шашки купить, спортплощадку построить, оркестр организовать. Чтоб после работы, в выходной можно было людям отдохнуть, отвлечься: легче на душе станет, легче всю неделю вкалывать. Да и эти дела он делал не так сразу: давай, начинай! А потихоньку, никого не дергая. Придет к ребятам в общежитие, сядет, поулыбается, расспросит о том, о сем, что-нибудь эдакое веселое расскажет, а потом только: «Ну, что, братцы, а может, сообразим со спортплощадкой, как думаете?» Так, не торопясь, и площадку сделали и оркестр организовали...

Пришел Виктор за эти годы к простой вроде философии: людям самое необходимое надо дать, без чего просто жить невозможно. А ведь даже это не всегда, не везде просто сделать. И время нужно, и силы, а тут такие вот энтузиасты, как Тымченко, с маху на небеса «вознестись» хотят. А ведь жить выпало на земле, не на небе. Серьезно надо подходить к тому, что вокруг, понимать и уважать сложности. И в этом Виктор был крепко убежден, хотя и отстаивал свое мнение не так категорично, как Андрей.

После той ссоры у автобусной остановки Андрей почти перестал разговаривать с Горшковым. Встретятся, Тымченко кивнет холодно головой и пройдет мимо, не останавливаясь. Да и сам Виктор здоровался теперь с Андреем без своей обычной доброй улыбки. Задели, больно задели Горшкова слова Андрея! Остался Тымченко без поддержки секретаря. Но отступать и не думал. Не хотят к нему прислушиваться? Не верят, что все в организации можно на 180 градусов повернуть? Он сам покажет, как можно и нужно работать. И решил взяться за конкретное дело: оживить комсомольский «прожектор». Именно с этого все и начнется. Сплотятся вокруг «прожектора» ребята, почувствуют, на что способны.

Андрей теперь рано утром заявки жильцов выполнит (его временно в заводской ЖКО электриком перевели) и на завод, к Руслану Зайцеву, ответственному за «прожектор». Прибежит в котельный цех (Руслан здесь уже третий год был начальником), разыщет Зайцева где-нибудь в закутке, как и все здесь, промазученного, сидящего на корточках перед какой-то замысловатой штукой. «Как дела, как работа?»

Был Зайцев ровесником Андрея, тоже года 23—24. Большой, неторопливый, немногословный. Вроде парень как парень, только какая-то угрюмость в нем чувствовалась: крупное лицо сосредоточенно, большие умные глаза смотрят из-под густых, насупленных бровей колюче, будто буравят. Руки у него на вид были добрыми — большими, мягкими. Они бережно брали и маленькие гаечки и огромные коленавалы...

Андрей вокруг Зайцева и так и сяк вертелся, а тот все так же сосредоточенно сидел над какой-то деталькой и будто не замечал его. Наконец Андрей с нетерпением в голосе начинал разговор о «прожекторе». Дело же стоит, беспорядков полно, «высвечивай» только, а он со своими железками! Дались они ему в такой критический момент! И сразу же со своими выкладками насчет момента, с предложениями: в народном контроле сказали, что из бетонного цеха вывозят в отвалы еще годное для производства сырье, от этого большие убытки. Надо поставить комсомольский заслон, привлечь ребят. Заводу польза, всем польза!

Руслан слушал его все так же молча, занимаясь своим. Но когда Андрей с энтузиазмом в голосе начал говорить о пользе для всех, в лице у Зайцева появилось искреннее удивление, и он, отложив в сторону детальку, как-то очень внимательно посмотрел на Андрея: «Ты что, всерьез это — «прожектор»... добиться... исправить... польза делу?»

Андрея эта реакция Зайцева ошарашила: «Это как же понимать? Значит, для тебя «прожектор» — пустое дело?» И его губы зло задрожали: «Значит, лектории не надо, всеобуч не надо, «прожектор» не надо? Будем жить как бог подаст? Так?» Все в нем кипело, но Зайцев его дослушивать не стал, повернулся и пошел к своим котлам.

Начал тогда Андрей «суетиться» сам: проводить рейды в бетонном цехе. К рабочим, к мастеру кинулся: «Почему еще годное сырье в отвалы вывозите? Как положено? Отходы, что из форм высыпались, в конце смены в специальные емкости ссыпать и на переработку отправить». Но рабочие у вибростолов отвечали сердито: «Накрутишься здесь с лопатой за смену, так потом еще в эти емкости отходы сыпь. Да за это ведь и не платят. Пусть специальных людей сюда ставят!» А мастер Андрея сразу холодной водой окатил: «Отстань, на другом бы лучше экономили...» Но Андрей насел — не отлепишь. В народный контроль сбегал, к начальнику цеха, к главному инженеру. И добился. В конце концов рабочие хотя и нехотя, но все же стали ссыпать отходы в емкости. Вывешивал Тымченко на доску «КП» очередную «молнию» и прямо-таки сиял.

С таким вот сиянием на лице он и к Зайцеву помчался. Разыскал его, как обычно, у котлов и сразу же: «Видел? Добились, а ты говорил! Начало есть, да какое! Давай подключайся, теперь все пойдет как надо...»

Посмотрел на него Зайцев исподлобья. И чем больше Андрей восторгался, тем жестче становилось лицо Зайцева. А когда Руслан заговорил, его голос зазвучал как кованый металл: «Ух ты, остановись, задохнешься. Голова есть? Прикинь-ка. Через месяц-другой это пустое дело заглохнет. Экономия, действенность... Завтра же что-нибудь случится в другом месте, и вся эта грошовая экономия — в трубу. Делом надо заниматься, делом, на своем участке...»

Андрей как-то сразу потемнел. Та же история получалась, что и с Горшковым! Самоустранился Зай-

цев. Он и комсорг — два сапога пара, выходит! Только у Горшкова для Андрея — улыбочка, а этот волком смотрит. А таких, как уже говорилось, Андрей терпеть не мог. И сейчас он бросил Зайцеву в лицо: «Прячешься, своя скорлупа — главное...» Но тут Зайцев повернулся и зашагал прочь.

Удержался Руслан, не ответил ничего Андрею. Пошел к разобранному двигателю, присел на корточки, взял деталь — пальцы не слушались, дрожали. Как же так можно, канцелярской кнопкой к стенке: «Своя скорлупа — главное?» Ведь не так все, не так! Не рассказывать же здесь, на рабочем месте, этому Тымченко все по порядку...

Четыре года назад приехал Руслан на ЖБК по распределению после окончания машиностроительного техникума. Осталась у него от того времени фотография: ребята-однокурсники, счастливые, что выходят в жизнь, а среди них широкоплечий парень в джинсах. Густые брови вразлет, в глазах решительность. По всему чувствуется: ждет не дождется человек свою энергию к делу приложить. Таким Руслан Зайцев уезжал из техникума в Новосибирск, на ЖБК. Ехал не просто так, отрабатывать...

Еще в школе Руслан мастерил всякие макеты, участвовал в конкурсах юных конструкторов. Все свободное время выдумывал, испытывал разные «штуки». Позже, в старших классах, начал запоем читать научно-технические журналы, не на шутку увлекся кибернетикой. С книжкой Норберта Винера «Я — математик», которую достал, заплатив втридорога, одно время не расставался, постоянно в портфеле таскал. За четыре года учебы в техникуме Руслан многое сумел «взять», считал, что «технарь» в наше время, несмотря на лавинный поток информации, должен знать как можно больше, и не только по своей специальности. Можно было сразу поступать в институт, техникум Зайцев закончил прилично, но ему захотелось попробовать себя «в деле». Особенно выбирать, куда ехать, он не стал. Предложили Новосибирск. Город далекий. Сибирь, завод ЖБК, неизвестное ему производство — значит, будет работа голове. Поехал.

Завод оказался так себе, но Зайцев и не подумал в панику ударяться. Комнату в общежитии завалил привезенными журналами по технике; они и на подоконнике и под кроватью. Ребята-соседи все удивлялись: тащить за тридевять земель такую рухлядь! На книжную полку, на видное место поставил своего любимого Винера, сюда же на полку поверх книг бросил несколько толстых крепких папок: собственные технические идеи.

Работать стал в котельной мастером. И сразу его будто водоворотом закрутило. Придет рано утром на завод, еще до начала первой смены, и начинается!.. Проверь закрепленные за тобой котлы. Облазь все, огляди, не предвидится ли где поломки. Не дай бог что-нибудь забарахлит — для завода ЧП, простои, срыв плана. Все бетонное производство на паре держится! Да еще хорошо, если никаких происшествий не было. А если какие-нибудь неполадки случались в котельной, тут уж и вовсе приходилось «потеть в семь потов». Все суетятся, бегают: быстрее, нажимай. Но часто случалось так, что нужных деталей и материалов для ремонта на заводском складе не оказывалось. Снабженцы то одного не могли достать, то другого. Тогда приходилось мчаться к главному инженеру или к самому директору, звонить на другие заводы, просить, выколачивать. Котельную лихорадило, а вместе с ней и весь завод.

Набегается Зайцев, надергается за день: никуда идти не хочется, лечь бы здесь в котельной и заснуть. Он время от времени так и делал: ставил стулья в комнатке мастеров, шапку клал под голову, укрывался пальто и — до утра. А утром снова все начиналось. На чтение и собственные технические идеи у Руслана теперь только воскресенье, по сути дела, и оставалось. Потому что и в субботу в котельной бывать приходилось. Однажды, взглянув на себя в зеркало, Зайцев с удивлением обнаружил, что стал каким-то не похожим на себя: лицо угрюмое, как у старообрядца с суриковских полотен, взгляд тяжелый...

Но был Руслан не из тех, кто сразу при первых трудностях бросается в панику и отказывается от своего. Его голова, несмотря ни на что, работала постоянно. Бегает Зайцев, крутится, но время от времени раз — и мелькнет: а как бы вот это исправить? Может, так? Иногда по вечерам, засыпая на жестких стульях в котельной, он ловил себя на том, что мозг работает в одном направлении: что делать, предпринять? Ведь нельзя же так работать! И по воскресеньям, ни на кого в общежитии не обращая внимания, Руслан сидел над своими бумагами, прикидывал, рассчитывал. Постепенно появились у него свои соображения, как улучшить работу котельной. Первое — заменить устаревшее оборудование, установить на котлах автоматику. Это даст максимум эффективности! Но средства на реализацию этого плана нужны огромные. Их у завода нет. Второе — установить автоматику на старом оборудовании. Это, конечно, кардинально проблему не решит, но поломки сократятся, ритм работы котельной станет четче. Уже выигрыш! И обойдется это заводу всего в несколько тысяч. Захотеть — найти их не так уж трудно.

У Зайцева появились цифры, выкладки. Увлекаясь и фантазируя, он даже стал набрасывать различные схемы, как и где ставить автоматику. Когда все было рассчитано, Руслан решил идти прямо к директору.

Директор сидел в своем кресле, как влитой, и спокойно листал бумаги. Его пальцы выбивали на столе какой-то неторопливый ритм. Зайцев вытащил свои бумаги, откашлялся и заговорил спокойным, ровным голосом. Волнение как-то сразу улеглось. Он говорил коротко, но емко. А когда закончил, директор еще несколько минут помолчал, потом взял листок бумаги и набросал какую-то схему. И заговорил, тоже очень ровно и очень спокойно. Предложение дельное. Но вот в чем загвоздка. Четыре года назад уже ставили автоматику на пропарочные камеры. И что же? Через несколько месяцев автоматика стала капризничать. Поставили-то ее на устаревшее оборудование. В общем, выгод никаких. Проще было, как и раньше, работать вручную. Автоматика оказалась покуда ненужной...

— А теперь взгляните на схему.— Директор пододвинул лист к Зайцеву.— Нужна коренная перестройка производства. А то получается, что ставим на старый велосипед реактивный двигатель. Но думать надо.— Он впервые за время их разговора улыбнулся Зайцеву.— Надо думать, пока думается...

Вышел Зайцев от директора, подержал в руках листок с выкладками и смял его в кулаке... И не успел Руслан еще в себя прийти после того разговора, как его назначили начальником котельной! И еще сильнее его закрутило. Пропадал теперь Зайцев на работе днями и ночами. Похудел, осунулся, но дело все равно шло туго. Так вот и держалось все на его нервах. Технические журналы Руслан теперь не читал: лишь бы выспаться, а папки с идеями куда-то затерялись в общежитии. От прежних времен только Винер и остался (другие книги тоже куда-то исчез-

ли). Стоял он теперь на полке один, выцветший, запылившийся.

А Зайцев еще женился, ребенок родился...

И вот ходил теперь Руслан по утрам на работу, засунув руки в карманы, молчаливый, хмурый и исподлобья поглядывал, что вокруг делается. Побегав и покрутившись, он теперь весь завод, как свою котельную, знал. Вон в песке, который со склада на конвейер идет, деревяшек полно. Того и гляди, конвейерную ленту прорвут. Но никто их не вытаскивает, мелочи это. А все это будущие простои, убытки. Давно он уже пришел к выводу: одно здесь может все исправить — реконструировать надо завод, а на это нужны огромные средства, и где их сразу возьмешь. Начали, правда, понемногу одно переделывать начисто, другое, новые цеха заложили. Но чтобы все сделать, годы и годы уйдут. Поэтому сегодня всем на заводе «светит» одно: давать бетон, план, прибыль — создавать базу для завтрашнего. А для этого нужно делать полезное, хоть и небольшое дело на своем участке. Только так. Только так! Свое дело делать, а не чужое доделывать.

Но иногда, приходя домой жутко усталым и ложась в постель, Руслан все равно не мог заснуть. Какая-то чепуха в голову лезла. Ему, как во сне, виделось заветное. Он, Руслан, в белой рубашке. Только что сделал какой-то фантастический чертеж, вышел с ним на заводской двор, развернул, и вдруг все исчезло: котельная, труба, а вместо них выросли прекрасные сооружения из металла, стекла и пластика. А он, Руслан, все чертит, чертит, и новые сооружения одно лучше другого вырастают у него на глазах. К действительности его возвращал пронзительный звонок будильника. Руслан открывал глаза и видел в окне дымящую трубу котельной.

Знал Руслан цену настоящего дела. Не терпел шума, криков: мол, мы вот какие!

А Андрей все продолжал ходить то к одному члену комитета, то к другому. Встречали его холодно. По заводу прошел слух: Тымченко себе квартиру зарабатывает. И появилась в глазах у Андрея беспомощность, растерянность. Схватился он еще за одно дело, теперь уже не прося ничьей помощи. Никогда на заводе не было комнаты для комитета: ни собраться, ни поговорить друг с другом о делах, о жизни. Какой уж тут коллектив, какая дружба! Решил комнату для комитета обязательно выбить. Может, с нее, с этой именно комнаты, и начнется все, о чем он мечтал, поймут его, наконец, ребята.

И вот высмотрел маленькую захламленную кладовку. Ключи от нее у завхоза выклянчил, стол притащил, стулья решил склеить из обломков — разыскал в подвале ножки, спинки... Тащил эту груду деревяшек по заводскому двору, а у самого комок в горле стоял. Сколько он бегает, старается, чтобы всем хорошо стало, чтобы жизнь у ребят интересная началась, а никому нет до этого дела!..

И тут увидел — из цеха навстречу ему вышли двое: Зайцев и Горшков. К нему? Помочь? Ребята подошли уже совсем близко, о чем-то говорят, улыбаются.. Но прошли мимо, словно не заметили. Он, не отрываясь, смотрел им вслед.

После этого случая Андрей и поехал в райком комсомола: посоветуйте, что делать с заводским комитетом? Но в райкоме удивились: новый секретарь Горшков — хороший парень, неужели с ним все нельзя решить?.. А тут еще с работой так нехорошо получилось. С утра до вечера на заводе пропадал, дело свое подзапустил. Вот начальник ЖКО, человек пунктуальный, и написал в комитет комсомола: «Тымченко совсем не работает, прошу принять меры».

В комитете сразу все возмутились: обсудить! На заседании Зайцев первый сказал, резанув взглядом



притихшего Андрея: «Языком работать горазд...» И началось: как это так, позорить организацию, возводить напраслину на людей! В конце заседания комитета и комсорг Горшков выступил. Спокойно, как обычно. Но в его голосе уже не было прежнего тепла и участия: «Комитет комсомола решил освободить Тымченко от всех общественных обязанностей, пусть отдыхает...» Ребята смотрели на Андрея с неприязнью, только у Горшкова на какое-то мгновение мелькнула в глазах жалость, но тут же исчезла.

Вышли они на улицу все вместе, а Андрей поодаль, никто с ним говорить не хотел. И только сейчас он понял, что остался совсем один... Вскоре после очередного конфликта он ушел с завода.

...Только теперь, «прокрутив» в памяти еще раз эту историю, я наконец понял те горькие слова Андрея: «Ведь нужен я им был, нужен...» И как-то совсем уж не по себе стало. Ведь неплохие они, в сущности, ребята: и Андрей, и Виктор, и Руслан. В каждом есть свое, ценное, неповторимое... Андрей с его идеалами, постоянно зовущий людей заглянуть дальше своего «сегодня». Виктор, реалист, «земной», практик, умеющий, несмотря ни на что, делать жизнь всех и каждого лучше, человечнее. Руслан, человек с острым, «глобальным» мышлением, способный разбираться в самых сложных производственных проблемах и умеющий находить оптимальные решения...

...Я вдруг представил себе некую идеальную фигуру, которой так не хватало во всей этой истории: лидер, комсомольский руководитель с лучшими качествами Андрея, Виктора и Руслана. Наверное, он, этот четвертый, и смог бы сделать то, что сами по себе не смогли сделать ни Андрей, ни Виктор, ни Руслан. И, представив себе это, сразу же подумал: а кто же из ребят может стать этим идеальным руководителем? Но сейчас пока вряд ли можно ответить на этот вопрос. Ясно только одно: ребята получили хороший урок, и он наверняка не пройдет для них даром. Особенно для Андрея Тымченко, потому что прежнего Андрея уже нет, а есть пока человек, который мучительно ищет ответы на многие трудные вопросы...



Рэм ПЕТРОВ,
член-корреспондент Академии медицинских наук СССР

ВСТРЕЧИ У ТИМУСА

Рисунок И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

У человека, у всех млекопитающих животных, у птиц, земноводных и рыб есть небольшой орган — тимус, о котором до 60-х годов нашего столетия практически ничего не было известно. Никто не знал, зачем он, пока за его изучение не взялись иммунологи — ученые, исследующие иммунитет, то есть ту систему нашего организма, которая обеспечивает его защиту от проникновения различных чужеродных субстанций.

Человек живет в мире микроорганизмов. Их миллиарды миллиардов. Суша, земля и воздух нашей планеты заселены бациллами, бактериями, вибрионами, кокками, вирусами. И иммунитет дает человеку своеобразную лицензию, право на допуск в этот мир и сосуществование с ним.

Кто же возглавляет иммунную охрану нашего организма? Оказывается, тимус. Главенствующая роль тимуса в иммунитете стала известна после серии работ австралийского иммунолога Д. Миллера, публикация которых началась в 1961 году. Однако механизмы действия тимуса изучены еще не полностью.

Для лечения детей, страдающих врожденным пороком иммунитета — пороком, с которым, к сожалению, долго не проживешь, группа научных работников 2-го Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова теоретически обосновала и впервые в мире применила особый вид пересадки тимуса вместе с костным мозгом. Получены первые радостные результаты, вскрыты новые закономерности работы иммунной системы.

О тимусе и его роли в иммунитете, о том, какими путями шли и идут исследователи, о работе коллектива сотрудников 2-го мединститута мы и поведем речь.

ПАРИЖ, 1967 ГОД

В последние годы очень много говорится о трансплантациях, пересадках органов — почек, сердца, печени. Возникла новая наука о пересадках — трансплантология. Официальной датой ее возникновения следует считать июнь 1967 года, когда в Париже был созван Первый Международный конгресс трансплантологов. На конгресс съехалось из различных стран несколько тысяч человек, среди которых хирурги и иммунологи были самой многочисленной когортой. Это естественно: пересаживают органы хирурги, а добиваются их приживления иммунологи. Несовместимость тканей — сугубо иммунологическая проблема.

Советскую делегацию возглавлял ректор 2-го Московского медицинского института профессор Юрий Михайлович Лопухин. В Париже началась наша дружба и совместная работа.

Однажды после очередного заседания мы сидели за столиком маленького кафе на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Рю Ду Бэк, прямо на тротуаре, под полосатым тентом.

— Кажется, уже нет ни одного органа, который не пытались бы пересадить,— сказал я.

— Вы что же, подтруниваете над хирургами, чтобы сказать, что собака зарыта в вашей иммунологии? — спросил Лопухин.

— Да нет, сегодня серьезно. Хирурги поделили между собой все органы. Одни пересаживают почку, другие — сердце, третьи — легкие, печень, конечности, железы внутренней секреции, костный мозг...

— ...И даже головной мозг. Сегодня был доклад Уайта из Кливленда о пересадке мозга у собак. На несколько дней, но пересадка...

— Юрий Михайлович, а какой орган еще не пересаживали — так сказать, вакантный орган?

— Тимус!

— Как же так,— сказал я,— клетки тимуса пересаживали и в экспериментах и даже больным при врожденных дефектах иммунной системы, при так называемых первичных иммунодефицитах.

— Клетки, да, пересаживали, но без большого успеха. А вот тимус целиком никто не трансплантировал.

— Выходит, хирурги про тимус забыли. Как вы думаете, почему так произошло?

— Потому что еще два года назад мы про тимус знали только, что этот небольшой орган расположен в самой нижней части шеи, сразу же за грудиной; что он имеет форму двухконечной вилки, почему и называется по-русски вилочковой железой; что эта железа активно функционирует у новорожденных и атрофируется у взрослых.

— Знали кое-что еще, например, то, что тимус — это центральный орган всей лимфоидной системы, что в нем появляются к моменту рождения первые лимфоциты, которые потом из него расселяются в лимфатические узлы,



в селезенку, где и осуществляют свои иммунологические функции.

— Подождите,— сказал Юрий Михайлович,— все верно. Знали и еще кое-что. Но вот что важно — всю деятельность тимуса относили лишь к периоду новорожденности. А потом считалось, тимус атрофируется. Я повторяю — считалось, что тимус атрофируется, что он становится ненужным через несколько лет после рождения, а у взрослых обнаруживаются лишь следы этого органа. Считалось, что у взрослых фактически нет тимуса. Следовательно, он не нужен. Зачем же его пересаживать? Вот почему хирурги забыли о нем.

Мы долго говорили о тимусе и его роли в иммунитете. О том, что существуют два основных механизма иммунологической защиты организма. Один механизм обеспечивает выработку антител — специальных белков крови, которые способны обезвреживать возбудителей инфекционных болезней. Второй механизм связан с накоплением особого вида белых клеток крови — лимфоцитов, чья способность обезвреживать чужеродных пришельцев еще более выражена. Антитела вырабатываются главным образом в селезенке, лимфоциты — в лимфатических узлах. Потом и те и другие поступают в кровь. Тимус же каким-то образом всем этим заведует.

Потом мы вспоминали доклады англичанина Антони Дэвиса, американца Марвина Тайана и австралийца Джека Миллера, которые они сделали вчера на одном из симпозиумов конгресса. В докладах речь шла о вновь открытых функциях тимуса.

Миллер рассказал об опытах на мышах, которым хирургическим путем удалили тимус. Оказалось, что лимфоидные ткани этих мышей содержат все клетки, необходимые для образования антител, но этим клеткам чего-то не хватает для того, чтобы они могли начать свою специальную иммунологическую работу. Как говорят иммунологи, клетки должны стать иммунокомпетентными, то есть приобрести совокупность способностей (компетентность) выполнять данную работу. Вывод, сделанный Миллером: тимус не сам поставляет клетки, которые бы являлись предшественниками для клеток, вырабатывающих антитела, а как-то «заставляет» или «обучает» предшественников, обитающих в других местах.

Тайан и его соавторы изучили кроветворные клетки эмбрионов и обнаружили, что эти клетки обладают способностью вырабатывать антитела. Но в отсутствии тимуса эта способность столь слаба, что ею можно пренебречь. Чтобы кроветворные клетки стали вырабатывать много антител, нужен тимус.

Дэвис сделал еще один шаг. Он удалил тимус у мышей и подверг их действию смертельных доз ионизирующих излучений. Под влиянием таких доз погибают все кроветворные клетки, а через одну-две недели погибают и мыши. В течение этих дней мыши живут, но в их организме нет клеток, способных размножаться и, следовательно, способных быть предшественниками для клеток, вырабатывающих антитела. Однако животных можно спасти. Для этого им нужно ввести в кровь костный мозг здоровых мышей. В костном мозге много клеток-предшественников для любых элементов крови.

Дэвис спас облученных мышей, они поправились. У них восстановилось все, но иммунитет не восстановился. Все предшественники есть, но способность вырабатывать иммунитет отсутствует. Тогда Дэвис пересадил этим мышам тимус, и иммунологическая компетентность сразу появилась. Следовательно, сделал он вывод, для нормальной работы иммунной системы нужны два органа — костный мозг и тимус. Восстановить нужно именно эти две ткани — костномозговую и тимическую.

— Поверьте мне, Юрий Михайлович, по-видимому, вот-вот будет открыт способ, с помощью которого тимус запускает и контролирует выработку антител.

— А что вы имеете в виду?

— Не знаю,— ответил я.— Даже авторы этих исследований еще не знают, но, наверное, что-то принципиально новое.

— От иммунологии ждут много открытий. Удивительно перспективная и быстроразвивающаяся область! Иммунитет против микробов, противораковый иммунитет, иммунологическая несовместимость тканей при пересадках. От иммунологов ждут открытий. Важнейших для медицины открытий.

— Тем более удивительно, что иммунологию до сих пор не преподают в медицинских вузах; такой предмет не значится в официальном перечне медицинских специальностей.

Париж зажег огни. Деревья на бульваре стали черными. Сен-Жермен изгибался дугой и вечером казался совсем узким. Отполированные торцы мостовой отражали разноцветные огни магазинов, окон, реклам.

По дороге в гостиницу мы, все еще разговаривая об иммунологии, задумали два важных дела. Первое — начать преподавание иммунологии на медико-биологическом факультете 2-го Московского медицинского института; пусть вначале это будет единственный медицинский институт, который организует самостоятельный курс иммунологии. К нему подключатся и другие! Второе решение было: собрать в Москве группу больных детей с врожденным недоразвитием тимуса и начать планомерную программу их изучения и попытки лечения путем пересадки тимуса, а может быть, тимуса совместно с костным мозгом.

ГАВАНА, 1967 ГОД

Далеко от Парижа, в Гаване, в том же 1967 году произошла еще одна встреча. Встретились два хирурга и два детских врача: советский хирург-консультант Юрий Иванович Морозов, кубинский профессор Жерардо де ла Льера и педиатры Мануэль Амадор и Мариа Молина. Их свели вместе три больных мальчика, лежавшие в это время в детской клинике «Сан Жуан де Диос» в небольшом кубинском городке Камагуэй. Одному мальчику было восемь лет, другому — три, а самому маленькому — один год. Всем детям был поставлен одинаковый диагноз: «атаксия-телеангиэктазия», или «синдром Луизы Бар». Этот синдром известен науке с 1941 года, когда впервые был описан Луизой Бар. Атаксия — это значит, что дети не могут выполнять точные движения и даже не могут ходить. Телеангиэктазия — это значит, что у них на коже, на склере глаз и во внутренних органах развиваются расширения мелких сосудов с нарушением кровообращения. Но это лишь самые явные, видимые «издалека» признаки. Главная беда в другом. Организм этих детей не обладает способностью сопротивляться микробам. С первых дней жизни дети страдают различными инфекционными заболеваниями — фурункулезом, гайморитом, ангиной, бронхитом, воспалением легких. То, что они прожили несколько лет, объясняется наличием в медицинском арсенале антибиотиков. До антибиотической эры такие дети погибали в первые же месяцы жизни, потому что у них врожденный иммунодефицит, то есть врожденный порок иммунной системы.

Врожденные пороки. Что это? Всегда ли они заметны и как быстро обнаруживаются?

Родился ребенок. Абсолютно здоровый и совер-

шенно вормальный. Прн самом тщательном медициском обследоваиии никаких отклоненнй от нормы обваружить ие удается. Ребеиок растет, хорошо развнвается, поступает в школу, хорошо учится, болеет не чаще, чем другие дети, увлекается спортом. Он становится все старше. Его друзья «гоняют» иа мотоциклах, и он хочет иметь мотоцикл. Идет иа медицинскую комиссню. Заключеиие хирурга: «здоров». Заключеиие терапевта: «здоров». Аиалнз кровв: «здоров». Рентгеиовское обследованне: «здоров». Последввй кабинет — глазные болезнн. Он прекрасно вндит. У него первый юношеский разряд по стрельбе из винтовкн. И вдруг заключеиие окулиста: «к управлению траиспортвыми средствами ве пригоден». Что такое? Почему? Ведь многие люди с плохвм зреннем могут водить машниы в очках. Но зтому мальчику очкн помочь ие могут. У него особый врожденный порок зрення, который выявился только теперь. Он ие отличает красный цвет от зеленого. Этот порок иазывается дальтоиизмом (Дальтон, известный английский фнзик, имевшнй зтот дефект, опнсал его с точностью учеиого, занимающегося физнкой света).

Второй прнмер. Врожденный порок сердца. Ребенок совершеино иормален. Все у вего хорошо. Он растет, улыбается, плачет, лепечет! И ииюто ничего ие замечает. Но вот прнходит пора ребеику ходить. Возиикает первая в жизни физическая иагрузка. Нужна уснленная работа сердца. А сердце с дефектом. Ребенок быстро задыхается, ему ие хватает воздуха, сердце не справляется с работой перекачивания обогащенной кислородом крови от легких ко всем остальным частям тела. Кислородвое голоданне! И чем старше становится ребенок, тем трудвее сердцу. Он начнвает во всем отставать от своих сверстников. Родители, коиечво, обращаются к врачу. Врач ставит диагноз: «врожденный порок сердца».

Третнй пример — дефект иммунологический. Родившийся ребенок, как и первые два, ннчем ие отлнчается от нормальных новорождевных. И первые недели жизви — до тех пор, пока в его кровн цнркулируют антнтела, полученные от матерн еще до рождения и с первым материвскнм молоком,— он может казаться здоровым. Но скрытое неблагополучие вскоре проявляется. Начниаются бесконечвые ивфекции — воспалеиие легкнх, гнойинкн иа коже, гайморит, отит, опять воспаление легких. И так все время. Все время болен. Все время между жнзнью н смертью.

Четыре врача собрались, чтобы решить, как дальше лечнть детей из «Сан Жуаи де Диос». Антибиотнки больше не помогают. Мнкробы, заселнвшне «закоулкн» тела зтнх беззащнтных детей, уже прнвыкли к антибнотикам. Надо бы как-то восстановить иммунитет.

Главвым врожденным дефектом прн снндроме Лунзы Бар, нлн, как часто говорят для краткости, «Луи Бар», является иедоразвнтне тнмуса. Нормальвый тнмус — один нз самых функцнонирующнх оргаиов у новорожденных детей. Располагаясь непосредствевио позади грудиой кости-груднны, тимус каждый день, каждый час, каждую мниуту вырабатывает миллиоиы лимфоцитов. Этн лнмфоцнты попадают в кровь н разносятся по всему телу, выполияя роль нммунологнческнх стражей. Прн снидроме же Лун Бар тнмус недоразвит, ои как бы остановился на змбрнональиой стадин. Ребенок родился, стал самостоятельно живущим органнзмом, а тимус продолжает быть эмбрнональным. Он не вырабатывает лнмфоцнты, необходимые для защнты от микробов. У больных фактнчески нет тнмуса.

Центральное значенне тнмуса в запуске иммунологического войска было уже нзвестио в 1967 году. Удаление тимуса у новорождевных жнвотных прнводнт к синдрому, весьма похожему на синдром Луи Бар. Животные вачинают болеть всевозможнымн инфекцнями, отстают в росте и развнтин, погибают. Пересадка нм тимуса отменяет сиидром. Животные выздоравлнвают. Такие опыты неодиократво проводились на мышах и крысах. Тнмус пересаживалн, конечио, ие в виде целого органа. Он у зтнх живогных слишком иевелнк, а кровеносные сосуды, его питающие, столь малы, что сшнть их практически невозможно. Тнмус пересаживалн в внде мелкнх кусочков под кожу или готовилн взвесь отдельных тимнческнх клеток н вводнли весколько сот миллнонов таких клеток прямо в веву с помощью шприца.

Четверо встретившихся на Кубе врачей решилн пересадить тнмус больным детям. Пересадить орган целнком, так, чтобы артерня, несущая кровь к тнмусу, была соедивева с артерией, а вена, отводящая кровь,— с веной больного ребенка. Прншлось разрабатывать специальную техннку операцнн, чтобы ничем не поврсднть тнмус н кровообращеине в ием. Хирургн иашлн велнколепное решевне: пересаднть орган вместе с грудной костью (блок твмус-грудива).

Вот как написали авторы в статье о трех сделанных пересадках: «Мы исходили нз важной ролн, которую нграет тимус в механизмах иммунитета, из того, что зтот орган в описываемых случаях отсутствует влн резко уменьшеи. Мы также учитывалв, что вммунологнческая картива зтих пацнентов соответствует той, которая иаблюдается у живогных с удаленным при рожденни твмусом. Поэтому блок тнмус-груднна вместе с питающвмн его сосудами был пересажев трем мальчнкам, страдающнм давним снндромом». Так впервые в мнре был пересажен тимус целнком, а не кусочкамв нлн в виде отдельных клеток. Целый орган со всемн его кровеносными сосудамн. Орган, сохраннвшнй свою структуру, питаине, функцню.

Юрнй Ивавович Морозов н Жерардо де ла Льера оперировалн детей до парнжского конгресса в поэтому еще ве знали, что тимус не может фувкцнонировать один, без костиого мозга. Их целью была пересадка именно тимуса, и только тимуса. Блок тимус-грудива они взялн потому, что так было удобиее техиическн (отделить тимус от грудины, не повреднв мелких сосудов и сам оргаи, невозможно). Оии еще не звали о необходнмостн совмествой работы костномозговых и тнмическнх клеток. Но ови попали в «цель», потому что грудина — зто одно нз самых главиых вместилищ костного мозга; нменио там живут н активво размножаются костномозговые клетки.

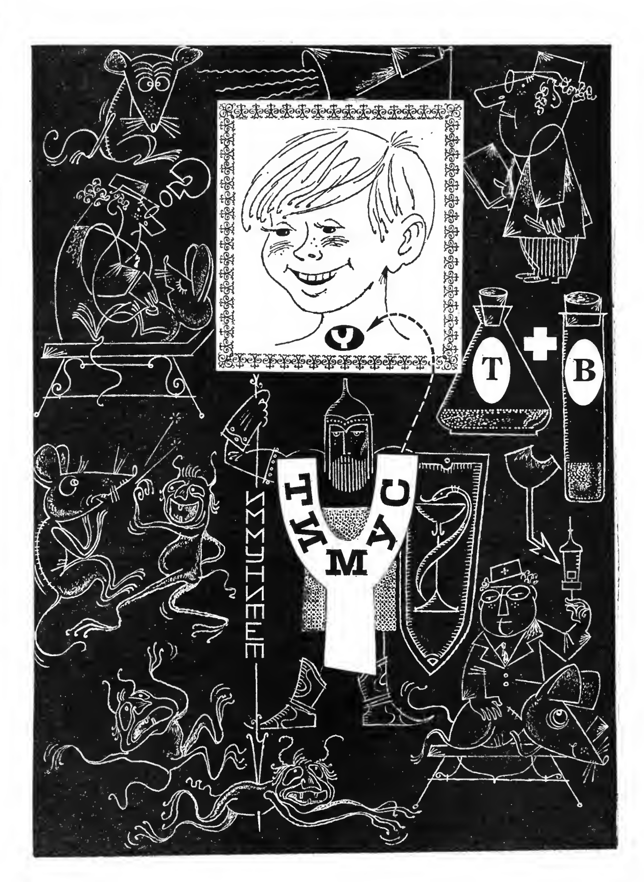
Операцин былн сделаиы, как делаются первые шагн в неведомое. Одив ребеиок был так слаб, что вскоре умер. Двое другвх сталн чувствовать себя гораздо лучше.

Окончательиого суждения на основанин всего трех случаев сделать было невозможио. Кроме того, наблюдать надо несколько лет. Как будут жить н развнваться дети с пересажевным тимусом?

МОСКВА, 1969 ГОД

Когда я вошел в аудиторию, Юрнй Мнхайлович стоял среди студеитов. С ним была высокая красивая женщина, которая, по-виднмому, пришла на лекцию.

— Рзм Внкторовнч,— остановнл меня Лопухии,— познакомьтесь с Ларнсой Васнльевной Калининой, доцентом кафедры нервных болезией нашего инстнтута.



Т
В
ТИМУС

— Очень приятно.

— Очень приятно.

— Какая у вас сегодня лекция? — спросил меня Юрий Михайлович.

— Сегодня «Взаимодействие Т- и В-клеток при иммунном ответе».

— Удачно,— порадовался Лопухин.— Я вижу, вы продолжаете наши парижские беседы. То открытие, которое вы предсказывали в Париже, состоялось?

— Состоялось. О нем моя лекция. Помните Миллера из Австралии? Он совместно с Митчелом увидел самое главное. Сегодняшнюю тему я рассказываю впервые. Ее просто не было раньше, не существовало в науке. Боюсь только,— обратился я к Ларисе Васильевне,— что готовить эту лекцию мне было интереснее, чем вам будет слушать ее.

— Не думаю,— заметил Лопухин.— Лариса Васильевна здесь тоже для того, чтобы продолжать наши парижские беседы. Давайте встретимся все вместе после лекции. Дело в том, что кафедра нервных болезней может передать нам в клинику около двадцати детей с врожденным недоразвитием тимуса, с синдромом Луи Бар.

Я начал лекцию с рассказа об американском исследователе Таяши Мэйкинодане. Японец по происхождению, он всю жизнь прожил в Соединенных Штатах, работал в Оук Ридже и создал очень плодотворный метод культуры клеток «ин виво». («Ин виво» в переводе с латыни означает «в живом организме».)

До Мэйкинодана знали, широко пользовались и пользуются сейчас культивированием клеток «ин витро», то есть в стекле, в пробирке. Некоторые клетки крови, соединительной ткани, почки или раковые клетки могут быть помещены в питательный раствор, налитый в специальные пробирки, «в стекло». Они живут, функционируют в культуре «ин витро». Но есть клетки, которые не могут жить в пробирке. Питательные растворы, даже самые совершенные, недостаточно хороши для них. Воспроизвести все условия, весь комфорт жизни, который они имеют в омываемых кровью тканях целостного организма, невозможно ни в какой пробирке.

Как их культивировать? Как изучать их жизнь? Нужен какой-то специальный метод. Без разработки такого метода невозможно изучать закономерности их жизни, невозможно сравнить потенции клеток из разных тканей — из селезенки, из лимфатических узлов, из тимуса, из костного мозга. Нужен метод для культивирования каждого типа клеток в отдельности.

Мэйкинодан создал такой метод. В качестве «пробирки» он использовал мышь, живую мышь со всеми возможностями целостного организма обеспечивать жизнь помещенных в него клеток. А чтобы собственные клетки своей работой не мешали изучать жизнь помещенных в такую «пробирку» клеток, он облучил мышь рентгеновскими лучами. Собственные клетки были убиты, а те, которые он культивировал (теперь уже «ин виво»), жили, функционировали, размножались. Их деятельность можно изучать в изолированном виде! Живут и работают только они, никакие другие не мешают.

За десять лет экспериментирования Мэйкинодан вместе со своими сотрудниками сделал все, что можно сделать для того, чтобы узнать особенности функционирования иммунокомпетентных клеток. Они узнали, что клетки селезенки наиболее активно продуцируют антитела, что на втором месте стоят клетки из лимфатических узлов, что совсем слабо работают клетки тимуса, а костномозговые вообще не могут вырабатывать антитела. Они брали клетки от новорожденных животных и описали особенности их работы. Потом брали клетки от стариков, от больных раком. Узнали, как на эти клетки действуют различные химические вещества, определили темп их размножения и многое-многое другое.

Казалось бы, они «выжали» из своего метода все. Придумали все возможные варианты постановки опытов, которые только могли придумать за 10 лет. И все-таки самое интересное упустили! Упустили то, что сделали, пользуясь их методом, Миллер и Митчел в Австралии в 1968 году, вскоре после парижского конгресса.

Во время перерыва я подошел к Ларисе Васильевне.

— У вас действительно находятся на обследовании двадцать детей с «Луи Баром»?

— Да, в неврологической клинике нашей кафедры находятся одиннадцать детей. А всего на учете более тридцати,— ответила Лариса Васильевна и тут же спросила: — Так что же такое открыли Митчел и Миллер? Вы закончили первую половину лекции, как серию детективного фильма.

— Сейчас все расскажу, и тогда будем обсуждать, как лечить ваших больных. Опыты Митчела и Миллера имеют к этому самое непосредственное отношение.

Через несколько минут я продолжал лекцию.

Итак, Мэйкинодан, казалось бы, сделал все. И я действительно не могу понять, почему он не поставил такой опыт, который поставили в Австралии. По-видимому, он был увлечен изучением работы каждого типа клеток в отдельности. Ему не пришло в голову смешать разные клетки.

Австралийцы поступили следующим образом. В культуру «ин виво» они поместили 10 миллионов тимусных клеток и подсчитали количество накопившихся клеток — продуцентов антител. Они знали невысокие в этом отношении возможности клеток тимуса — тимоцитов — и не удивились, когда увидели, что накопилось всего 65 продуцентов антител. Параллельно они поместили в такую же культуру 10 миллионов костномозговых клеток, которые и вовсе не умеют работать. Накопилось всего 12 антителопродуцентов. В третьей — главной — группе опыта была смесь клеток тимуса и костного мозга, по 10 миллионов штук каждого типа. В культуре «ин виво» должно было накопиться 77 антителопродуцентов: 65 за счет тимоцитов и 12 за счет костного мозга.

А их накопилось 1 350! Почти в двадцать раз больше, чем ожидалось!

Вот оно что! Эти клетки работают **только вместе**, при тесном контакте, кооперативно. В науке возникло новое понятие — взаимодействие, или кооперация, клеток при выработке антител. При этом все антителопродуценты происходят не из тимоцитов, а из костномозговых клеток. Тимоциты осуществляют функцию помощников, без непосредственного участия которых костномозговые клетки не включаются в работу.

Прошел год с момента опубликования статей Митчела и Миллера. Появилось еще два десятка публикаций. Круг замкнулся. Вся иммунная система организма прорисовалась в виде двух клеточных систем, проживающих раздельно, но работающих совместно. Их стали обозначать буквами Т и В. Т-клетки, или Т-лимфоциты, своим возникновением обязанные тимусу, называются еще тимусзависимыми. В-клетки, или В-лимфоциты, не зависят от тимуса. Они возникают и живут в костном мозге, где Т-клеток нет. В тимусе нет В-клеток, только Т, а в костном мозге — только В. В крови и во всех остальных лимфатических органах — в лимфатических узлах, селезенке — есть обе группы клеток. Там-то они встречаются, кооперируют и совместно работают. Поэтому если хочешь восстановить иммунитет, позаботься об обеих клеточных системах, о Т- и В-лимфоцитах.

Лекция кончилась, и мы продолжили беседу с Ларисой Васильевной и Юрием Михайловичем. Говорили о детях с недоразвитым тимусом. О том, что пересаживать им нужно тимус вместе с костным мозгом.

— Занятно получается,— рассуждал я.— В те самые дни, когда мы в Париже говорили о центральной роли тимуса в иммунитете и планировали начать изучение врожденных иммунодефицитов, в эти дни Лариса Васильевна Калинина собирала «бестимусных» детей, исследовала их неврологический статус и наследственность, пыталась помочь им доступными для неврологии средствами. Теперь она великодушно передает этих детей нам.

— Действительно занятно,— поддержала Лариса Васильевна.— Особенно если учесть, что в это же время на Кубе врачи пересадили тимус таким детям.

— Самое занятное то,— улыбнулся Лопухин,— что один из этих врачей, Юрий Иванович Морозов,— наш сотрудник, работник Второго мединститута. Он уже вернулся из Гаваны и в ближайшее время переходит работать на нашу кафедру. Открываем отделение по обследованию и лечению детей с врожденными дефектами иммунитета. Не возражаете?

— Напротив. Наши парижские решения надо выполнять.

— А при каких дефектах следует пересаживать тимус, костный мозг или тимус совместно с костным мозгом, покажет будущее.

— Может быть, найдутся и другие способы восстановить Т- и В-системы иммунитета,— добавил я.

САН-ФРАНЦИСКО, 1972 ГОД

Передо мной письмо из Чикаго, Иллинойс 60611, США. Его прислал Джон Берган, руководитель одного из отделов Национального института здоровья. Он пишет:

«Дорогой профессор!

В мартовском номере «Успехов трансплантации» я прочитал ваше сообщение о трансплантациях тимуса. Мы пытаемся вести реестр самых свежих данных, касающихся пересадки костного мозга, кроветворных клеток и тимуса. Если бы вы систематически направляли нам информацию, характеризующую ваших пациентов, мы бы держали вас в курсе всех наших находок.

Мы надеемся, что ваша программа лечения иммунодефицитов успешно развивается.

Искренне ваш
Джон Берган,
директор

11 июля 1973 года».

Джон Берган писал о выпуске «Успехов трансплантации», вышедшем в марте 1973 года. В этом толстом томе опубликованы доклады, прочитанные на IV международном конгрессе трансплантологов, который состоялся в Сан-Франциско в сентябре 1972 года. Всего пять лет прошло после парижского — первого — конгресса, и вот уже четвертый. И на каждом все новые данные. Проблема развивается необычайно быстро. Иммунология как нельзя более точно иллюстрирует взрыв научной информации.

Наш доклад на IV конгрессе был посвящен анализу одиннадцати пациентов с недоразвитием тимуса, которым был пересажен этот орган совместно с костным мозгом. Им были пересажены одновременно Т- и В-системы иммунитета. Улучшение клинического состояния детей было несомненным. Одиннадцать операций, которые добавились к тем первым двум удачам на Кубе,— это уже солидный материал для вывода о пользе данного метода лечения.

Вот один из примеров. Больной А-ов С., 8 лет, переведен из клиники нервных болезней 22 марта 1971 года с диагнозом «атаксия — телеангиэктазия». Развивался ненормально. Ходить начал с 1 года 1 месяца. Походка с самого начала была атаксической (неточной, некоординированной) и впоследствии все более ухудшалась, появилось дрожание рук и ног. В 5-летнем возрасте — судорожные явления. Речь стала замедленной, невнятной. К 7 годам ребенок перестал самостоятельно передвигаться. Больного преследуют инфекционные поражения кожи, носоглотки, конъюнктивы глаз, хроническое воспаление легких. Выработка некоторых типов антител отсутствует. Количество Т-лимфоцитов в крови снижено вдвое по сравнению с нормой. 14 апреля произведена пересадка блока тимус-грудина. Через месяц после операции нервные симптомы уменьшились, появились отсутствовавшие антитела, количество Т-лимфоцитов в крови нормализовалось. Через 6 месяцев речь улучшилась, симптомы атаксии значительно уменьшились. Ребенок ходит за руку, посещает театры, цирк, выполняет простые поручения по дому. За все время ни разу не болел инфекционными заболеваниями.

Когда мы — Лопухин, Морозов и я — готовили свой доклад конгрессу, мы готовили данные не только об эффективности лечения, но и о том, что было установлено сверх этого,— об одном важном открытии, которое было сделано при иммунологическом обследовании детей в период их подготовки к операции. Мне хочется рассказать читателям «Юности» об этом, но для этого необходимо начать с ранних работ одного из моих друзей.

Сергея Серафимовича Василейского я знаю очень давно. В 1953 году, сразу после окончания института, мы вместе пришли работать в Институт биофизики. Я занялся иммунологией, а он — биохимией. Мы были дружны, у нас были общие научные цели. Я применял биохимические методы исследований, а он — иммунологические. Через несколько лет он перешел работать в другой институт и целиком занялся иммунохимией. Изучая белки человеческих зародышей на разных стадиях эмбрионального развития, он обнаружил неизвестный ранее белок. Этот белок бывает только у эмбрионов и исчезает из крови в первые же дни после рождения детей. Белку было дано название — бета-фетопротеин. Попытки обнаружить его у детей или взрослых ничего не дали. Исчезнув в первые дни после рождения, бета-фетопротеин никогда больше не появляется.

Дальше жизнь сложилась так, что мы с Сергеем Серафимовичем стали работать в одной лаборатории. Белок Василейского, как мы стали его называть, оставался вещью в себе. Он был никому не нужен, пока мы не начали осуществлять нашу парижскую программу детального иммунологического обследования детей с врожденными иммунодефицитами. И тут оказалось, что если у ребенка недоразвит тимус, то белок Василейского не исчезает у него из крови. Он обнаруживается при синдроме Луи Бар даже в большем количестве, чем у эмбрионов. По этому критерию наши больные оказываются как бы взрослыми эмбрионами, людьми, у которых не выключены процессы выработки зародышевых белков. Иначе говоря, недоразвит тимус — не выключен эмбриональный тип построения белков. Значит, нормально развитый тимус служит органом, выключающим в нужный момент определенные процессы в организме. С 1961 года известно, что тимус — центральный орган иммунитета. После 1968 года стало известно, что тимусзависимые лимфоциты включают в продукцию антител клетки костномозгового происхождения. Теперь мы

знаем, что тимус — еще и тормоз для некоторых ненужных взрослому организму синтезов. А это имеет самое непосредственное отношение к проблеме лечения рака. Действительно, при многих формах рака растормаживается синтез эмбриональных белков. Так, может быть, для лечения рака надо искать способы стимуляции тормозных функций тимуса? Тут есть над чем подумать.

Доклад был подготовлен. Конгресс прошел. Мы получили больше сотни открыток с просьбой прислать копию нашей работы.

А теперь Джон Берган пишет: «Мы надеемся, что ваша программа лечения иммунодефицитов успешно развивается».

И мы надеемся...

И главное сейчас — глубже понять механизмы функционирования тимуса, установить, при каких формах порока наше лечение наиболее эффективно, а при каких формах его эффективность низка. При некоторых иммунодефицитах, наверное, надо искать другие пути. Может быть, надо найти способ удалять из крови больных эмбриональный белок?..

Мы накапливаем собственные данные, пользуемся достижениями других исследователей, так же как и они нашими. Встречи у тимуса продолжаются.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

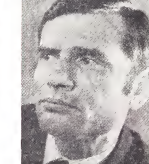
Этот раздел очерка я написал уже после того, как с рукописью познакомились в редакции «Юности». Здесь ее прочитали, сделали много замечаний. Самым главным было замечание на последней странице моей рукописи: «Потерялся смысл очерка: чего ради пересаживали тимус — ради излечения или для решения проблем иммунологии?»

Замечания рецензентов или редакторов чаще всего огорчают, но это замечание меня обрадовало. «Значит,— подумал я,— мне удалось передать дух проблемы, суть того состояния, в котором находятся сейчас наши поиски способов лечения врожденных пороков иммунитета». Мы действительно не можем сказать окончательно, что сейчас важнее — первые успехи в лечении детей или те иммунологические открытия, которые сделаны благодаря детальному изучению разных форм пороков. Если бы мой очерк создал впечатление, что мы умеем излечивать врожденные дефекты иммунитета не хуже, чем аппендицит, это была бы неправда. Мы еще только учимся их лечить.

Вопросов больше, чем ответов. Ответы могут быть получены после решения ряда иммунологических проблем. Решить эти проблемы можно только путем детальнейшего изучения детей, родившихся с тем или иным пороком иммунной системы. Но если бы, прочитав очерк, читатель решил, что обследование детей и пересадка тимуса делаются исключительно ради решения теоретических вопросов, это было бы еще бо́льшим заблуждением. Прежде всего мы лечим. И первые в жизни пятилетнего или восьмилетнего ребенка шаги, сделанные после пересадки,— это успех совместных усилий иммунологов и хирургов. Это одновременно и теория и практика.

Владимир Андреев







На марше

И сила и воля апреля
Засела в солдатских плечах.
Заря, восставая, горела
В прямых и тяжелых зрачках.

Шинельные скатки дороги.
Тяжелые связки дорог.
И небо слетает под ноги.
Уходит земля из-под ног.

Покрыты солдатские лица
Не звездною пылью — земной.
И песня, как редкая птица,
Взлетев, пролетит стороной.

Но вот опускается вечер.
Привал. И казались вдали
Солдатские тяжкие плечи
Холмами российской земли.

✪

У Белорусского вокзала
Сегодня я куплю в час пик
В кульке туманном целлофана
Пучок испуганных гвоздик,

Они спешат к тебе, как прежде,
Дрожат в метро на сквозняке.
Я беззащитную их нежность
Держу в приподнятой руке.

Мои попытки бесполезны
Лицу спокойствие придать,
Когда соседи у подъезда
Неустранимые глядят.

Но ты откроешь двери тихо
И станешь тихо в стороне.
И ты качнешься, как гвоздика,
И улыбнешься тихо мне...



Когда Маяковский осенью 1922 года в первый раз приехал в Париж, он разыскал двух старых знакомых художников — москвичей Наталию Гончарову и Михаила Ларионова. Он знал их еще со времен первых футуристических диспутов 1912—1913 годов. Совместная работа с С. П. Дягилевым, известным устроителем «Русских сезонов», привела их в 1915 году в Париж. Гончарова заканчивала тогда декорации к «Золотому петушку», Ларионов едва оправился после полученной на фронте контузии.

В этот приезд Маяковского никаких поэтических вечеров и общественных выступлений не было предусмотрено. Он был едва ли не первым советским деятелем искусств, приехавшим в Париж.

«...Появление живого советского,— писал потом Маяковский в очерках в «Известиях»,— производит фурор с явными оттенками удивления, восхищения и интереса... Главное — интерес: на меня даже установилась некоторая очередь. По нескольку часов расспрашивали, начиная с вида Ильича и кончая весьма распространенной версией о «национализации женщин» в Саратове...»

На банкете, устроенном в его честь в складчину русскими и французскими художниками и поэтами, первой выступила Наталия Гончарова. Она говорила от имени артистов и художников дягилевского балета. Потом известный французский критик Вольдемар Жорж предложил тост за Советскую Россию.

«...Мне приходилось все время,— вспоминал Маяковский,— вводить публичные разговоры исключительно в художественное русло, так как рядом с неподдельным восторгом Жоржа всегда фимиамился восторг агентов префекта полиции, ищущих предлога для «ускорения» моего отъезда».

Маяковский читал на этом вечере «Необычайное приключение» и другие стихи.

Через несколько дней, уже после отъезда Маяковского, Ларионов писал ему вдогонку в Берлин: «В Париже до сих пор идут разговоры о вечере и прочитанных стихах — Маяковский на втором слове. Липшицы[1] и Вольдемар не могут успокоиться, судят так и эдак — заключают, что это очень грубо и резко, но ничего сделать нельзя... Все это их совсем перевернуло...»

[1] Скульптор Жак Липшиц (В. К.).





НЕИЗВЕСТНЫЙ РИСУНОК МИХАИЛА ЛАРИОНОВА

Воспроизводимый здесь рисунок Ларионова — один из двух, которые были сделаны им в те дни и которые он подарил мне через 35 лет — во время нашей встречи в Париже в 1957 году.

Вручая мне эти наброски, Михаил Федорович говорил, что у него было еще несколько, сделанных тогда же, но он их не сумел найти.

Я смотрел вокруг: на горы книг, журналов, газет, рулонов холста, афиш, рам, папок, свертков, коробок. Под ними была погребена вся мебель, и только кое-где угадывались спинки стульев и ножки столов. Больной хозяин полулежал на кровати, в центре всего этого нагромождения. Можно было удивляться не тому, что он чего-то не нашел, а что нашлись эти два рисунка.

— Куда все это пойдет после вас? — спросил я, не удержался.

— Как куда? В пубель! На помойку! — весело отвечал он, забавляясь произведенным эффектом.

К счастью, так не произошло.

Десять лет назад, в мае 1964 года, Михаил Федорович Ларионов умер — замечательный русский художник, смелый реформатор, неутомимый выдумщик и нарушитель покоя, друг Дягилева и Стравинского, Аполлинера и Маяковского.

В Париже много художников. Можно даже сказать, очень много. И все-таки Ларионова не забыли. О «пубеле» не может быть и речи. Монографии о нем издаются. Картины его появляются на выставках.

Когда-нибудь, возможно, выплывут на свет и те наброски, которые Михаил Федорович не мог тогда отыскать в своем хаосе...

В. КАТАНЯН

Вверху: В. Маяковский осенью 1922 г. в Париже.

Рис. М. ЛАРИОНОВА.



Леонид ПЛЕШАКОВ



Когда о человеке рассказывают небылицы, хочется обо всем расспросить его самого. После Мюнхенской олимпиады одним из героев спортивных легенд стал красноярский борец вольного стиля Иван Ярыгин. Золото, завоеванное им в полутяжелом весе, никого не удивило: до этого он уже выигрывал чемпионаты Советского Союза и Европы. Так что его победа «планировалась».

Как Ивана Ярыгина уговорили всех побороть

На снимке: так Иван побеждал в Мюнхене — уйти от подобного захвата можно только коснувшись лопатками ковра!..

Фото Б. СВЕТЛАНОВА.

Удивляло другое: все семь встреч в Мюнхене он выиграл «чисто», затратив всего 12 минут вместо 63 «положенных». При этом, утверждали очевидцы, всех соперников Ярыгин уложил на лопатки одним и тем же приемом. Говорили, что Иван настолько силен, что не особенно заботится о защите. Правилам вопреки, он спокойно разрешает сопернику захватить свои ноги, а потом неожиданно подламывает его под себя и тут же туширует.

Статистика все это вроде бы подтверждала: семь побед за 12 минут — менее двух минут на схватку. Провести много приемов и вправду не успеешь: один-два от силы.

И все-таки кое-что в этих рассказах смущало.

В свое время через мои руки прошло немало борцов, сам я побывал, как говорится, в руках у многих. Но не помню, чтобы кому-либо слепо везло все время. А легенды, они всегда были. Об уникальных приемах. О борцах-счастливчиках, под которых соперники сами валятся на лопатки. О железных силовиках, готовых любого скрутить в бараний рог. Мало ли легенд рождает фольклор трибун!

На Московской универсиаде я разыскал Ярыгина. Пересказал все, что слышал о его победах в Мюнхене. Спросил, что сам он думает по этому поводу.

Иван засмеялся:

— Сочнияют.

— А все-таки?

— На Олимпиаду слабые борцы не приезжают. На силе и одном-единственном «коронном» приеме в чемпионы не проскочишь. Любую «коронку» быстро расшифруют, подберут контрприем, и тогда не то что чистую победу — очко не выиграешь.

— Чем же побеждал ты?

— Боролся.

Мне понятно, почему он не особенно идет в разговор: то, что со стороны в его борьбе кажется сверхъестественным, для него логично и единственно верно. Но я знаю: его память хранит каждую схватку. Та особая борцовская память, когда, кажется, не мозг, а сами мышцы помнят все — от первого рукопожатия соперника и до объявления судьей твоей или его победы. От этого не уйдешь. Это уже навсегда осталось в тебе, будто твои мускулы до сих пор ощущают железную хватку чужих рук, будто сейчас ловишь то короткое мгновение, когда соперник пойдет на прием и ты должен упредить его, потому что упустить это мгновение — значит проиграть.

Я знаю это, потому и прошу:

— Ты можешь рассказать о каждой своей встрече на Олимпиаде?

— Конечно. Первым был швейцарец. Я ему сразу «мельницу» сделал, он замостил, ну и я его уж тут дожимал на лопатки.

— А детали?

— Какие детали — на все ушло 27 секунд!

— Ну хотя бы как это произошло? Как проводил эту «мельницу»?

— Видишь ли, она у меня несколько необычная: как я, ее никто не делает. Начинаю прием, вроде бы из стойки хочу перевести противника в партер — резко тяну за «скрестную» руку. Он, естественно, защищаясь, сразу ноги расставляет и выпрямляется, а я уже нырнул под него, голову поглубже засунул и дальнюю ногу ловлю. Ну, а потом запускаю, как со второго этажа. Либо на лопатки, либо на мост.

У Ивана 1 метр 87 см росту. Даже если он бросит не с прямых ног — замостить сложно. А ведь он не просто бросит, а еще и навалится всеми своими ста килограммами, руку захватит, ноги, главную твою опору, постарается «отключить». Попал к нему на «мельницу» — искать спасения поздно.

— Но противник может и не попасться на твою хитрость. Не то что поймет ее раньше — просто не среагирует на перевод.

— Ну и хорошо: я его переведу в партер — это уже очко или два. А там еще что-то сделаю. Вообще меня не особенно огорчает, если не удается провести задуманный прием сразу. В конце концов и противник выходит выигрывать, и смысл борьбы не в том, чтоб победить его силой, интереснее — обыграть. Сила нужна. Техника, выносливость, способность тактически верно строить схватку тоже. Но не только это. Не менее важны хорошая координация и умение делать связку из знакомых тебе приемов.

С моим нынешним тренером Дмитрием Миндиашвили я встретился в 1968 году. В то время он уже не выступал, но на тренировках любил повозиться на ковре. И не только приемы показывал — а знает он, наверное, все, какие только мыслимы в борьбе,— но мог и любого средневеса и полутяжа так уработать, что уходишь с ковра, вроде под трамваем побывал. Так вот, объяснял он приемы, все эти борцовские премудрости, но не просто, а учил проводить в связке, чтоб из одного захвата я мог сделать два-три разных броска, чтоб при одинаковом начале получалось несколько разных концовок, чтоб умел с одного приема сразу же переходить на другой, третий. Это особенно удобно, когда соперник попадается чуткий: не успеешь начать что-то, а он уж контрит или защищается. Сразу делаешь другое, чего он не ждет. Так и со швейцарцем получилось: начал переводом, а кончил «мельницей».

— Кто был следующим?

— Полутяж из ГДР. Сделал ему «отхват»: заплел своей левой его правую ногу — он, видно, ожидал какую-нибудь хитрость, а я просто силой бросил его на мост и дожал.

Третьего, канадца, ложил два раза. Сначала перевел в партер, после «растяжки» поставил на мост и тушировал. А рефери-иранец почему-то решил, что это запрещенный прием, и не засчитал победу. Неприятная это штука, когда думают, что ты борешься нечестно. Пришлось еще раз повторить все в той же последовательности: партер, «растяжка», мост, лопатки. Теперь рефери дал «чистую» победу: видит, все правильно.

— Но ведь, в точности повторяя прием, ты рисковал: соперник его уже «прочувствовал», мог подготовиться.

— Так-то оно так. Но надо же доказать свою правоту. К тому же никто не ждет, что ты настолько обнаглел, что станешь тут же повторять прежний прием. Но если бы он успел подготовиться, я сделал бы что-нибудь другое.

Потом был итальянец. Этого положил «двойным нельсоном», классическим приемом из классической борьбы. Предпоследняя схватка была с монголом. Опять в партере положил. Он сам помог. Я ему хотел «растяжку» сделать вправо, он расстелился по ковру в другую сторону, чтоб я не мог его перевернуть на мост. Естественно, пришлось мне перелезать на левую сторону, чуть-чуть только за подбородок попридержать. И все.

— Ты пропустил еще две встречи.

— Одну уже не помню. А другая — с венгром Чатари была самой трудной за всю Олимпиаду. Это очень опытный и сильный борец. Выиграть у него по очкам, и то считается честью. Ну и я настроился «пахать» все девять минут. Боремся, я помаленьку очки набираю. Под самый конец вижу: победа в кармане. Перевел Чатари в партер, дай, думаю, попробую положить. И что-то такое изобразил — сам не знаю, как этот прием называется,— и он на лопатках.

Мы сидим с Ярыгиным в номере гостиницы, где расположилась команда советских борцов, выступавших на универсиаде. Этот день, как и предыдущий, прошел для Ивана успешно: он легко уложил своих соперников на лопатки и вышел в финал с «нулем», без штрафных очков. Нынешние его соперники слабее тех, что были в Мюнхене, и я, честно говоря, удивился, когда он предложил пойти в холл и посмотреть телевизионный спортивный выпуск, где должны были показать его встречу с кубинцем. Я спросил:

— Что, очень трудной была схватка?

— Да нет. Просто первый раз в жизни боролся с негром. Интересно, как это выглядит со стороны: я рыжий, а он черный.

Эту встречу в выпуске показали полностью. Но заняла она меньше минуты. Кубинский борец был сутуловат и явно уступал по классу Ярыгину. Иванова мощь и громкие его титулы должны по идее любому внушить почтение. Это понятно. Но тут дело пошло дальше. Когда они сошлись в центре и Иван взял кубинца за руку, тот вздрогнул. Я знаю, это не страх, но боязнь в обычном понимании слова (борьба — спорт не для трусливых). Это получается помимо во-

ли, когда перед встречей с сильным противником перенервничаешь, перегоришь и после никак не можешь собраться, бьет вроде озноба. Необъяснимое, непреодолимое напряжение сковывает всего, и стоит сопернику сделать самое безобидное движение — уже не ты, а кто-то другой, сидящий в тебе, сжимается в комок, готовый к защите, вздрагивает.

Я знаю, это не страх. Это хуже страха: твой организм, твои набрякшие от силы мускулы сами предают тебя. Что толку в их силе, если они не могут расслабиться и сработать в то единственное мгновение, когда это необходимо!

Кубинец проиграл еще до схватки. И на ковре старался лишь оттянуть развязку.

Иван легко перевел его в партер. Старательно заплел ноги. Сделав вид, что хочет забрать левую руку соперника, он тут же вышел на «полунельсон» и стал медленно уходить вправо.

Теперь кубинца могло спасти лишь чудо. Ему надо бы распластаться по ковру, сбить со своей шеи руку Ивана, уползать за спасительный край. А он жался в комок, будто надеялся перетерпеть ярыгинский натиск, будто верил, что у того вот-вот иссякнут силы и он ослабит напор.

Но Иван все дальше уходил вправо. Ног не расплетал. А рука, как мощный рычаг, нашедший точку опоры на затылке соперника, переворачивала его на спину.

— Что ж он не ползет?— спросил я Ивана, сидящего рядом со мной и смотревшего на экран телевизора.

— Кто его знает... Да уже и поздно, пожалуй, раньше бы надо...— сказал он.

А другой Ярыгин, с экрана, медленно перевалил противника на бок... на мост... немного вытянулся, чтобы не дать тому, опершись на ноги, замостить, и посмотрел краем глаза на припавшего к ковру рефери. Арбитр заглядывал в узкий просвет между ковром и лопатками кубинца. И когда просвет пропал, он засвистел.

У классных борцов телосложение обычно на зависть, а Иван развит настолько гармонично, что никакими сравнениями не передашь его мощь и удивительно сбалансированные пропорции. Под его тонкой, белесой, как у всех рыжих, кожей нет ни жиринки — только мышцы. Они рельефно бугрятся даже в покое. Но это не короткий мускул штангиста, готовый на мгновенную мощь, а длинная, эластичная мышца борца, способная долго и тяжело работать, умеющая расслабиться и взрываться в нужный момент всей потаенной энергией. Даже если бы Иван не сказал, что на тренировках по два-три часа кряду не уходит с ковра, я понял бы это и так по чеканной четкости его тренированного тела. По его крепкому рукопожатию не трудно было догадаться о надежности и силе его захватов. А чуть расслабленная походка нисколько не обманет: на ковре он встанет монолитной скалой, сдвинуть которую сможет не всякий полутяж. Ко всему этому — филигранная техника.

— Меня, честно говоря, удивило,— спрашивал я,— как ты боролся в предыдущей схватке. Заранее было ясно, что выиграешь. А когда перевел в партер и сделал захват — тут уж «чистая» победа была обеспечена. Почему же ты медлил, не форсировал туше? Почему все время подстраховывался правой рукой, уползал в сторону, в любой момент готовый к защите, даже тогда, когда кубинцу ничего не оставалось, как ложиться на лопатки? Разве класс соперника требовал такой старательности?

— Бывают, конечно, партнеры, у которых можно выиграть вполсилы. Но уверен, что даже с ними нельзя вполсилы бороться. Рано или поздно кто-нибудь накажет тебя за пренебрежительное отношение к слабым. В свое время на первенстве Красноярского края был у меня такой случай. Я тогда еще не обладал нынешними титулами, но у себя, в Красноярске, считался сильнейшим и в полутяжелом и в тяжелом весе. Так вот, отборолся я со всеми досрочно, чемпионом стал, а другие еще между собой отношения выясняют, за призовые места борются. И тут приходит один человек, которому я очень хотел показать, как умею бороться. Девушка, короче. Кинулся я к своему другу Саше Артемьеву, он абаканский, с Черногорки, давай, мол, выйдем, поборемся — вроде показательно. В нем килограммов 130, во мне и ста нет. Эффектно все выглядело бы. А Саша говорит: «Если выйду — сразу лягу». Он меня знал, знал, что прежде чем положу, руки-ноги так уработаю, что после и не поднимешь, лучше вовсе не сопротивляться, сразу лечь на лопатки. Но меня это не устраивало. Говорю ему: «Выстоишь шесть минут — подарю новое шерстяное трико». Материальное стимулирование сработало. Вышли мы на ковер. Я сразу в атаку. Ноги у него толстые, как телеграфные столбы. Еле-еле зацепил одну и пошел на бросок через себя. Красиво я так прогнулся, круто. Саша как стоял, так и стоит. А я во все лопатки на ковер грохнулся. Судья свистнул, поднял Сашину руку. Конечно, мог бы ему победу и не присуждать: не он положил меня, просто я улегся. Но мог и присудить. Пришлось трико отдать. Но я даже не расстроился. Воспринял как урок: на ковре дурака валять опасно. Между прочим, впервые выиграть звание чемпиона страны мне в какой-то степени помогло то, что я был «темной лошадкой», и признанные фавориты не приняли меня всерьез. Тогда в Махачкале собрался цвет полутяжеловесов страны: Гулюткин, Атаманов, Линва, Ансафин, Барукаев. У каждого опыт международных встреч. А я был просто мастером спорта из Красноярска. Выиграл я тогда шесть схваток, в одной сделал ничью. Но каждую мою очередную победу воспринимали как случайность, посмотрим, мол, как он дальше будет бороться. А смотреть уже было некогда: я вышел в финал, «серебро» обеспечил, и встреча с Гулюткиным должна была решить, кому достанется золото. Первый период он выиграл, а во втором я не дал ему уйти с моста. Прихватил понадежнее, ноги «отключил», и все — туше. На следующий год на Спартакиаде народов СССР Гулюткин, правда, отыгрался.

— Гулюткин сейчас твой самый опасный соперник в стране?

— Да. Я настраиваюсь «пахать» с ним все девять минут. Я его знаю наизусть, а он — меня, так что выиграть очко друг у друга нам очень трудно. У него «коронка»: ловит за голову и руку и силой переворачивает в сторону. И в ноги он проходит хорошо. Держит руку снизу и так технично и резко проходит, что просто диву даешься.

— А контрприем есть?

— Я нашел. Когда он хочет меня за голову поймать, нужно выше стоять, идет в ноги — тоже есть защита. Но все-таки на последнем первенстве Союза в Красноярске он меня поймал за голову и очень даже прилично. Схватку я выиграл и чемпионом стал, но первый период был за ним.

— Ты зевнул и случайно помог ему?

— Нет. Он сам на этот прием хорошо затаскивает без твоей помощи. Это его хлеб. Он свое дело знает. Единственный мой козырь — я на пять лет моложе, поэтому дыхание у меня чуть-чуть лучше. Он устает быстрее. На темпе пока и могу выиграть.

На другой день мы встретились с Ярыгиным снова. Ему предстояла финальная схватка с американ-

цем Баком Дедричем, и он уже начал исподволь готовиться. Натянув теплый тренировочный костюм, Иван разминался, разогревал мышцы и на ковер поглядывал, только когда там боролись его товарищи. Дедрич — чемпион США, член сборной своей страны, участник первенств мира и Олимпийских игр. Но, я знал, соперник он не из самых опасных, а потому решил продолжить с Ярыгиным разговор. Но Иван на мои вопросы отвечал без охоты. И я оставил его в покое, стал ждать поединка.

Когда канадец Тейлор вызвал их на ковер, оба казались спокойными. Конечно, внешне. Спокойными они станут после, через минуту-другую, в борьбе, а теперь умело скрывают свое естественное волнение: сказывается опыт. Американец старательно обозначает активность, идет на захват ног, пытается делать броски, в какой-то момент он даже ухитряется перевести Ивана в партер. Не опасно, всего на очко. Две попытки Ярыгина бросить Дедрича успеха не имели. Первый период закончился ничьюю: 1 : 1.

В перерыве седой и поджарый американский тренер, массируя спину и руки своего подопечного, что-то шептал ему на ухо. Иван сидел в своем углу злой. Кто-то обмахивал его полотенцем, вытирал пот. А он смотрел в одну точку и злился.

Когда они снова сошлись в центре ковра, Иван сделал отхват левой и начал было бросок, но Дедрич успел среагировать — двумя руками обхватил Иванову ногу и замер, согнувшись, сам ничего не делая, но не давая провести прием и Ярыгину.

Трибуны зашумели, стали выкрикивать советы, будто те двое на ковре могли что-то понять в этих криках, будто сейчас они могли слышать хоть что-то, кроме своего тяжелого дыхания да монотонного гула, в котором ни за что не различишь отдельных голосов.

Так кружились они по ковру еще минуты две. Иван все старался понадежнее заплести ногу, а Бак страховал ее мертвым захватом рук. Но в какой-то момент Иван все-таки его обманул. Он отпустил свой зацеп, а Дедрич не успел выпрямиться и тут же оказался в партере. Ярыгин левой рукой крепко прихватил его плечо и голову, правой дотянулся до дальней пятки, стал сгибать Бака в дугу. Честно говоря, я не хотел бы сейчас оказаться на его месте. Я представил, как у Бака сразу сбилось дыхание, как хмельная от натуги кровь бросилась к голове, как он почувствовал свою беспомощность и беззащитность в стальных тисках Ивановых ручищ, которые все подтягивали его ногу к бороде, скручивали шею и гнули голову вниз, а потом перевалили его на спину и припечатали к ковру лопатками...

Я понял, почему его боятся соперники. Он не просто может выиграть, а сделает это так добросовестно, что не оставит ни единого шанса не то что на победу, но даже на сопротивление и достойный проигрыш. Стремление к добротности, с трудом заработанному результату, на мой взгляд, прирожденная черта его характера. И проявляется она во всем.

Вырос Иван на берегу Енисея в поселке лесников Сизая́. Две речки — Сиза́я и Голубая,— сбегающие с безлесых сопок, таскылов, бедны рыбой. А Иван любит рыбалку. Поэтому гоняет с братьями на моторке сначала 37 километров вверх по Енисею до устья Кинтегиря, а потом еще 120 километров до того места, где эта река перегорожена порогами.

— Иной раз перед порогами лодок пятьдесят—сто соберется. Хариус тут тоже ловится, но мы всегда пробираемся выше. Конечно, риск есть, перевернуть может в два счета, о камни побьет, да и тяжело по шеверам тащиться. Зато настоящий хариус — за порогами.

И в этих хариусах за порогами — то же Иван. Здесь мне все ясно.

Другое дело — его путь в большой спорт. Тут даже самому Ивану не все ясно.

У его родителей, Сергея Николаевича и Евдокии Павловны, росло шесть сыновей и четыре дочери. Заработки у кузнеца известно какие, так что дети рано начинали помогать в хозяйстве. Зато росли крепкими. Благо, что и наследовать силу было у кого. С особым восторгом Иван вспоминает деда Павла. Был тот бородат, высок, широк в плечах и в восемьдесят лет обладал огромной силой. Он никогда ничем не болел. И когда однажды на пасху дед вернулся домой после веселого застолья с дружками и заявил, что сегодня помрет, никто его слов всерьез не принял. А он и вправду лег на лавку и к вечеру преставился.

Может, я и ошибаюсь, но в Ивановом сказе я уловил не только внуков восторг перед дедовской силой, но и перед его твердым словом. Сказал — сделал. Даже в деле, крайне печальном и огорчительном, дед остался все тем же кремнем, каким был всю жизнь: родных о своей смерти оповестил не по пьянке, не из желания вызвать жалость, а просто как бы сообщил о предстоящем факте.

Пусть поселок Сиза́я и не назовешь медвежьим углом, но лежит он все-таки вдали от признанных спортивных столиц. Тем более удивительно, что в семье Ярыгиных выросло столько спортсменов. Старший брат Ивана, Василий, мастер спорта по боксу, младший, Александр, пошел по Ивановым следам, стал мастером по борьбе, чемпионом страны среди юниоров. Самый младший, Николай, пока что копит силу по системе, разработанной Иваном, тоже, видимо, станет хорошим борцом.

Ну, у последних двух все ясно: перед глазами пример брата. А как же начинал Иван? Рассказывает он об этом с нескрываемым удивлением:

— До пятого класса учился я хорошо: без троек. Потом увлекся футболом, да так, что готов был гонять целый день напролет. Успеваемость пошла на убыль. Родители, конечно, недовольны. Отец вообще считал футбол пустым занятием, когда по дому столько работы. Да и учебе помеха. Но я тогда твердо знал свой жизненный путь: после десятилетки сразу женюсь, поставлю дом, куплю корову, детишек заведу. Нужно только обрести крепкую профессию. Такой мне казалась специальность шофера. Уехал в Абакан в школу шоферов. Все свободное время играю в футбол. В воротах стою.

И тут как-то подходит ко мне Владимир Ильич Чарков, тренер по борьбе, предлагает прийти на занятия. «Нет,— говорю,— я футбол люблю». Борьба для меня была тогда загадкой. Бокс — понятно, перчатки брата всегда дома висели. А борьбой в Сиза́й никто не занимался. Но Чарков не отступился. Както пошли мы группой в театр — жена Чаркова там режиссером работала,— опять меня встретил Владимир Ильич, стал уговаривать. Хитро так преподнес: «Насчет тебя крупный разговор был. Из Москвы приезжали»...

Я, парень деревенский, уши и развесил. Умом понимаю: откуда это вдруг обо мне в Москве узнали, если я никогда не боролся. А слушать все-таки приятно. Короче, затащил он меня в зал, стал учить. Быстро дело пошло. Вскоре поехали на первенство края по юношам. Выиграл. Еду в Орджоникидзе на ЦС «Труда»— тоже победил. Оттуда в Баку — на юношеское первенство страны. Кого-то победил, но две встречи проиграл. И как-то сразу все надоело.

Самолюбие, что ли, заело — не знаю. Только бросил я Абакан, поехал домой. Шоферские права к

тому времени уже получил. Жениться, правда, передумал. Да и какая женитьба, если осень — скоро в армию идти. Решил напоследок дома отдохнуть, порыбачить да по тайге походить. А тут как раз отец с мужиками собрались в тайгу лес валить, километров за 170 от поселка. Я с ними. Где отцу помогаю, где рыбачу. В тот раз я, кстати, поймал самого большого тайменя в своей жизни — на шесть килограммов. Другие по двадцать, по сорок ловят, а мне не попадались такие.

Так вот, стою я как-то на берегу, по быстрине «мыша» плавлю — это такая приманка для тайменя из медвежьей шкурки или волоса,— вдруг вверх по реке мотор стучит. Подходит лодка, а из нее Чарков выпрыгивает. Откуда, думаю, он тут взялся? А Владимир Ильич сразу быка за рога: «Ты представляешь, Иван, что ты с собой делаешь?» «А что я такого делаю?» «Ты подумал о своем будущем?» «Еще бы: сначала армия, потом шоферить в тайге буду...»

«Нет, Ваня, не это тебя ждет. Ты будешь, Ваня, служить в Красноярске и тренироваться по вольной борьбе у Дмитрия Миндиашвили. В 1969 или 1970 году ты станешь чемпионом страны. Через год выиграешь первенство Европы, а в 1972 — Олимпийские игры...»

Честно скажу, я ни одному слову его не верил. Кой-какой опыт у меня уже был, чего стоят победы на ковре, я знал и считать умел. Была осень 1967 года, а до завоевания титула чемпиона СССР, по раскладу Чаркова, мне оставалось всего два-три года. Срок нереальный. Это я понимал. Но молчал, так как не хотелось обижать: очень уж с душой он говорил. Просто — выступал. Как оратор. А Чарков понял меня не так, решил, что сомневаюсь, стал еще больше наседать. Потом за отца принялся. Тот крепился-крепился и сдался: «Пусть борется». И стал я опять бороться.

Но самое удивительное: все совпало слово в слово. До сих пор понять не могу, как это получилось.

Действительно, служить я начал в Красноярске, а тренировался у Миндиашвили: он вел сборную края. Выступал и по вольной, и по классике, и по самбо. Однажды заявили даже на молодежное первенство по дзю-до. Норму мастера спорта в армии выполнил раз пять, но не оформлял, боялся, переведут в Москву, а куда я без Сибири? В 1969 году выиграл молодежное первенство Союза, через год — по взрослым. В 1971 — Европу, а в Мюнхене — Олимпиаду. Когда спрашивают, кто мой тренер, я называю двух: Чаркова и Миндиашвили: один открыл меня, научил бороться второй.

Вот скажи мне: как это Чарков все мог предугадать? Не о себе ведь говорил, о другом человеке.

Жизнь в таежном поселке давно в прошлом. Нынешняя — сплошные разъезды. Америка, Япония, Иран, Франция, ГДР, Болгария, ФРГ — все страны и не перечислишь, где он бывал, боролся, побеждал. У классных спортсменов судьбы схожие: много ездят, видят, много нервничают, много отвечают на одинаковые вопросы. Это неизбежно. Это так. И где-то в каждом проглядывает уже не его личность, а какой-то обобщенный образ спортсмена экстра-класса. И занятия схожие. И хобби и взгляд на себя, на свое дело. Футболист считает, сколько матчей сыграл за сборную и сколько забил голов. Легкоатлет наизусть, как стихами, сыплет секундами, сантиметрами и их долями. Штангист — килограммами. Боксер — боями и нокаутами. Не скажу, что это плохо. Но это однообразно.

У Ивана этого, к счастью, нет. Он не знает, например, сколько раз выходил па ковер и сколько побеждал. Случайно заговорили о Тегеране. Оказывается, он там был: три раза, выиграл Кубок шаха.

— Чего же ты не сказал мне?— спрашиваю.

— А чего говорить? Один и те же люди приезжают на все большие турниры. Ничего интересного.

А знаете, как Иван женился? Он познакомился с Наташей давно. Она еще девчонкой прилетала в Красноярск из Башкирии погостить к сестре на летние каникулы. Сестра жила в одном подъезде с Иваном. Так они познакомились, потом Наташа писала Ивану письма. А однажды в Уфе были соревнования, и они встретились снова.

— Я говорю: «Давай поженимся». Она: «Согласна». Кончились соревнования. Приехала она в аэропорт вроде бы меня и команду нашу проводить, а сами мы уже решили: летит со мной в Красноярск. Миндиашвили узнал, говорит: «Вы что, с ума сошли? Разве можно так тайком девчонку от родителей увозить? Они от переживаний померегь могут!» Отправили команду, едем вместе с Миндиашвили к Наташе домой свататься. Ну, начал Миндиашвили издалека, цветисто так, как настоящий сват. Мой будущий тесть не сразу понял, куда дело клонится, а понял — на дыбы. «Молода она, сначала пусть десятилетку кончит!» Ну я тут и брякнул: «Школу она и замужем окончит. А будете упираться — не отдадите добром, так увезу. Мне ваше благословение не особо-то и нужно. Тренер вот настоял, а так бы я уж к Красноярску подлетал». Тесть даже в лице изменился. Побелел. Теперь я понимаю, нельзя такие вещи отцам дочерей говорить. А тогда молод был да и глуп. Нужно бы мне за это сразу по шее надавать. Да кто сладит? Миндиашвили из кожи вон — дипломатию разводит, мою глупую выходку замять старается. В общем, сладились. Летели на Енисей вместе. Выхлопотали в Красноярске решение на регистрацию брака: паспорт у жены уже был, а восемнадцати лет еще не исполнилось. Школу она, конечно, тут кончила. Думаю, и дальше учиться будет. Пока, понимаешь, некогда. Сначала дочь родилась, теперь вот сын. Представляешь — ей девятнадцать только, а уже двое детей?

— Куда торопишься?— говорю я Ивану.— Пусть бы сначала училась, профессию получила. Ты-то вот учишься в институте, юристом собрался стать.

— Надо,— со смешком объясняет он.— У отца было десять детей, у тестя — одиннадцать. Чем я хуже? Если не десять, то пятеро будет обязательно. А выучиться всегда успеет.

Он смеется, но говорит всерьез. Детей он любит и хочет, чтоб их было у него много. И я что-то не вспомнил никого из наших спортивных «звезд», решившихся на такую семью.

Ивану не раз предлагали перебраться из Сибири в места поуютнее. Не едет. И, зазывая меня к себе в гости, он убеждает самым безотказным, с его точки зрения, доводом:

— В тайгу махнем. В такую глухомань, где никого нет. Только охотничья избушка, а в реке хариус...

Когда он приезжает в Сизу́ю после очередного триумфа, отец уже не вспоминает, что сын пошел не тем путем. Гордятся Ивановыми победами: шутка ли, его сын — самый сильный в Европе и в мире.

А мать все равно упорствует: «Ты кончал бы, сынок, со своим занятием: найдутся и посильнее тебя, бока-то обломают». «Не обломают, вы, мама, насчет этого не волнуйтесь!» — успокаивает он.



Зульфар **ХИСМАТУЛЛИН**

«НАКА-ЗАНИЕ»

Рисунок К. Борисова.



Хурматуллин два дня не выходил на работу — пьянствовал. Два дня его трактор стоял без дела. По этой причине два дня на ферму не завозили корм для скота. Директору совхоза это окончательно надоело, и он вызвал Хурматуллина к себе.

— Почему прогулял? — строго спросил он.

— Теща заболела,— последовал ответ,— в больницу ее возил.

— Ты мне сказки не рассказывай! Мне все известно про твою пьянку.

На это Хурматуллин был вынужден ответить:

— Больше это не повторится, товарищ директор!

— Не первый раз слышим! Чем человечнее к тебе относишься, тем наглее ты становишься. Что же с тобой делать? — сказал директор совхоза.— Баста! Я тобой вот как сыт! Позови-ка председателя рабочкома.

Вскоре в кабинет вошел председатель рабочкома Фаизов.

— Ну, председатель, скажи, как нам быть с этим Хурматуллиным.

— По-моему, его следует наказать.

— Слыхал, Хурматуллин? Тебя никак нельзя без наказания оставить. Придется тебе снова объявить строгий выговор.

— Выговоров у него навалом. Выговор для него, что для стены горох. Может быть, на сей раз оставить его без наказания?

— Оставить без наказания человека, который два дня не выходил на работу?! Может быть, благодарность ему объявить? От имени дирекции совхоза! Ха!..

Фаизов глубоко задумался.

— А что?.. У всякой лошади свой норов. Одна кнута требует, к другой с лаской надо подходить.

— Хе!.. Значит, говоришь, ласка нужна...— проговорил директор, смягчившись.— Слушай, Хурматуллин, а если мы тебя не накажем, исправишься? Прогулов больше не допустишь?

— Век вашей доброты не забуду,— проблеял Хурматуллин.

На другой день, будучи пьяным, он вместе с трактором свалился с моста в реку. К счастью, сам Хурматуллин остался жив и невредим, но трактор пришлось отправить в мастерские на ремонт.

— Вот как ты отплатил нам за нашу человечность, неблагодарная твоя душа! — Таким возгласом встретил директор тракториста.— Ну, скажи, какое тебе наказание придумать?

Хурматуллин молчал.

— Что профсоюз скажет? — спросил директор председателя рабочкома.

— Профсоюз за то, чтобы еще раз испытать человека. Следует воспользоваться плюсами материального стимула. Иначе говоря, заинтересовать его премией.

— И ты думаешь, он исправится?

— Кто знает... Может, и начнет по-человечески работать.

— Испытать, конечно, можно,— сказал с сомнением директор.— Ну, как, Хурматуллин, даешь слово исправиться?

— Даю.

— Ладно, поверим тебе в последний раз. Даем тебе денежную премию. Только смотри, парень, слов на ветер не бросай. Докажи в конце концов, что ты человек.

— Буду вкалывать, товарищ директор.

Через некоторое время Хурматуллин снова стоял перед директором.

— Ну, сейчас чем думаешь оправдаться? — сказал директор.— Совесть у тебя есть, скажи мне? Загубить новенький мотор у трактора!..

— Больше этого не повторится, товарищ директор. Каюсь!

—«Каюсь, каюсь...» Каяться ты мастер. А мотора нет. Мотор — тю-тю. Что будем делать, профсоюз?

— Надо еще разочек его испытать. Есть путевка в Кисловодск. Может быть, ему стоит там подлечиться? Глядишь, и начал бы работать с новыми силами.

Директор безнадежно махнул рукой.

— Пусть едет.

К приезду Хурматуллина из Кисловодска его трактор был отремонтирован. Но после первого же дня работы он вернулся с поля пешком и ввалился прямо в кабинет директора совхоза.

— Трактор потерял,— объявил он.

— Как «потерял»? — опешил директор.— Что это тебе иголка, что ли?

— Обмывали мое возвращение с курорта. Ну и... ничего не помню.

Трактор Хурматуллина и в самом деле исчез. Искали его на дне озера Тузлукуль, прочесали окрестные леса, отправили к соседям ходоков. Но трактор как в воду канул.

Директор похудел и, казалось, стал меньше ростом. При виде гонцов, возвращающихся с пустыми руками, глотал валидол.

— Ну, что, что с этим Хурматуллиным делать?— спрашивал он у сослуживцев, и те видели, какие у него красные от бессонницы глаза.

— Надо воздействовать на него культурой,— отвечали те,— воспитывать его надо. Давайте отправим его в путешествие по нашей стране! Есть отличная путевка. Десятки охотников на нее!

— Отдай ее ради бога этому типу. Пусть собственными глазами увидит, как настоящие люди живут, пусть облагородится. Пусть это ему уроком будет.

Из путешествия Хурматуллин вернулся действительно совершенно другим человеком. Прямо с вокзала он явился в директорский кабинет.

— Вот что,— плюхнувшись в кресло, проговорил он, — нашу страну я объездил, желаю теперь отправиться вокруг света. Путевка больно дорогая, поэтому обязуюсь натворить такое, чтобы полностью оправдать все ваши затраты.

Перевел с башкирского
В. ФЕДОРОВ.



Я к вам пишу... И др...

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГАЛКИ ГАЛКИНОЙ ДЕСЯТИКЛАССНИКУ, ПРОБУЮЩЕМУ УЧИТЬСЯ ПО ПРОБНОМУ УЧЕБНИКУ «РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФЕССОРА В. А. КОВАЛЕВА

Дорогой десятиклассник! Решила написать тебе это письмо, потому что восхищена мужеством, с которым ты участвуешь в испытании пробного учебника. Конечно, этот риск трудно сравнивать с риском испытателя нового самолета или парашюта. Ты скорее похож на дегустатора нового блюда — жив остаешься, но вкус испортишь... Все-таки риск есть.

Что касается этого самого пробного учебника «Русская советская литература» для 10-го класса под редакцией профессора В. А. Ковалева (Москва, «Просвещение», 1972), дегустируй его, друг мой, осторожно и вдумчиво. Меня этот учебник поначалу очень удивил. Особенно одна глава — «Литература 50—60-х годов». Другие главы я пока трогать не стала, а сразу принялась читать именно эти страницы. Ведь как раз в это время родился мой журнал «Юность», и через его двери вошла в литературу плеяда молодых авторов, которые сегодня стали известными писателями.

Читаю в учебнике перечисление журналов, создание которых в исследуемый период содействовало «углублению связей литературы с жизнью народа, появлению новых талантов»: «Дон», «Волга», «Подъем», «Наш современник», «Нева», «Простор», «Русская литература», «Вопросы литературы» и др.». Журнал «Юность» даже не упомянут... В чем дело? Сгоряча я было обиделась на автора этой главы доктора филологических наук П. С. Выходцева — вместо моей родной «Юности» только две буквы — «ДР.». Но я набралась терпения, дочитала главу до конца, и обида пропала сама собой. Я поняла, как много значит в этом пробном учебнике «ДР», сколько славных имен и громких названий ухитряются авторы спрятать за этими буквами. Я даже загордилась, что «Юность» отмечена именно этим условным обозначением. Мы с тобой, дорогой школьник, должны понять авторов: в учебнике места мало, и они просто решили несимпатичные им фамилии, названия книг, журналов по возможности заменять двумя, в крайнем случае тремя буквами...

Ну, посуди сам, что получилось бы, если бы авторы после фразы: «Заметное место в поэзии 60-х годов заняли...» — перечислили бы всех, кто это место в действительности занял? Сколько бы их получилось!.. И авторы отбирают поэтов по своему вкусу: «...заняли Владимир Цыбин, Николай Рубцов, Владимир Фирсов, Анатолий Жигулин, Валентин Сорокин, Владимир Гордейчев, Борис Примеров, Валентин Сидоров и д р у г и е» (разрядка моя.— Г. Г.). Вот так! И место сэкономлено, и собственный вкус выражен. А нынешний школьник — он грамот-

ный, он и сам знает, что другие (разрядка моя.— Г. Г.) — это такие, скажем, поэты, как Станислав Куняев, Владимир Соколов, Инна Кашежева, Римма Казакова, Новелла Матвеева, Белла Ахмадулина... Он, школьник, поймет, что означает лаконичное «ДР».

Я перечислила здесь имена поэтов—моих постоянных авторов, которых вообще в учебнике нет. Но я опять нисколечко не обиделась! На незаметность, как ты знаешь, эти поэты пожаловаться не могут, а не упомяни некоторых поэтов из названных П. С. Выходцевым в учебнике — кто бы узнал про их заметное место!..

Только не подумай, дорогой десятиклассник, что я хочу одних из учебника выбросить, а других поставить. Я только хочу сказать, что попасть в учебник должно быть не просто. Всем! А то ведь иные имена просеивают через мельчайшее сито, а перед другими широко распахивают ворота...

Я, например, абсолютно точно подсчитала, что имя поэта Василия Федорова встречается на страницах учебника 17 (семнадцать!) раз. И не только в главе «Литература 50—60-х годов», где ему отведено целых полторы страницы... В. Федоров упомянут и в главе о Маяковском как один из последователей великого поэта, и в главе о Есенине как наследник его традиций, и в главе о Твардовском как поэт, осваивающий новые возможности эпической поэзии, и в рекомендательном списке дополнительной литературы как автор критических статей... Федоров здесь, Федоров там... Конечно, при изучении литературы можно бы обойтись и без арифметических подсчетов, но ты можешь удивиться: «Почему такое усердие? Никто не спорит — В. Федоров — поэт известный, но почему же ему дается столько нагрузок? Почему, при его семнадцатикратном упоминании, имя, к примеру, такого поэта, как Леонид Мартынов, упомянуто всего один раз, причем в перечислении? В чем дело?..» Не горячись, дорогой десятиклассник, тут, видимо, авторы рассчитывают на чисто психологический эффект.

В некотором перекосе не мог не упрекнуть авторов учебника даже в положительной рецензии журнал «Наш современник» (№ 2, 1974 г.). Мягко, то и дело извиняясь, журнал пишет: «В список к главе о литературе 50—60-х годов включен — и это хорошо — сборник Вас. Федорова «Поиск прекрасного», но нигде, к сожалению, не названы сборники статей и выступлений о литературе и искусстве других (разрядка моя.— Г. Г.) писателей — А. Блока, В. Маяковского, Д. Бедного, С. Есенина, Н. Асеева, М. Пришвина, М. Исаковского, А. Твардовского, Н. Грибачева, С. Залыгина и т. д.». А я бы и расширила список: К. Федин, К. Симонов, Г. Марков, С. Наровчатов, М. Луконин, Евг. Винокуров...

Идя навстречу пожеланиям тех немногих учащихся, для которых литература является предметом проходным — лишь бы скорее проскочить,— П. С. Выходцев смело лишает места в 50—60-х годах старую гвардию литературы. Помянули кое-кого в 30—40-х годах и на том спасибо! А ведь многие из них пережили второе рождение, проявили себя в новом качестве, продолжали выпускать книги... Из главы учебника с легкостью необыкновенной исключен ряд авторов хрестоматийной литературы. Уж не для того ли, чтобы они не мешали «занявшим место»? Читаешь главу о литературе 50—60-х годов, и начинает казаться, что многие писатели старшего и среднего поколений в эти годы то ли ушли на пенсию, то ли переквалифицировались... Н. Заболоцкий, М. Светлов, О. Берггольц, С. Кирсанов, С. Щипачев, В. Казин с «Великим почином», К. Симонов с его циклами «Друзья и враги», «Стихи 1954 года» или вьетнамские стихи, С. Михалков, а в прозе — К. Паустовский, В. Каверин, В. Катаев с их новыми произведениями. Никого из них нет в главе о литературе 50—60-х годов. Если авторы учебника не церемонятся с писателями старшего поколения, что уж говорить о писателях помоложе... Нет в учебнике вообще таких популярных среди молодежи писателей, как Василий Аксенов, Василий Шукшин, Андрей Битов, Фазиль Искандер...

Тогда я с испугу заглянула в главы о литературе 20-х, 30-х, 40-х годов и ни в одной из них не нашла ни Б. Пастернака, ни А. Ахматовой, ни Ю. Олеши, ни А. Платонова, ни И. Бабеля, ни М. Зощенко, ни М. Булгакова... Все они «ДР». Знаешь, страшно даже представить себе, что будет, если у В. А. Ковалева и П. С. Выходцева найдутся последователи в ученом мире, если и другие школьные учебники начнут писать по «принципу ДР». Положим, нравится автору учебника физики первый и второй законы Ньютона — он о них напишет, а третий что-то ему не по душе — он его и пропустит, чтобы школьники так и не узнали, что каждое действие равно противодействию...

А вдруг профессору В. А. Ковалеву поручат редактировать букварь! Бедные первоклашки! Вместо тридцати трех букв алфавита они смогут обнаружить у себя в букваре лишь «А», «Б», «В», «Г» и «ДР». Бр-р-р!.. Жутко!

Тогда надежда только на Министерство просвещения РСФСР. Может быть, оно не допустит в школу подобные учебники даже в качестве пробных с той легкостью, с какой оно допустило учебник по литературе.

А может быть, учебник под редакцией профессора Ковалева так специально и задуман, так и построен по «принципу ДР» — для того, чтобы побуждать тебя, дорогой десятиклассник, к самостоятельному обучению. Дескать, увидишь ты, что реальная картина советской литературы куда богаче кущей, однокрасочной картины, нарисованной в учебнике, отложишь ты его в сторону и начнешь изучать предмет по другим источникам — книжки будешь читать, в журналы заглядывать... Если пробный учебник издавали для этой цели, то мне остается только попросить извинения у ученых авторов и поздравить с успехом профессора В. А. Ковалева, доктора филологических наук П. С. Выходцева и др.

Галка ГАЛКИНА

В НОМЕРЕ

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

Технический редактор
Л. К. Зябкина.

На 1—4 стр. обложки
работы А. КАРЗАНОВА,
К. БОРИСОВА
и И. ПЛОТКИНА.

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6.
Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции: 251-32-83.
Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 27/II 1974 г.
А 07436.
Подп. к печ. 16/IV — 1974 г.
Формат 84×108$^1/_{16}$.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 600 000 экз.
Изд. № 982. Заказ № 1884.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



Ю. ЦИШЕВСКИЙ.

Аблинга — Литовская «Хатынь».
(См. в этом номере очерк
Витаутаса Петкявичюса
«Литовские этюды».)


















Цена 40 коп.

Индекс 71120